



Петр Лукич Проскурин

Седьмая стража

Scan, OCR, SpellCheck, Чернов Сергей (z.Orel) chernov@orel.ru
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=131967
Петр Проскурин. Седьмая стража: Роман-газета 1995, № 21-22. ;
Москва; 1995

Аннотация

В опубликованном в 1995 году романе «Седьмая стража» тесно переплелись, смешались мощные потоки реалистического и фантастического, образуя фантазмагорию. Именно здесь автор пытается выявить глубинные причины неприязни стоящих над русским народом правителей всех мастей к слову «русский» и особую, почти зоологическую ненависть к нему разноплеменной литературной братии, выбравшей для обеспечения своей затратной и прожорливой жизнедеятельности именно русский язык, но и на дух не принимающей слово «русский».

Содержание

1.	4
2.	26
3.	39
4.	47
5.	71
6.	83
7.	98
8.	119
9.	136
10.	157
11.	174
12.	205
13.	225
14.	238
15.	268
16.	289
17.	313
18.	334
19.	354

Петр Лукич Проскурин

Седьмая стража

1.

По Москве сносили много старых строений, освобождая место новым; целые кварталы рушились под разухабистые шутки молодых рабочих, и к этому привыкли. Груды искорененных балок, кирпича, раздерганных стен, дверных и оконных проемов, труб, какой-то дряхлой рухляди – беспризорные теперь громоздкие, массивные шкафы, столы, старинные укладки, окованные железным узорочьем, с прочными, ручной работы запорами, и еще множество самых неожиданных вещей, брошенных за ненадобностью уезжавшими на новые квартиры, вызывали у людей постарше неясные и самые разные воспоминания, и счастливые, и грустные.

Послевоенная же молодежь, поднявшаяся уже в мирные годы и, естественно, впитавшая в себя современные скорости и ритмы, равнодушно скользила по рухляди прошлого отсутствующими, а то и насмешливыми глазами, – молодежь вела себя вполне естественно, и ее куда больше интересовали запретные и оттого остро волнующие проблемы секса, порнографии, в последнее десятилетие особенно настойчиво пропагандируемых заграничными популярными журна-

лами, проникающими через все границы и препоны, а также растущие цены на импортные джинсы, упорное стремление перехитрить природу и хотя бы внешне сnivelировать разницу полов.

Старый дом стоял в сравнительно тихом месте, угрюмо и обреченно возвышаясь под московским небом, – два нижних каменных этажа и третий деревянный, надстроенный уже в эпоху эмансипации и женских воздушных перелетов на дальние расстояния на самолетах отечественных марок.

И вот постепенно в окнах обреченного дома начала исчезать жизнь. То в одном, то в другом пропадали занавески, по вечерам в них уже не горел свет, окна нижнего этажа заколачивались, а затем, как-то под вечер, с крыши дома рабочие сорвали железо, и сиротливо проступил дощатый, изрядно тронутый гнилью, ребристый остов основы.

Одинцов узнал о гибели еще одного старого дома совершенно случайно; проезжая по Селезневской и невзначай рассеянно скользнув взглядом по облетевшим наполовину деревьям, он заметил какую-то ободранную ребристую крышу, равнодушно перевел глаза на другую сторону улицы, где уже высился ряд новых, щеголеватых многоэтажных красавцев-домов, купающихся своими крышами, казалось, в самой небесной синеве, но уже что-то произошло. Никогда не чувравшийся ярких эмоций, благотворно отзывавшихся на крепком сердце, и тем более острых блюд, приятно усиливающих и без того терпкий привкус жизни, Одинцов словно

бы совершенно случайно втянул в себя дразнящий запах – тонкие, породистые ноздри дрогнули; волнующий аромат из прошлого дошел до него скорее, чем сработала мысль, и уже только затем Одинцов встревожился и удивился. Тронув шофера за плечо, он попросил его сделать круг и вновь, только помедленнее, проехать по Селезневке мимо старого, с ободранной крышей дома; он все вспомнил неожиданно ясно, почти болезненно; на лбу у него выступила испарина, и во рту появился нехороший солоноватый привкус; подобного он еще никогда не испытывал и украдкой, слегка перегнувшись, взглянул на себя в зеркальце, находившееся перед шофером, и хотя он в своем лице ничего особенного не заметил, он попросил побыстрее отвезти его в институт, весь день чувствовал себя непривычно зыбко и несобранно, а к вечеру это состояние неопределенности и несобранности усилилось и, отменив несколько запланированных встреч, Одинцов уехал домой.

Он уже понимал, что случилось, но все как-то старался успокоить себя, и когда приютившаяся в доме у Одинцова с середины тридцатых годов после опустошительной личной трагедии полуглухая Степановна с недовольным и величественным видом, словно оказывая вынужденную милость, подала ему чай, он, полузакрыв глаза, долго сидел, ни к чему не притрагиваясь.

– В худом городе и Фома-то воевода, – со своим постоянно недовольным выражением лица, с воинственно припод-

нятым острым подбородком, всегда забавлявшим Одинцова, пробормотала Степановна.

– Вы, кажется, опять шепчете, Полина Степановна, – в свою очередь, с еле уловимой иронией вяло шевельнул он губами. – Я вас не раз просил говорить в моем присутствии разборчивее...

– Э-э, батюшка, ешь, ешь, – еще тише забормотала Степановна с явным удовлетворением. – Коли не потрафила, прямо уж скажи. Стара стала, стара, уж оглохла, ослепла на службе у тебя, в инвалидность попала, хоть ты мне яду подсыпь, ничего не чую...

Одинцов ковырнул вилкой разварную морковь, отодвинул тарелку и с удовольствием отхлебнул густой, ароматный чай – вот здесь Степановна была непревзойденной мастерицей, умела заваривать чай на самые разные моменты и настроения, и, может быть, именно такое редкое ее свойство примиряло с ней и Вадима Анатольевича, заставляло терпеть неприятные стороны ее характера...

Он поймал себя на мысли, что думает о чем-то совсем уж ненужном, и, в свою очередь, что-то с досадой пробормотал. И в тот же момент увидел крупное, ухоженное лицо Степановны.

– Что, батюшка, сквернословить-то? – поджимая губы, неожиданно обиделась она.

Одинцов, как бы стараясь понять и объяснить ее присутствие рядом, примиряюще махнул рукой, явно желая пока-

зять, что ничего предосудительного он не хотел сказать, и тем более оправдываться ему незачем, но Степановна и это истолковала по-своему и обрадовалась.

– Как же, как же, – закивала она высокой, тщательно уложенной прической, ежедневно отнимавшей у нее не менее двух-трех часов кропотливого труда. – Со мной точно такой же случай приключился, я еще в театр решила поступать. Приглашает меня Белопольский Лев Архонтович на просмотр, на квартиру-то к себе приглашает... А я совсем дурочка, шестнадцать только минуло. Пошла, никому ни слова не сказала. В чужом-то городе, в ужасно развращенной этой бесовской революцией Москве! Пришла, квартира в беспорядке, пыльные хрустали, мебели зацапанные, сальные, попугай на палочке вниз головой. Лев Архонтович весь сияющий, обсыпанный перхотью... сделайте, говорит, для начала этюд любви, вы бесконечно влюблены, вы бесконечно ждете, и предмет вашей страсти вот-вот должен появиться. Вы бесконечно горите, почти в обмороке... нет, нет, полулягте на диван, вот вам книжка, вы страдаете, горите, понимаете, горите от страсти...

– Какая прелесть! – с неожиданной живостью представляя знаменитый этюд, пришел в себя Одинцов.

– Ах, батюшка, что за тон! – подсадовала Степановна.

– Оставьте, пожалуйста, свои фокусы, я все отлично понимаю, – отмахнулся Одинцов, ощущая начинающуюся боль в затылке.

– Так не все же! – язвительно сказала Степановна. – Самое интересное дальше. Представляешь, батюшка, я сделала этюд любви вот так (Степановна приподняла руку, оттопырила как можно больше мизинец, еще дальше выдвинула вперед подбородок и закатила глаза, став похожей на пол у сторевшую от смол и бальзамов египетскую мумию), да, да, вот так и сделала, прилегла с книжкой на диванчик, такой игривый диванчик с чудесными звериными рожицами на спинке. И только я начала входить в роль, слышу у себя на лице неприятное дыхание и чьи-то влажные ладони на шее... Чувствую, пуговички расстегивает. Гляжу, а это Лев Архонтович надо мной склоняется. «Я, говорит, пришел, я здесь, любовь моя!» Говорит, а сам козлиной бородежкой шею мне щекочет, блудливо так щекочет, а глазки пьяненькие, пошлые. Тут голос у меня сорвался на визг... «Ах ты, говорю, старый развратник, ах ты...»

– Ради Бога, ради Бога! – замахал на нее руками Одинцов, слышавший об этюде любви от своей дальней родственницы, возможно, в сотый раз, и по-прежнему не верящий ни одному ее слову. – Я устал, дайте мне одному побыть, чаю спокойно выпить!

Степановна молча поднялась и выплыла вон с торчащим вперед подбородком, а Одинцов откинулся на спинку стула, теперь уже жалея полусумасшедшую старуху, жалея себя, затем задумчиво отхлебнул из стакана.

От превосходного чаю глаза у него потеплели; он помед-

лил, наслаждаясь покоем, как бы постепенно погружаясь в сказочную солнечную страну – в ней все было ясно, просто, ненавязчиво. Это была, очевидно, страна его детства, ему хотелось так думать. Такое уже тоже случалось раз или два в последние годы; нежданно-негаданно нахлынет расслабляющая, светлая печаль, какое-то раздражительное умиление, подымутся вокруг, понесутся забытые запахи, зашелесят неведомые голоса, и он все глубже и глубже погружается душой в сладкую отраву, и ничего больше не хочется, ничего не надо... И чай, разумеется, всего лишь зацепка, подход, все-таки что-то происходит. Жизнь никого не щадит, перед нею все равны, и время для каждого отсчитано весьма произвольно... Не то, чтобы, допустим, талантливому и счастливому год, а какому-нибудь обездоленному неделю, зачем, мол, тебе так долго мучиться? Отдадим мы ненужные твои годы другому, тому, кому судьба высветила, он и не заметит, как эти десять или пятнадцать лет промелькнут. А тебе трудно, тебе каждый час за сутки кажется, зачем? Так нет же, не дошла природа до такого распределения, отмеривает всем подряд вслепую... Да, да, вслепую, и это справедливо, и, вообще, что-то с ним происходит непонятное. А ведь ему еще многое предстоит, на нем, как на библейском древе, должно еще созреть множество плодов, но каждый, отпадая, пустым эхом отзовется в душе, хотя и приблизит цель, указанную высшим промыслом.

Одинцов оглянулся; ему показалось, что старое зеркало

на стене вздрогнуло, и он внимательно, с непроницаемым, отяжелевшим лицом подробно осмотрел раму старинного черного дерева и вновь остался собой недоволен; вновь, в который уже раз за последнюю неделю, он переступил дозволенную черту. Необходимо было собраться и приготовиться – что-то надвигалось. Опять какая-то грань сместилась, и он с явственной жутью вспомнил, как однажды в детстве, лет пяти-шести, проснувшись в своей кроватке, увидел пришедших в его комнату волков-людоедов. Его няня, хлопотливая чистая старушка Дарья Матвеевна, выписанная после его рождения откуда-то из подмосковной деревни, накануне рассказывала о стаях злых волков, бродящих на Святки, и о случае в их деревне, когда лесные звери разорвали подвыпившего мужика Пахома. От него остались одни только валенки, даже шапку с полушубком съели...

И вот теперь волки пришли к маленькому Вадику, съевшемуся в своей кроватке в белоснежной длинной ночной рубашке с кружевами, а волки, похожие на больших серых собак с острыми ушами, сидели во всех углах комнаты и неотступно глядели на него круглыми горящими глазами. Один из них взобрался даже на стол, а второй устроился на подоконнике, свесив хвост до самого пола, и мальчик видел напряженно шевелящийся его кончик. Больше он ничего не помнил; волк на подоконнике напружинился и прыгнул; медленно, через всю комнату он летел в угол с кроваткой, ровно вытянув толстый и длинный хвост. Вадик от страха

обмочился и дико закричал; он словно тотчас вынырнул из холодной пустоты и увидел испуганную няню, без лишних слов подхватившую его на руки и унесшую к себе в постель, в соседнюю комнату. Он скоро успокоился, заснул, пригревшись под теплым боком няни, но волков так и не забыл, и они время от времени появлялись в его жизни в самые напряженные, почти невыносимые моменты; ему начинало чудиться, что кто-то смотрит ему в затылок, в спину, он оглядывался и замечал расплывающуюся звериную тень с острыми ушами. В свое время он по случаю, хотя это и было противозаконно и опасно, даже приобрел дамский (полностью скрывался в ладони) пистолет; в самые нехорошие моменты он доставал его, вертел так и эдак и успокаивался. Надо заметить, что волки появлялись все реже и реже; последние лет десять подобного совсем не случалось – прошлое отодвигалось, стиралось в памяти и затухало.

Прихлебывая чай, Одинцов зафилософствовался и совершенно не услышал звонка; только увидев перед собой чью-то румяно улыбающуюся, счастливую от молодости физиономию, он понял, что вернулся его племянник Роман, длинноногий верзила; Одинцов прописал его на своей площади, когда окончательно выяснилось, что собственных детей у него уже не будет, и все та же неугомонная Степановна, одно время пользовавшаяся в доме большим влиянием, убедила Одинцова подумать о судьбе сестры, помочь ей обрести женскую долю, и вот теперь Роман, приходя сюда, когда

ему только заблагорассудится, невероятно шумно топал по всей квартире, везде разбрасывал вещи, заставляя Одинцова сердиться и негодовать. И хотя, увидев племянника, которого, в общем-то, любил и где-то в самом потаенном месте души прочил себе в преемники в жизни, а, главное, в своей непрерывной, завещанной ему свыше изнурительной борьбе, Одинцов как-то по-теплому, по-отцовски, заулыбался, в нем тотчас появилось и разрослось чувство неведомой опасности – племянник повел себя совершенно необычно. Неотрывно глядя на Одинцова блестящими глазами, он, напуская на себя важность, долго к чему-то готовился, затем не выдержал, свалился в кресло и засмеялся. С ироническим видом выждав, когда племянник приостановился перевести дыхание, Одинцов спросил:

– Ну, а дальше что?

– Музыка, такая музыка, Вадим! – тотчас отозвался Роман и вслед за тем одним махом лихо прошелся перед Одинцовым на руках, высоко, чуть ли не под самым потолком болтая ногами.

– Роман, ты, братец, пьян, или же в очередной раз влюбился, – предположил, посмеиваясь, Одинцов, и Роман, вновь утвердившись в естественном для человека положении, потоптался перед дядькой с сияющими глазами, затем налетел на Одинцова, сграбастал, выволок из кресла и стал с завидной настойчивостью обнимать. От этого у Одинцова щеки запунцовели; ему наконец удалось, упершись ладонями в

широкую горячую грудь племянника, отодвинуть его и, отдуваясь, почти повалиться в кресло. Роман опять было рванулся к нему, но Одинцов, торопливо подобрав ноги, сделал страдальческие глаза и попросил:

– Роман, остановись! Я пожилой человек, я – устал!

Нелепо, словно собираясь перепрыгнуть через широкую канаву, Роман взмахнул руками, одним духом переставил к столу из угла тяжелое старинное кресло, приобретенное Одинцовым через знакомого антиквара, и бросился в него; дорогое кресло застонало и затрещало, а Роман, с наслаждением вытягивая длинные ноги, замер, блаженно зажмурившись, – рыжеватые ресницы у него предательски вздрагивали. Степановна, улыбаясь (она была, по ее собственному признанию, нерассуждающей рабой Романа), бесшумно ступая в своих теплых домашних тапочках, поставила на стол второй прибор.

– Вадим, Вадим! – опять подхватился Роман, широко раскидывая руки, так что Одинцов невольно еще больше сжался. – У меня сегодня потрясающие новости...

– Позволь... все-таки какие же? Что ты разошелся? – Может быть, впервые чувствуя неудобство оттого, что сам же и установил с племянником совершенно равные отношения, настоял, чтобы племянник с самого начала называл его не дядей и не дедом, а только по имени, он, однако, тут же забыл об этом; он любил все-таки этого, выросшего у него на глазах, верзилу по-настоящему, знал его пылкий, унаследо-

ванный от отца характер, и теперь с некоторой внутренней напряженностью ждал дальнейшего. Предчувствия его, по-видимому, начинали оправдываться, хотя этот, еще детский мир, был призрачной дымкой, и каждый должен выполнить свое, предопределенное изначально. Но срок может и не наступить...

И опять Одинцов слегка свел брови – нельзя было так походя переступить дозволенное.

– Можешь меня поздравить, Вадим, ты сейчас не поверишь! Все, бросаю к черту, прости, пожалуйста, эту свою, так называемую, науку, начинаю новую жизнь! Ты не представляешь, как у меня стало просторно на душе! Ухожу в артисты!

– В артисты? – насмешливо воззрился на племянника Одинцов и, не выдержав, подхватился с кресла, схватил Романа за плечи, чувствуя какой-то всплеск молодой энергии, и затем от души расхохотался. – Тебя возьмут в артисты?

– А что? – перешел в наступление продолжавший дурачиться Роман. – Ты же знаешь, у меня поэтическая душа, я уже пробы прошел! Меня берут в современный фильм, на одну из главных ролей... Главных, Вадим, заметь себе, главных! Черное море, теплые волны, прелестные, молоденькие актрисы... ночи, ночи... Ах, Вадим, Вадим!

– Подожди, подожди, – попытался утихомирить его Одинцов. – Подожди, почему молоденькие актрисы? Настоящие актрисы созревают годам к шестидесяти, вот тогда и из-

ВОЛЬ...

– Я создан для искусства! Я отдам ему весь жар своей души! – продолжал потрясать руками Роман, опять приближаясь к Одинцову, и тот, защищаясь, встал за кресло и потихоньку двигал его вперед.

– У тебя скверная привычка – все время машешь руками, как ветряная мельница, это неприлично, тебя не поймут в хорошем обществе. И неужели ты не видишь, что происходит в мире? Ты посмотри, на Россию надвигается тьма. Приглядишься к этому Горбачеву, к его окружению – в своей ненависти к русскому народу они ни перед чем не остановятся. А из-за их спины кто еще выглядывает? Ты вот о чем подумай и лучше отдай лишний жар души кандидатской, давно пора, Роман, хоть в этом надо успеть. Роман! – повисил он наконец голос. – Не дури, дай мне поужинать, мне режим необходим, перестань кривляться и выкладывай все начистоту, я ведь тебя хорошо знаю.

– Ах, Боже мой, Боже мой, – тревожно меняясь в лице и с шумом втягивая в себя воздух, сказала Степановна. – Гренки! – добавила она еще более потрясенно и исчезла на кухне.

Одинцов сорвал с шеи салфетку, смял ее и швырнул в плетеную корзинку – он уловил не запах подгоревшего хлеба, на него опять, как это не раз бывало в моменты неустойчивого равновесия, хлынул сытый запах свежих русских щей, заставивший даже дернуться горло. Опасаясь, что спазмы пойдут дальше, в желудок, прогоняя назойливый запах, Один-

цов торопливо помахал у себя перед лицом ладонью. Роман, продолжая свою непонятную игру, глядел на него наивно и счастливо, и Одинцов, вместо того чтобы рассердиться пуще и уже совсем выйти из себя, подошел к старинному резному буфету черного дерева (тоже антикварному), достал начатую бутылку старого коньяку и две хрустальные рюмки; обдумывая услышанное и не веря ни одному слову племянника, он помедлил и, не удержавшись от веселого смеха, вернулся к столу.

– Весьма, весьма рад, Роман, – поглядывая на племянника, заговорил он. – Теперь спокойно потолкуем, все прояснится. Давай разберем твой очередной этюд... любви к искусству. А то как же так обвалом? Можно подумать, потоп грядет! Послушай, Роман, не возьму в толк, неужели и тебе уже двадцать семь? Что такое? Зачем все так скоро? Неделю назад ты, кажется, заговаривал о женитьбе, хотел познакомить меня со своей новой девушкой...

– Вадим, потолкуем серьезно, – не слушая обеспокоенного дядю, сказал Роман, высоко поднимая рюмку с коньяком. – Жениться на красивой девушке, разумеется, мудро, а главное, весьма лестно и ново. Особенно, если у девушки хороший характер, и если она любит, вернее, говорит, что безумно любит. Что же это, если не подлинное счастье? Выпьем, Вадим, скорее, а то возьму и соглашусь. Придется тебе раскошелиться.

Лихо проглотив свой коньяк, Роман откинулся на спинку

кресла, и в его взгляде проступило что-то неизвестное и тяжелое.

– Ты же дорогой для меня человек, – сказал Одинцов, поднося рюмку к губам и тут же опуская ее на стол. – Пожалуй, что же, приводи завтра невесту знакомиться. – Он запнулся, испытывающе взглянул на племянника, и тот понимающе кивнул.

– Лиокадия, Вадим, а если проще – Лика... Здорово? Такого имени я никогда раньше не встречал... Добрый знак! Добрый знак! И, однако, не будем больше об этом разговаривать, мне пока достаточно и Полины Степановны, по-моему, она в Лику больше меня влюбилась...

– Ну, хорошо, хорошо, – поспешил остановить его Одинцов. – Ты мне сегодня, определенно, не нравишься.

– Я сам себе, Вадим, в последнее время не нравлюсь, – сказал Роман, и Одинцов, чувствуя, что происходящее окончательно выходит из-под контроля, нащупывая верную интонацию, безмятежно кивнул и выпил.

Роман же, позволивший себе в этот вечер несколько преувеличенное выражение своих чувств, окончательно затих и нахмурился; он сам себя поймал на ненужном выпячивании своей радости и влюбленности, когда это уже становится неприятным и для других, и для себя, и все это идет оттого, что он сам не мог понять, что же в самом деле с ним происходит, и нужно ли ему жениться вообще, нужно ли торопиться, особенно сейчас, когда жизнь так хорошо устроена.

Заметив на себе внимательный взгляд, Роман, подчиняясь правилам игры, опять как-то отрешенно улыбнулся, слегка шевельнул руками, показывая, что он подтверждает свои слова, и тут уж ничего не поделаешь.

Одинцов сразу же вновь наполнил рюмки, заметив, что племянник ради приличия с трудом заставляет себя оставаться на месте и может в любой момент сорваться куда-нибудь в ночь, в темные, малолюдные улицы.

– Многоуважаемая Полина Степановна! Прошу вас, пожалуйста, сюда, на наш общий праздник! – повысил голос Одинцов, оглядываясь, и попросил: – Роман, зови Полину Степановну, последнее время она стала плохо слышать.

Роман, обрадовавшись предлогу, с готовностью вышел на кухню, но никого там не нашел и вернулся с клочком бумаги.

– Наша Степановна исчезла, яко дух святой, оставив вот сие эпистолярное послание. – Он помахал перед собой клочком бумаги. – «Дорогие родственники! Вынуждена покинуть вас по весьма срочному и важному делу, – прочитал он, делая глубокомысленное и серьезное лицо. – Вернусь не ранее девяти часов к вечеру. С уважением к вам и пожеланием милостей и благословения Божьего – Полина Радзинская».

– Какой изысканный стиль! – восхитился Одинцов, – Вот что значит без разбору читать истории о любви и верности. Вот тебе пример актера. Знаешь, она последнее время, кажется, пристрастилась на митинги бегать, стала подлинной патриоткой... Это ее личное дело, но кто сварит кофе?

– Я сварю, не надо, Вадим, на нее сердиться, она хорошая и смешная. А чем ей еще жить? – сказал Роман, вновь прошел на кухню, зажег газ, поставил воду для кофе и сел. Теперь у него совершенно изменилось лицо – оно как-то сразу отяжелело, даже постарело, и когда он вернулся в гостиную с двумя чашками темной дымящейся жидкости, Одинцов, сидевший все в том же кресле и, казалось, в той же позе, пристально, из-под густых черных бровей взглянул племяннику в глаза. Роман слегка кивнул и, ставя чашки с кофе на стол, покосился на бутылку с коньяком – ему захотелось выпить еще. Он налил себе, вопросительно взглянул на дядю.

– Что ж, давай, – согласился Одинцов, и они опять выпили, и затем что-то случилось.

Смакуя густой кофе с коньяком, добавленным по примеру дяди, Роман отвлекся лишь на мгновение и тут же услышал упавший и расколовший пространство нежный звон, – ему показалось, что рядом появился некто совершенно посторонний и внимательно наблюдает за ним, – ощущение это было сильным и устойчивым. Ему стало не по себе, и с языка уже была готова сорваться насмешливая фраза о нечистой силе, но, взглянув на дядю, он осекся. Перед ним сидел совершенно незнакомый человек, с пристальными, проникающими глазами, с молодо отвердевшим в какой-то своей далекой мысли лицом. «Что за черт», – сказал Роман самому себе, пытаясь осмыслить происходящее и не подпасть под непонятное настроение, он не терпел душевной дряхлости,

не признавал всяческой чертовщины, а сейчас все выламывалось из его недолгого жизненного опыта, и он растерялся.

– Ты совсем не помнишь, отца, Роман? – неожиданно спросил Одинцов, и даже его голос показался Роману чужим, хрипловато-настораживающим, и в то же время опасный рубеж был уже позади, в застывшей было груди вновь стала разливаться слабая, приятная теплота. «Коньяк? С непривычки? – подумал Роман. – Кто знает, возможно, у дяди такой забористый коньяк!»

Он остро взглянул в лицо Одинцова и, не опуская глаз, не скрывая удивления, сказал:

– Мне всегда казалось, что ты терпеть не можешь моего бродягу-отца, и мать об этом говорила... Жив ли он вообще? Что-нибудь случилось?

– Женщина – иной мир, иная планета, к ее словам и оценкам следует относиться весьма сдержанно, – еще больше озадачивая племянника, сказал Одинцов.

– Здесь другое, какое-то загадочное совпадение, – сказал Роман, все еще с некоторой настороженностью присматриваясь к дяде. – Вот уже с месяц мне по ночам грезится именно отец. Не снится, а именно грезится, – уточнил он. – Просыпаюсь и чувствую его рядом, слышу его особый, непередаваемый запах. Самое же забавное, я знал этот запах с детства, горьковатый, свежий... Странно, стоит мне открыть глаза, все исчезает, и я никак не могу вспомнить лица, хотя только что отчетливо его видел. Как это так? И вдруг твой вопрос,

впервые, как себя помню. Любопытно... Здесь еще и другое – могу поделиться лишь с тобой. Три дня тому назад просыпаюсь, в голове ералаш, думаю на совершенно неизвестном языке. Оказалось, ко всему букету прибавился еще и арабский, совершенно чуждая мне досель группа... да еще магрибский диалект... Ты понимаешь, что происходит?

Глаза у Одинцова стали совсем бездонными и отрешенными, словно мертвыми, и Романа на какое то мгновение обожгла боль – он испугался не за себя – за грузного, старого человека, заменившего ему в жизни отца и мать, в любую трудную минуту всегда оказывающегося рядом. И вот теперь между ними уже пролегло нечто непреодолимое, – Роман это безошибочно знал, и такое его знание лишь делало его еще более собранным и холодным, и он ничего не мог изменить. Вся его жизнь была лишь подготовкой к предстоящему шагу – он и это хорошо знал. И еще ему казалось, что в нем сейчас сошлись два разных человека, и новый жилец, неизвестный, уверенно и упорно вытеснял старого, и от этого сам он чувствовал какую-то радостную приподнятость: его все время тянуло на шутку, и только выражение лица дяди удерживало.

– Немного потерпи, – неожиданно попросил Одинцов, и в потухших глазах у него стала пробиваться жизнь. – Ничего не могу тебе объяснить, такова твоя участь – ты сам все увидишь и поймешь. Нам осталось недолго быть вместе. – В голосе Одинцова прорезалась несвойственная ему глубокая тоска, и в крупном лице что-то вновь дрогнуло. – Только

всегда помни, Роман, твоя участь высока – она определена еще до твоего рождения. Участь воина! И здесь уж ничего не поделаешь. Такова судьба русской земли. А теперь забудь все, что сейчас произошло... давай, я хочу выпить с тобой на прощанье... я это вино берег для такого именно часа.

– Помилуй, Вадим, что за настроение...

– Молчи! Молчи! – с грубоватой нежностью отозвался Одинцов, подошел к бару, открыл его, отодвинул боковую зеркальную панель, извлек из потайного углубления непривычной формы, похожую на древнюю греческую амфору, большую бутылку грубого пузырчатого стекла, скорее некий даже сосуд, уже одним своим видом вызывавший мысли о бренности. Роман с интересом следил за дядей, с особой осторожностью удалявшего старую мастику. Вино в хрустальных бокалах играло темным рубином, иногда в нем вспыхивала черная пронзительная искра. От вина распространялся неуловимый почти аромат свежести; подняв бокал, Одинцов все так же отчужденно и молча смотрел на племянника. И тогда с нежным хрустальным звоном вторично раскололось пространство, и Роман отчетливо услышал властный и незнакомый голос:

«В путь, Роман, в путь!»

Эти простые слова, неожиданно прозвучавшие в его сознании, радостно оживили и взволновали его; он не отрывался от Одинцова взглядом – тот не шевельнул даже губами, но теперь Роман знал, что это был его голос.

«Да, это я, – опять услышал Роман все тот же глуховатый, отчетливый и теперь страдающий голос. – Мы с тобой были рядом много лет, от самого твоего рождения, и вот только теперь узнали друг друга. Ты уходишь, и тебе нельзя остаться, остаюсь я – старый, одинокий путник. Так должно быть, так определено. Иди и не оглядывайся. В особо невыносимую минуту закрой глаза, и тебя успокоит и укрепит память родного дома. Помни, твои корни здесь неистребимы и вечны... А теперь...»

«В путь, Вадим, в путь!» – эхом отозвалось в душе Романа, и, хотя он тоже не произнес ни слова, он знал, что дядя услышал, – глаза его разгорелись, и он поднял бокал с совершенно черной теперь, но живой, отливающей глубокой теплотой влагой. И после первого же глотка странный шум, звон, чей-то залиvistый, неудержимый смех и не менее горький плач и пронзительный стон, звуки рыдающей скрипки, прорезавшие долгий раскат грома, – целая какофония звуков обрушилась на Романа, за одно мгновение в нем свершилось несчетное множество превращений; он был всего лишь сухим зерном, и какой-то космический ливень наполнил его животворящей силой, и он разбух, пророс, тут же расцвел и вновь осыпался в землю; тысячи смертей и воскрешений прошли через него; он видел, как в яростном томлении рождались и умирали миры, и в удушливых сернистых безднах зарождалась бессмысленная, осклизлая плоть – основа грядущего солнечного разума; в нем сталкивались века, эпохи,

и в нем же остановилось, исчезло время...

«Пей, пей все!» – донеслось до него из ослепительного мрака, и он, с трудом владея собой, заставил себя проглотить остаток огненной влаги. Померкло и растаяло окно, исчез стол, обрушилось куда-то лицо дяди, слабая и оттого особо неприятная боль пронизала мозг, а затем, придя в себя и встряхнув несколько раз головой, он ошарашенно взглянул на сонного Одинцова.

– Фу, черт! – сказал он с недоумением и сомнением в голосе. – Вот это вино! В голове карусель, черт знает что померещилось!

Роман усталился на старую темную бутылку; чье-то лицо мелькнуло перед ним, и все тотчас словно затянуло болотной ряской.

2.

Вечер продолжался, за окнами стихала, успокаивалась Москва.

– Знаешь, дорогой мой племянник, – сказал Одинцов, – нам надо все-таки договорить. Несомненно, это только твое дело – жениться, идти в артисты, но почему бы и не порассуждать, так, знаешь, спокойно, обстоятельно, не спеша. Глядишь, и блеснет...

– Ах да, в артисты, – вспомнил и Роман, глядевший на дядю вначале с недоумением. – Есть, есть такое предложение, пробы прошел... Но ты хоть что-нибудь понимаешь? Что это с нами было?

– Не будем отвлекаться, – тотчас ушел в сторону Одинцов. – В свое время все объяснится. Сейчас давай спустимся поближе к земле, в твои двадцать семь я уже...

– Двадцать шесть, Вадим, даже двадцать пять! Ты меня раньше времени не старь...

– Я так на тебя надеюсь, Роман! Вот вытянешь кандидатскую, напечатаешь несколько серьезных работ, станешь известен, у меня появится настоящий, умный союзник, продолжатель. А ты вместо этого связался со своей театральной студией... Знаешь, как трудно бороться в одиночестве?

– Брось, Вадим, ну что ты? Ты еще кого угодно в бараний рог согнешь! Знаешь, давай вместе жениться... Уговоримся,

и в один день, а?

– Не паясничай! Артист! Мало ли как может повернуться жизнь?

– Да, действительно, Вадим, а как она может повернуться, жизнь-то? – переспросил Роман, пытаясь в то же время понять, чего хочет добиться дядя, что у него за цель.

– Одно дело, Роман, холостые безумства, – упрямо продолжал свое Одинцов, словно и не замечая недовольства и скрытого раздражения племянника, – а другое – жена, ее нужно кормить, холить, одевать, уж тут не до серьезной научной работы.

– У тебя какие-то доисторические, пещерные представления о женитьбе! Кто сейчас холит и одевает жену? Все наоборот, и потом сейчас жена должна обеспечить жизненный уровень мужу, а иначе, что это за жена? – Роман помедлил, со своей простодушной, обезоруживающей улыбкой глядя на дядю. – И опять же, зачем мне работать? Мне хватит того, что после тебя останется.

– И тебе этого будет достаточно, чтобы жить?

– А что в этом плохого? Нормальная диалектика развития любого общества и развитого социализма тоже... Так, Вадим?

– Нет, не так, оставим это, вернемся все-таки к твоей женитьбе. Помню, года три-четыре назад ты безумствовал по поводу какой-то Тины, помнишь, надеюсь? Потом была, если не запамятовал, еще и Рая, и... Подскажи, пожалуйста...

– Вспомнил! – огорчился Роман и, скрываясь от иронически-насмешливого, какого-то преследующего взгляда дяди, вскочил и начал быстро ходить по кабинету. – Ты бы еще вспомнил трубный глас, какой-нибудь Иерихон! А то бы лучше вспомнил еще одну истину – кто без греха, пусть первым бросит в нее камень!

– Не злись, – улыбнулся Одинцов. – Просто, Тина – стоящая была девушка, такая маленькая, хрупкая, а характер чувствовался. Она мне из всех твоих девиц запомнилась. В лице постоянное движение, жизнь, музыка лица, как говорят англичане. М-да, нам не дано предугадать... В блондинках такая жертвенность редко встречается. Где она сейчас?

– Не знаю, – уклончиво отозвался Роман, все с большей пытливостью искоса присматриваясь к дяде. – Очевидно, где-нибудь что-нибудь преподает. Все-таки университет, фирма. Вадим, слушай, почему ты сегодня все время вспоминаешь Тину? Сколько времени прошло, ты ведь ничего зря не делаешь и не говоришь. Да, да, не считай меня окончательным идиотом... Мы расстались пять лет назад и больше не виделись...

– Мы связаны, Роман, больше, чем родством, – общностью судьбы, – сказал Одинцов, в который раз за этот вечер озадачивая племянника. – Между нами не должно быть даже малейших неясностей, как их не было у меня и с твоим отцом. Рано или поздно тебе многое откроется, а сейчас... У этой прелестной Тины остался твой сын, ему, вот именно,

четыре. Первый твой сын, следует подчеркнуть. Вот теперь и решай... Ты что, в самом деле не знал? – спросил Одинцов, не отпуская не верящих вначале, затем замерших, отяжелевших глаз племянника. – Ну вот видишь, а мне все это знать положено, друг мой, такой вот выпал жребий.

Шумно вздохнув, Одинцов отхлебнул вина и почувствовал облегчение; необходимый шаг был сделан, и дальше все должно было разрешиться само собой.

И Роман, некоторое время стоявший столбом и, в свою очередь, не отрывавший взгляда от дяди, запоздало вытер вспотевший лоб, с застывшей улыбкой раз и второй прошелся по гостиной и опустился в кресло.

– Может быть, ты даже знаешь имя? – спросил он.

– Да, знаю, твоего сына зовут Владимиром, – быстро сказал Одинцов. – Выходит, Владимир Романович... кстати, Владимир Меньшенин.

– Ты сегодня весь праздник испортил, Вадим. Какой в этом смысл? – тихо уронил Роман, глядя перед собой. – Я тебя прошу, нравится тебе или нет, давай забудем о прошлом. Ничего не было, ни Тины, ни Владимира Романовича Меньшенина, понимаешь, ничего!

– Ну что ж, постарайся забыть, если сумеешь. Я так и думал, рано тебе жениться, – сказал Одинцов, вновь отхлебывая из бокала и с любопытством поглядывая на племянника. – Никуда не годится! Дорогой мой, талантливый друг, именно жена тот черный хлеб, необходимый ежеднев-

но, именно в этом опора. А все праздники, фейерверки, острые приправы, полеты в поднебесье очень скоро приедаются. Или того хуже, ты безнадежно испортишь желудок. Да и мало ли! Где вы, молодой человек, супруг и, вероятно, через несколько месяцев вновь отец, где вы думаете, допустим, жить?

– Ну, Вадим, – поморщился Роман, – совсем уж тривиально. Мы с Ликой договорились, перебираюсь к ней, у нее с матерью четырехкомнатная квартира, в центре. Еще при Сталине строили, потолки повыше, чем здесь, – счел почему-то нужным пояснить Роман. – У Лики отец был какой-то мастодонт, при Генеральном штабе состоял. Дело в другом, Вадим. Ты сегодня мне не нравишься...

– Разумеется, мы говорим, как два глухих, говорим и не слышим друг друга, – пожаловался и Одинцов. – Поселишься там, из колеи уже не выскочишь – плакала твоя наука...

– Вот, вот, пошли сравнения, метафоры. Что я, конь или вол, из колеи-то? – обрадовался Роман. – И потом, Вадим, оставь ты свои капризы. Давно ли ворчал: покою нет, музыкой оглушили... Я не обижаюсь, – заторопился он, сглаживая резкость, – просто все...

– Я тоже без обид, – быстро сказал Одинцов. – Просто настоящий мужчина приводит жену в свой собственный дом, вот и все.

– Предрассудки, Вадим, придумай что-нибудь новое.

– Предрассудки, пока тебя самого не коснется. Неужели

все, что наработано предыдущими поколениями, все – пред-
рассудки?

– Ох, Вадим, ну и тяжелый ты мужик! – озадачился Роман. – Вот вроде и правильно говоришь, а свету от этой правильности мало, – здесь он даже поморщился. – Другие мы, понимаешь, другие! По своему хотим жить. Не по-вашему, а по-своему. Что в этом дурного?

– Ничего дурного, но ведь вы не знаете главного: как вы хотите жить. Займетесь изобретением колеса.

– И займемся! В разное время человечество перепробовало разные способы. Даже однополую любовь. Кстати, именно сейчас в наиболее развитых странах она приобретает все больший размах. – Роман иронически прищурился, заметив, как внутренне передернулся дядя, но его по-прежнему несло какое-то чувство озорства, свободы и отчаяния. – Так что, кто куда кого привез или кто к кому куда пришел... какая разница? Где есть площадь, там надо и жить...

– Роман, тебе не надоело? Ты же не такой, не юродствуешь, – попросил Одинцов, стараясь повернуть разговор и настроиться на некий философский лад. – В конце концов, ты взрослый человек, тебе решать... ну, вот... стой! стой! – почти вскрикнул он, как бы стараясь оттолкнуть от себя что-то выставленными вперед ладонями; руки его тотчас бессильно упали. Человек в кресле напротив – был просто его племянник Роман, с острым блеском глаз, весь напрягшийся, весь – ожидание, бросок, а никакой не зверь с острыми ушами

и длинным розовым языком, свесившимся из зубастой пасти, но то ли оттого, что он сейчас захватил себя на мысли о невозможности никакого тихого семейного уюта для племянника, в его душе стал расти и шириться бессильный протест. Силой воли заставив себя освободиться от этого изнуряющего знания, в то же время стараясь окончательно не выдать себя, не углубиться без необходимости в ненужные дебри, Одинцов незаметно перевел дыхание; он бы мог поклясться, что только что видел в Романа неясно проступивший и уже уходящий, размытый силуэт зверя, его первобытные, не знающие милосердия глаза, его светящееся, зияющее жаркой пастью нутро. – Одинцова даже в жар бросило, и он подумал о валидоле где-то в ящике стола, о том, что его надо теперь держать под рукой – на глазах у племянника не хотелось вставать, показывать свою слабость. Но Роман все равно заметил, встревоженно приподнялся.

– Сиди, сиди, – попросил Одинцов. – Почудилось... Сразу и не объяснишь, что-то из потустороннего, – уцепился он за какую-то старую, полузабытую мысль. – Море, только необычное, из одних бумаг море, бумаги сплошь исписаны. Я один в лодке среди этого бумажного потока, даже покачивает. Боже мой, глянул – мой почерк, моей рукой все исписано. Странно, ведь не во сне же...

– Видения у тебя, Вадим, в самом деле странно... Тебе надо отдохнуть, – решил Роман. – Давай я тебе помогу, на диван переправлю...

– Спасибо, Роман, спасибо, я так, в кресле посижу, – отказался Одинцов. – Иди и ты, хватит, отдыхай. Только одно, – дай честное слово выполнить одну мою просьбу...

– Какую же, Вадим? Ну, хорошо, хорошо, обещаю, – быстро добавил он в ответ на порывистое движение дяди. – Только на такое же обещание с твоей стороны.

Их глаза вновь встретились в каком-то непонятном и упорном поединке, и Одинцов, помедлив, проглатывая новый ком в горле, кивнул.

– Ничего особенного, – сказал он буднично и просто, некоторое время пережидая и как бы собираясь с силами. – Ты обязательно до своей женитьбы должен увидеть Тину, поговорить с ней... Никаких возражений, ты обещал...

– Хорошо. – Заставив себя непринужденно улыбнуться, хотя ему хотелось как следует выругаться, Роман повторил: – Хорошо, хорошо. А теперь выполни свое обещание, ответь, кто ты такой на самом деле, Вадим? Меня эта мысль сводит порой с ума... Ей-Богу, правда!

Одинцов устало опустил веки и долго молчал, в просторной и красивой гостиной со старинной мебелью копилась особая, прозрачная и легкая тишина. У одного жизнь была позади, оставалось лишь несколько завершающих мазков, но они не должны были испортить всей прежней картины, хотя почти не могли добавить в нее что-либо новое, у другого – впереди был долгий, порой невыносимо безнадежный и бессмысленный путь во имя каких-то, самому ему неведомых и

далеких целей, о чем он сам даже и не подозревал сейчас, но что это могло изменить?

Роман впервые видел, как может преобразиться лицо близкого человека, как может сразу постареть и обрушиться, и сразу понял, что вторгся в запретную и для самого Одинцова зону.

– Вадим, Вадим, – заторопился он. – Я ведь не хотел... ничего не надо, молчи...

– Да, все было бы хорошо и просто, если бы это тыспросил. – Говоря, Одинцов словно терял силу, и глаза его стали глубже и беспокойнее. – Это не тыспросил, это начался путь... Скоро ты сам все узнаешь...

И опять кто-то безжалостный словно толкнул Романа:

– Скоро, Вадим?

– Как только увидишь отца... А теперь иди, ты меня убиваешь...

Последние слова Одинцова еще стучали, отдаваясь каким-то гулом в мозгу, а в уши Роману уже ударил крутой морской прибой, он увидел пустынный морской берег, сети на шестах, какое-то приземистое каменное строение, несущееся со свистом низкое небо. Волны шли одна за другой, обрушиваясь на берег все ближе к его ногам, и одна из них, наиболее высокая, на время заслонившая низкое небо, ударила в него соленой водяной пылью, водорослями, песком, – он, пошатываясь под ударами ветра, торопливо вытер лицо, в следующее мгновение увидел спящего в кресле дядю, повер-

нулся, бросился в свою комнату, рухнул на широкую клетчатую тахту и, не сразу приходя в себя, нащупал рядом на столике сигареты и закурил, в комнате был сейчас приятный полумрак, в открытой форточке озоровал ветер. Он прислушался, но не к ветру, а к себе. Сердце успокаивалось, необходимо было осмыслить происшедшее, и он стал вспоминать все с самого начала, каждое свое движение подробно, каждое слово, и, как это часто бывает, из памяти выплывали, казалось, совершенно неизвестные факты, лица, моменты; он стал думать об отце, и опять шевельнулась давняя детская обида на него – нелегко было лгать в школе, в разговорах мальчишек о своих отцах, хотя, впрочем, сам он всегда больше глубокомысленно молчал, старался молчать, пока было можно. Фронтовик, оттрубил всю войну «от» и «до», вернулся, а затем... Что затем? Мало ли что могло быть, сколько людей по всему свету выполняли тайные, самые неожиданные задания, уходили под чужими именами и документами и пропадали навсегда. И это тоже было формой жизни. И сам он, глубоко и втайне даже от матери тосковавший по отцу, так никогда и не смог понять, как это можно было, молодому, красивому и здоровому, уйти и исчезнуть, – вот этого он никогда не мог простить.

Проходило время, неслись и путались мысли и становилось неловко за свое поведение, за свое дурачество перед дядей, уже достаточно пожилым, умным человеком – интересно, что он в самом деле думает о своем великовозрастном

племяннике, то и дело заводящем разговоры об очередной юбке?

Почувствовав сухой жар, заливающий лоб и щеки, Роман еще раз приказал себе успокоиться: конечно, пошло, конечно, отвратительно сводить весь мир к собственному желудку, но почему именно сегодня его так прохватило? Ну да, был разговор о женитьбе, о диссертации, о Вязелеве, о том, что он разгромил его диссертацию... стоп... об этом не говорилось, он только хотел об этом сказать, и не решился... Стоп, стоп, опять остановил он себя, дядя на его памяти впервые заговорил об отце, а затем и рухнуло какое-то откровение – словно отдернулась завеса и в душу хлынул невыносимо яркий свет, все высветил и все очистил... А что за берег, рыбачьи сети, шторм? Бред, явь? Ответа нет, одно ясно – жить по-прежнему больше нельзя, переместились полюса...

А если это просто коньяк, добрый, старый коньяк? Дядьке кто-то из Армении целый ящик привез, в знак благодарности за докторскую, защитился этот кавказский гений уже под самый занавес, комбайнер Миша Горбачев уже во вкус входил, налево и направо раздаривал все прошлое и настоящее, а Вадим свое дело знает. И правильно! С какой стати раньше времени лапы задирать? Сложить руки на груди и закрыть глаза всегда успеется, да и передать ключи другому тоже... Он к этому не готов, и правильно, он еще многих удивит. Далась ему сегодня Тина! Какая память! А цепкость! Много успел даже в этот век российского апокалипсиса, а как слож-

но шел, не щадя ни друзей, ни врагов, порой, говорят, в такие дебри забредал... А эта его работа о национальном как первой ступени познания космоса? Какая буря, говорят, поднялась! Проклятия, восхищение, обвинение в приспособленчестве – все было... И женщин его Степановна до сих пор простить не может, нет-нет да и проговорится... В общем, было все, иногда весь обрушивается, становится даже жалким, ему кажется, что его преследуют, что рядом обязательно кто-то прячется, он становится раздражительным, нетерпимым, неприкаянно бродит по ночам... А может, и в самом деле пришла пора передавать ключи?

Порывисто вскочив, Роман подошел к окну, выходящему во двор, и распахнул его. В комнату тотчас ворвался непрерывный, привычный гул города и вместе с ним шум осени; во дворе росло много старых деревьев, и в их начинавших лысеть вершинах погуливал ветер. Тусклыми редкими шарами светились фонари; кто-то возбужденно смеялся. Романа поразили этот звонкий, резкий, точно из другой жизни, неожиданный смех, долетевший откуда-то, из неведомого мира. Высунувшись в окно, Роман попытался разглядеть, кто же так бездумно и радостно может смеяться. Окно находилось значительно выше деревьев, он ничего не увидел, и почти насильно заставил себя оторваться от окна, торопливо рассовал по карманам сигареты, носовой платок, записную книжку, ключи и через минуту уже готов был проскользнуть в холл, сорвать с вешалки плащ и хлопнуть дверью. И услышал

какой-то непривычный шум, тихие, приглушенные голоса. Вернулась Степановна, и с ней пришел еще кто-то. Проклиная себя за медлительность, Роман выскочил в переднюю, с твердым намерением бросить на ходу два-три ничего не значащих слова Степановне и исчезнуть, и остолбенел. Перед ним в передней стояла его мать, и это было настолько невероятно, что Роман в растерянности сильно потер переносицу.

– Слава Богу, добрались, – скороговоркой пропела Степановна, и сомнения его рассеялись.

Он переступил с места на место и подошел к матери.

– Добрый вечер...

– Здравствуй, Рома, здравствуй, мальчик, – услышал он в ответ слабый, как бы далекий голос. С душевной боязнью взглянув ей в глаза, он весь напрягся, принимая шляпку и старенькую, старомодную накидку, и, оттягивая время, медлил у вешалки.

3.

В резной, черного дерева раме зеркала (местами поверхность стекла помутнела от времени) Роман видел себя с чуть запухшими от вчерашней, почти бессонной ночи глазами, в помятой, с расстегнутым воротом, модной рубашке. Мать тоже подошла к зеркалу, поправила прическу; она двигалась осторожно, бесшумно, как бы на ощупь, с одинаково приветливым и ровным выражением лица, и от нее исходила какая-то нервная энергия. Первые минуты Роман следил за ней не отрываясь и думал, что она готовится к какому-то тяжелому для себя разговору. Из состояния столбняка его вывел усталый, несколько раздраженный голос Одинцова:

– Роман, кто пришел?

– Степановна, – откликнулся Роман. – И мама пришла...

– Мама? Чья мама? – озадаченно переспросил Одинцов, выходя в дверях гостиной; уже несколько успокоившись, с любопытством ожидая дальнейшего, Роман заметил, как дядя прислонился плечом к косяку. Замешательство у него длилось недолго, и в лице, как определил Роман, мелькнуло нечто демонически приподнятое и вместе с тем иронически покорное.

– А-а, милости просим, очень рад, – сказал он, приглашая проходить в гостиную, и все неуверенно проследовали мимо него, и только Степановна, как всегда, больше занятая собой

и своими переживаниями, подошла к старому зеркалу и принялась перекалывать жиденский узел волос. Мать же Романа, Зоя Анатольевна, опустилась на диван, в самый уголок, как-то по-птичьи мелко тряхнула головой, и у нее при этом мелькнуло подобие улыбки.

– Тяжелый порог, – казалось, собрав последние силы, сказала она. – Если бы не Роман, не переступить... Ах, Вадим, Вадим...

– Может, немного выпьешь, Зоя? – предложил Одинцов и поставил на стол еще один бокал. – Вина или коньяку?

– А что вы так таинственно празднуете? – тревожно спросила Зоя Анатольевна. – Вдвоем?

– А вот, – с улыбкой кивнул Одинцов на племянника. – Решили отметить совершеннолетие... Жениться хочет...

– Опять твои штучки, Вадим, – недоверчиво сказала Зоя Анатольевна, встала, подошла к столу, ее расширившиеся глаза завороченно остановились на большой старой бутылке, и голос у нее сорвался. – Не кощунствуй, брат... Опять? Теперь единственный сын? Слышишь, нет! нет! нет!

Роман бросился было к матери, но его остановил взгляд Одинцова, тяжелый и упорный, дядя словно просил его взглядом молчать и ни во что не вмешиваться, и в это время Зоя Анатольевна, пошатнувшись, все еще продолжая повторять свое бесконечное и бессильное «нет», опустилась в кресло, и брат, глядевший на нее сейчас с жалостью и даже скрытой нежностью, быстро подал ей рюмку коньяку.

– Выпей, Зоя, выпей, – просил он, – одну рюмку можно. Сразу почувствуешь себя лучше. Не надо мучить друг друга, нам так немного осталось, а мы с тобой так много сделали...

– Боже, зачем же судьба послала мне такого братца? – сказала Зоя Анатольевна. – Да не хочу я с тобой пить...

– Выпей, выпей, за счастье Романа выпей, – вновь быстро сказал Одинцов. – Все остальное твои фантазии, ты просто напридумывала невесть что, тебя всегда так не хватало в этом доме...

– Ты, Вадим, страшный человек, ты всегда подавлял мою волю, – бессильно пожаловалась кому то Зоя Анатольевна, неожиданно быстро взяла рюмку и жадно выпила. – Ах, – сказала она с несчастным лицом. – Какая мерзость...

Одинцов с улыбкой одобрительно кивнул, а Роман едва не рассмеялся, – слова матери совсем не соответствовали ее уже подсыхающей фигуре в изящном глухом темном платье с желтоватым старинным кружевом.

– Бог меня накажет, – трагически покачала красивой головой Зоя Анатольевна. – Ведь я поклялась никогда не переступить этот порог...

– Ты, Зоя, всегда обладала драматическим даром. Может быть, в тебе погибла великая трагическая актриса, – опять нашел в себе силы улыбнуться Одинцов. – Бог наградит тебя за твое мужество, да и ты должна гордиться собой и высоко нести голову – ты родила настоящего мужчину, солдата своей земли... В своей судьбе никто не волен в нашем роду, и

ты, сестренка, отлично это знаешь. Надо же, пришла спасать сына... От кого? Племянника от родного дяди? Он мне дорог, дороже сына, но что я могу поделать? Так надо. Не слушай ты, ради Бога, Полину Степановну, ей все кажется, что без ее забот мир рухнет...

– Я могу вообще не досаждать никому своими заботами, – ни секунды не раздумывая, отпарировала Степановна, возникая в дверях. – Могу и вообще покинуть этот затхлый склеп, я – свободный человек.

– Правильно, – с готовностью поддержал Роман, и обстановка несколько разрядилась, все, в том числе и Степановна, рассмеялись – они все слишком хорошо знали друг друга.

– Вот вам и вся истина, – проворчал Одинцов, вновь чувствуя подступавшую, как легкое подташнивание, волну неустойчивости; это случалось с ним не часто, может быть, несколько раз за всю жизнь. – Все мало... Ну, писала бы свои стихи, читала детективы, рассказывала небылицы, так нет, надо еще лезть и в дела, в которых абсолютно ничего не смыслишь!

– Пойду-ка я лучше заварю вам свежий чай, – проворчала Степановна и величественно удалилась, подрагивая подбородком; Роман, переглянувшись с Одинцовым, хотел было выйти следом, но Зоя Анатольевна попросила его остаться; чувствуя, что начинает подпадать под привычную магию мягкого и доброжелательного голоса брата и бессознательно противясь этому, она вновь испугалась.

– Наберись терпения, Роман, – попросила она, стараясь, при виде потиравшего руки сына с невозмутимо застывшим, вежливым лицом, придать своему голосу твердость и решительность; она еще раз почувствовала, что сын совершенно чужой ей человек, и подумала, что этого уже ничем не выправить, – он был слишком похож на отца, и особенно в верхней части лица: такой же лоб, брови, глаза...

Редкий, сухой туман возник и поплыл, отдаляя лицо сына; ничего, ничего, сказала она себе, так уже сколько раз бывало, она куда-то безостановочно проваливалась, потом проходило, пройдет и сейчас, только не дать себе окончательно испугаться, когда-нибудь должно ведь и совсем оборваться... только бы не сейчас, это было бы слишком безбожно, не по совести. Они никто этого не знают, пусть этот взрослый мальчик недовольно хмурится, пусть ему стыдно за ее внезапный приход, пусть даже она ему совершенно чужая и он страдает от ее присутствия, не в этом сейчас дело. Что бы там ни говорил Вадим, жизнь ее раздавила, ее женской доле не позавидуешь, она ведь всегда была прежде всего женщиной и хотела счастья. Какое ей дело до их мужских безрассудств, до их заоблачных игр в солдатики, в какие-то дурацкие тайны... Она никогда ничего в этом не понимала и не смогла чего-то самого главного, и теперь ничего уже не вернешь. Она просто любила, и это было чудо, и не нужно бы ворошить прошлое, но ведь Роману всего двадцать шесть, она должна перед памятью мужа попытаться разрубить этот узел,

она обязана. И перед памятью своей любви, да, у нее сейчас какое-то обостренное восприятие всего происходящего, она смотрит на все вокруг, и на себя тоже, как бы со стороны, все видит и понимает, только сделать ничего не может. Боже, что за наваждение, у Романа совершенно отцовские глаза, то же выражение, тот же прищур; господи, помоги мне выстоять, попросила она кого то неведомого и всемогущего, ведь ему, этому мальчику, ее плоти и крови, придется выпить полной чашей, у него особая судьба... Зачем? Что это может изменить? А как хорошо, если все просто – с весны зеленые тугие листья, яркие мгновенные цветы, к осени – плоды, если повезет, чины, ордена и болезни, так все устроено, и в природе, и в человеке, и другого пути нет и никогда не будет. И все-таки есть что-то еще, – вот, пришла же она сюда, хотя заранее знала, что все это напрасно, что изменить предначертанное свыше невозможно, и ее слепой бунт – жалкая, обреченная на неудачу попытка отстоять свое право хотя бы находиться рядом с сыном, пусть не всегда, пусть изредка. Хотя кто ей этот красивый мальчик с неистовыми глазами Меньшенина? За все надо платить; надломилась в свое время, не смогла отстоять себя и сына, и вот перед ней готовый, сформировавшийся продукт, в нем уже заложена чужая, неукоснительная программа, он уже и внешне чем-то начинает походить на дядю, та же манера держаться, те же интонации проскальзывают в голосе... И почему она должна тратить последние силы? Такова ее вечная участь? Бороться

и уступать? Да нет, что-то сдвинулось в жизни и в ней самой, вот сейчас она совершенно безбоязненно смотрит на сына и брата, своего брата и своего сына, и у нее нет от них абсолютно никакой зависимости. Она свободна, и это чувство внутренней правоты и свободы, безоглядной решимости пришло сегодня, может быть, в самые последние минуты... Откуда такое? А прежний застарелый, глубоко запрятанный страх? Страх перед последним шагом?

Неожиданно для себя Зоя Анатольевна попросила брата налить ей еще немного вина, но пить больше не стала, а пристально и внимательно осмотрела знакомую до мельчайших подробностей просторную гостиную. Она успела заметить, что Роман ловит каждое ее движение, и ободряюще кивнула, как бы говоря сыну, что все в порядке и тревожиться не стоит.

– Не была в этом доме больше десяти лет, не пришла бы и дальше, – вслух подумала Зоя Анатольевна, напряженно глядя перед собой. – Простите, обстоятельства вынудили...

– Что же это за обстоятельства? Позволь узнать, – теперь уже откровенно хмуро поинтересовался Одинцов, наминавший сейчас в своем старом кресле бесформенную, оплывшую глыбу: массивные плечи низко опущены, крупное породистое лицо распустилось в морщинах, набрякшие веки почти прикрыли глаза, – в гостиной вновь сгущалось нечто тяжелое.

– Обстоятельств много, Вадим, хотя бы та же судьба Рома-

на, – устало и спокойно сказала Зоя Анатольевна. – Еще пару лет или чуть больше – и можно будет зачеркнуть его как личность, как ученого. Превратится в такую же безвольную слякоть, в которую превратился рядом с тобой и его отец. Так же сопьется и погибнет. – Говоря, Зоя Анатольевна медленно бледнела, хотя решительности у нее не убавлялось, и, чтобы не глядеть на брата, она не сводила глаз с тяжелой позолоченной рамы, обрамлявшей ценную копию старого мастера – «Возвращение блудного сына»; ее неудержимо притягивала знакомая с детства картина, словно какая-то скрытая в ней жизнь сейчас прорвалась, казалось, еще минута – и тени зашевелиятся, и от этого внимание разбивалось. – Простите, – встряхнулась Зоя Анатольевна, – простите... Я стала фаталисткой – чему быть, того не миновать. Я пришла сюда сказать о другом. Лет восемь назад поздно ночью мне позвонил Георгий Платонович Вязелев, – медленно, словно с трудом вспоминая, продолжала она, – и попросил меня как можно скорее приехать. У него даже по телефону был такой голос, что я тут же, ни о чем больше не спрашивая, согласилась... Вы ведь знаете, это почти в центре Москвы... Вязелев даже после гибели жены и дочери в той ужасной катастрофе не стал менять квартиру. Добралась я ближе к полночи, позвонила... Знаете, бывает так, с тяжелым сердцем позвонила...

4.

Зоя Анатольевна хорошо слышала глухое дребезжание звонка по ту сторону старинной массивной двери; звонок стихал, и опять нависала глубокая тишина. Неизвестно как и когда, скорее всего после того, как осталась совершенно одна, Зоя Анатольевна научилась сочинять и напевать всякие простенькие песенки и часто, заглушая пустоту и вокруг, и внутри себя, начинала мурлыкать про себя, негромко и незаметно, возьмет да вдруг и запоеет; она и сейчас, раздумывая и успокаивая себя, что-то такое замурыкала, и затем, уже совершенно случайно, нажала на ручку, и дверь, скрипнув, как во сне, отрешенно отворилась. Движимая каким-то редко свойственным ей духом противоречия, Зоя Анатольевна проскользнула в дверь и тотчас увидела, что в широкую, непривычно просторную для современных квартир прихожую пробивается из самой дальней комнаты резкий свет. Она почему-то отметила для себя валявшийся чуть ли не на самой середине прихожей башмак с отставшей подметкой, весь рыжий от старости, а, во-вторых, какой-то кислый прогоркший воздух, густо сдобренный вдобавок дешевым табачным запахом. Зоя Анатольевна поморщилась. «Да, но почему он все-таки позвонил?» – тут же подумала она, по-прежнему в нехорошем предчувствии чего-то ненужного. Она еще раз осмотрелась и тихонько позвала:

– Георгий Платонович, а Георгий Платонович, где же вы?

Не дождавшись ответа, она осторожно двинулась дальше и, заглянув в полуоткрытую дверь одной из комнат, отшатнулась. Комната была завалена грудami измятых, изорванных бумаг, за приземистым широким столом сидел сам хозяин, время от времени что-то бормоча себе под нос, почесывая голый желтоватый череп и с остервенением отбрасывая в сторону еще одну просмотренную кипу бумаг; и это происходило так молниеносно, что желтые, облегченные временем листы из предыдущей партии еще не успевали опуститься на пол, как в воздух уже взлетали новые. Вязелев сидел к двери спиной, жиденький венчик когда-то огненно-рыжих, а теперь тусклых, ржавых волос обрамлял совершенно круглую и плоскую лысину; он швырнул через плечо очередную пачку бумаг, и Зоя Анатольевна, весьма озадаченная и заинтригованная, подождав еще немного, окликнула:

– Георгий Платонович! Чего это вам вздумалось? Слышите, перестаньте же!

Желтая лысина вместе с креслом вертанулась к ней навстречу, и Зоя Анатольевна увидела заросшее недельной щетиной осунувшееся лицо Вязелева.

– А-а! – сказал он. – Проходи, Зоя, не обращай внимания... Ну, проходи же, проходи! – повысил он голос. – Спихни там всю эту дрянь с дивана, садись. Подожди немного, сейчас освобожусь...

Зоя Анатольевна прошла по ворохам бумаг, высоко под-

нимая ноги, сдвинула в сторону наваленные на диван папки и осторожно, опасаясь испачкаться, кое-как пристроилась. Здесь тоже пахло табаком и старой книжной пылью; пересильная поднимающийся откуда-то страх, она еще раз огляделась. Ее поразило обилие книг; стеллажи закрывали все четыре стены, кроме небольшой выемки для дивана, для двери и пыльных, давно не протиравшихся окон. Но и над дверью, и над окнами примостились полки с книгами; каждый вершок пространства был здесь учтен и заполнен; с потрескавшегося потолка свисала лампочка под запыленным матерчатым абажуром в размытых грязных пятнах; на полках между книгами кое-где пристроились иконы, какие-то покрытые пылью, бесформенные камни. Иконы, непривычного григорианского письма, и камни остались от покойной жены Вязелева. Увидела Зоя Анатольевна в углу и огромный медный кувшин с тонким горлом, в другом же углу проступало медное, покрывшееся зеленовато-голубой патиной старое распятие, неясное, едва угадывающееся в груди хлама. Но не книги, не камни, не кувшин с распятием были главными, определяющими здесь, в этом затхлом книжном мире; тут главенствовало и все определяло нечто другое, совершенно невидимое, и оно было растворено в самом составе воздуха. Центром этого хаоса был сам Вязелев, бормочущий себе под нос что-то несвязное и озабоченно расхаживающий теперь по книжным грудам.

– Все! Последний штрих! Наложен! Брошен! Расчеты за-

вершены! Наново! Все наново! – Встретившись глазами с Зоей Анатольевной, он заметно вздрогнул, словно наткнулся на неожиданное препятствие, и лицо его прояснилось. – Зоя, ты как здесь? Какими судьбами? Как хорошо, как ты нужна мне сейчас.

– Да что, Жора, случилось? Ну, что, мой хороший? Что такое? – оживленно, точно с ребенком, заговорила Зоя Анатольевна. – Что с тобой? Ты болен? Или вино? Что случилось, Жора? Ну, давай все по порядку, с самого начала.

– Стоп! стоп! стоп! – опять как-то неестественно воодушевился Вязелев, и в его глазах появился лихорадочный блеск. – Нет, нет! Я ничего не забыл, я знаю, зачем я тебя потревожил, Зоя, – понизил он голос, словно опасаясь, что их кто-нибудь подслушает. – Ты права, в самом ведь деле, не ночь, а черт знает что... Не пугайся, Зоя, расскажу, все расскажу... Вот! – с внезапным торжеством вспомнил Вязелев, стремительно схватив какой-то перевязанный шпагатом пакет со стола в грубой оберточной бумаге; Зоя Анатольевна, приказывая себе не замечать судорожной поспешности хозяина, вжалась в спинку дивана, когда Вязелев с какой-то даже нарочитой удалью смел с дивана наваленные груды бумажного хлама и бросился рядом с ней на сиденье.

– Вот! – похлопал он ладонью по пакету. – Вот! Тебе, береги.

– Что это? – спросила Зоя Анатольевна нарочито ровным, будничным голосом.

– Бумаги Алексея, – помолчав, тихо сообщил Вязелев, и глаза у него потеплели и прояснились, из них ушел лихорадочный блеск.

Вопросительно подняв брови, ожидая дальнейших объяснений, Зоя Анатольевна молчала; Алексей Меньшенин был для нее уже слишком далек, чтобы по-настоящему взволноваться. Она попыталась представить его, и не смогла. Если быть честной, она ничего ему не простила: ни его исчезновения, ни того, что ни строчки не оставил, ни слова – появился неожиданно в ее жизни и еще неожиданнее исчез, она для него, очевидно, ничего не значила. Исчез без повода, без всякой вины с ее стороны, и она, хоть и не показывала этого, была как женщина глубоко оскорблена, – в первые дни она вообще еле выжила. Прошли месяцы и годы, острота стерлась, обида осталась, брату она не верила, и обида тлела в ней непрерывно, правда, слабее и слабее с каждым годом. Сколько можно мучиться, думала она, время-то уходило, встречались на ее пути и хорошие люди, можно было и замуж выйти, ей и двадцати четырех не было, когда все разразилось. Мешало все то же чувство своей неполноценности, развившееся в последние годы, – она была самоедом, и именно это проклятое самоедство, самоистязание за несуществующие вины доконало ее, испортило всю дальнейшую жизнь. Но толчком-то был он, от него все шло, от Меньшенина, от его зоологического эгоизма, от его внутренней необязательности... Кто-кто, а она-то знает, каков он был на самом деле,

а теперь, когда любовный угар давно ушел, прошлое перед ней застыло в беспощадном увеличительном стекле. Главное не то, что он оскорбил ее своим исчезновением, главное, что на всю жизнь он лишил ее чувства уверенности в себе, а без этого женщина не женщина. И зачем теперь этот старый неудачник вытащил на свет Божий какие-то бумаги? Зачем она вообще здесь? Хватит и того, что было. Как она могла подпасть под влияние минуты и мчаться среди ночи Бог знает куда?

– И ради этого ты поднял меня среди ночи? – спросила она строго, стараясь держаться все так же бесстрастно и отчужденно. – Чтобы отдать этот старый хлам? Ах, Жора, я не хочу никаких напоминаний о Меньшенине. Он перестал для меня существовать, он для меня умер; понимаешь, умер! Я наконец освободилась от него, понимаешь? Не хочу никаких его бумаг, оставь их себе, выброси, сожги – мне совершенно безразлично!

Казалось, хозяин, уставившись в одну точку перед собой, не слушал ее, и лишь ее последние слова заставили его взгляд метнуться в сторону – зрачки у него опять расширились и потемнели.

– Нет, нет, не говори ничего, Зоя, прошу тебя, – попросил он, наклоня голову набок, к плечу, отчего сразу стал похож на старую нахохлившуюся птицу. – Сейчас выпьем кофейку...

– Зачем среди ночи мы будем пить кофе?

Не обращая внимания на ее протест, Вязелев провел ее на кухню, где царил еще больший беспорядок и где все углы были завалены грудями пылившихся, очевидно, годами бутылок, поставил на огонь чайник, медный, давно не чищенный, необычной формы, и у Зои Анатольевны невесть откуда появилось желание тотчас взять да и отчистить его от накипи и старости. Она удивилась странности своего желания, но такова, очевидно, была закономерность этой фантастической ночи.

– Ты ел сегодня что-нибудь, Георгий? Что-нибудь из еды у тебя есть?

– Посмотри в холодильнике... Там должен быть сыр, хлеб...

– Хлеб?

– Я там прячу его от тараканов... Представляешь, их развелось видимо-невидимо, по ночам у меня тут тараканьи бега... Жуткое дело!

Решив больше ничему не удивляться и ничего не говорить, Зоя Анатольевна осторожно пробралась к холодильнику, заставленному сверху банками, взяла хлеб и сыр; тут же, у мойки, она вымыла несколько тарелок, нарезала сыр и хлеб, навела порядок на небольшом столике. Запахло кофе. Вязелев напряженно смотрел перед собой, – он опять явно отсутствовал.

– Почему ты не женишься, Жора? – спросила Зоя Анатольевна мягко, продолжая расчищать завалы, теперь на сту-

льях. – Ты совсем одичал, разве так можно?

– А ты почему не вышла замуж? – нахмурился Вязелев.

– Прости, я не хотела сделать тебе больно, – сказала Зоя Анатольевна. – Ну, вот, стол и стулья мы отвоевали. Садись. Я сейчас вспоминаю, что ты и раньше варил чудесный кофе. И со мной тебе нечего равняться, я – женщина, у меня остался маленький сын – ух, какая это большая разница, Жора! А тебе и сейчас нужно к кому-нибудь прислониться, милый мой, сколько в Москве одиноких душ! Ладно, не хмурься...

– Иногда иначе и нельзя, только по-бабьи, – сказал Вязелев, по-прежнему занятый какой-то своей мыслью, но оба чувствовали, что молчание одного не мешает другому и можно сколько угодно сидеть вот так, позвякивая ложечкой о стакан, прихлебывать черный, обжигающий кофе и просто отдыхать, забыв обо всем на свете.

– Боюсь, ничего не выйдет, – сказал Вязелев, больше самому себе. – Слишком поздно...

– Что не выйдет?

– Из жизни, говорю, ничего не выйдет...

– Вот ты о чем! А ты меньше задумывайся... Конечно, что теперь, снявши голову, по волосам не плачут. Как быстро все пролетело... Роман десятый заканчивает... Ты хоть иногда видишься с ним, Жора?

– Именно иногда. Совсем редко, – сказал Вязелев, пытаюсь нащупать в разговоре связующую мысль. – Хотелось бы видеться чаще, но здесь Вадим непреклонен, я всякий раз

и в Ромке чувствую его непреклонность. Он до племянника никого не допускает, словно магнитным полем окружил, – сразу отбрасывает.

От кофе и своих мыслей Зоя Анатольевна ощутила предательскую теплоту. Кожа на ее лице слабо разгорелась. «Ну, и что? – подумала она отрешенно. – Жизнь действительно прошла, и пусть! Никого я не трогаю и никому до меня нет дела, и пусть! И пусть! Умрешь ведь – никто и не вспомнит. И пусть! Я и сама не хочу больше никаких напоминаний о прошлом, о нем, Меньшенине, о своей тайной боли; есть вот вещи, стол, стул, чайник, кофе, этот ушедший в свои мысли, начинающий, видимо, спиваться потихоньку мужчина, когда-то бывший самым близким приятелем ей и ее мужу, Меньшенину... Впрочем, зачем же так, мужчины между собой были связаны прочно, она даже ревновала порой и до сих пор ничего не понимает. А теперь вот все и кончено, и видятся раз в столетье. А выговориться бывает порой так необходимо! Доброго слова услышать не от кого, на работе не разговоришься... Сколько приходится молчать, сын вырос чужим, брату я так простить и не могу, и осудить не могу, нет у меня на то права... Все работой убить хотела... второй институт заочно закончила, английский изучала... Господи, а кому это нужно? Ее английский, ее два института? Хотя бы одной-единственной душе... Разве вот Вязелеву? Хотя и этот тоже молчит, как истукан...»

Покосившись в сторону небритого, неухоженного хозяи-

на, Зоя Анатольевна, смущаясь своих мыслей, тихонько засмеялась.

– Ты на меня обиделся, Георгий? – неожиданно мягко спросила она. – Где ты? Пригласил, а сам исчез... Ау-у! А...

– Зоя, понимаешь... я, конечно, бревно и трус и... странно все это, по-прежнему под башмаком у Алексея, у Меньшенина... Но я все же не могу промолчать, это свыше моих сил, – прервав ее, неуверенно заговорил Вязелев, и нервный тик тронул у него правое веко, – он придавил его указательным пальцем. – Понимаешь, я должен тебе признаться... дело в том...

– Ну, говори же, говори! – потребовала Зоя Анатольевна, начиная чувствовать неизъяснимый страх. – Ну, не тяни! Какой ты, право...

– Дело в том, что сегодня... теперь уже вчера, ко мне приходил Меньшенин, – растерянно сказал Вязелев. – Да, да, да, он, Алешка Меньшенин.

– Вчера? Алексей? Ты хочешь сказать, он жив? – Зоя Анатольевна слепо перебирала по краю стола пальцами, и с каким-то детским удивлением не отрывалась от лица хозяина.

– Очень странный вопрос! Жив, значит, если приходил. Явился за своими бумагами, как будто его были обязаны столько лет ждать! И хранить его драгоценные записи! Других дел у людей, конечно, нет, пришел, как будто вчера расстались, потребовал оставленные у меня свои бумаги передать сыну, то есть Роману... И подчеркнул – немедленно!

Слышишь, говорит, немедленно, это душу его спасет... А? Как тебе нравится? – с деланной бодростью поинтересовался Вязелев и передернул плечами. – Нет; ты подумай, за все эти годы ни строчки, ни весточки, и на тебе – он душу свою ими спасет! Чем? Старыми бумагами? Нужны они ему, Роману, как летошний снег... Явился!

Зоя Анатольевна, открыв сумочку, достала старинную пудреницу с золотой инкрустацией, подарок брата к замужеству, открыла ее и смятенно глянула в запыленное зеркальце. Чувства, одно противоречивее другого, мешали ей хоть немного сосредоточиться; словам Вязелева невозможно было поверить, но он был ошеломлен не меньше ее самой, и она это хорошо видела. И тогда опять проснулась обида, тайная, больная, застарелая; она тотчас вспомнила трусливое, без единого слова, исчезновение мужа, и оскорбленное женское самолюбие, кое-как притупленное временем, вновь дало себя знать. Сразу же нарисовались самые невероятные картины; и тут как бы сами собой возникли в памяти давно забытые детали, моменты, случаи... и вот из-за этого человека жизнь прошла впустую.

Лицо Зои Анатольевны сделалось старым и некрасивым, подбородок дрожал, глаза же сухо горели. Вязелев подумал, что ей сейчас станет совсем худо, и уже хотел бежать за каким-нибудь лекарством, – Зоя Анатольевна остановила его. Она сама испугалась своей ненависти и беспощадности, тем более, что была не одна. Значит, Меньшенин слишком ма-

ло ее любил, и здесь ничего не поделаешь, такова, очевидно, природа мужчины, что здесь значит даже собственный маленький сын?

Приказав себе остановиться, не переходить за унижающую человека черту, она опять глянула на себя в зеркальце, тщательно сдувая с клочка ваты лишнюю пудру, она привела лицо в порядок. Все сомнения для нее уже были разрешены; она слишком долго мучилась в свое время из-за Меньшенина, чтобы еще раз; уже сейчас, почти через двадцать лет, начинать сначала. Теперь был только один путь, она и не подозревала о нем вот до этой ночи. И тут словно что опало, прорвалась мешавшая дышать полной грудью неведомая преграда. Бросив пудреницу в сумку, Зоя Анатольевна, удивляя хозяина, тихо засмеялась каким-то особым, волнующим его смехом.

– Обо мне ничего не спрашивал?

– Он ни о ком ничего не спросил, – сказал Вязелев. – Вот это больше всего меня и ошеломило.

– А ты сам что думаешь? – поинтересовалась Зоя Анатольевна, и Вязелев, крепко потирая лысину, вновь развел руками.

– Ничего не могу объяснить, – признался он, начиная сердиться. – Чуть мозги не вывихнул... Знаешь, мне все больше кажется...

– Да?

– Что, если вообще ничего и не было? – спросил Вязелев,

неуверенно улыбаясь. – Бывает же... как-нибудь померещилось, приснилось, – я кофе бочками глушу. Прошло ведь почти двадцать лет! Так же не бывает, правда?

– Очевидно, бывает, Жора, – сказала Зоя Анатольевна. – И ты не знаешь, что в этом пакете?

– Понимаешь, Зоя, есть еще одно обстоятельство, – начал Вязелев с некоторой ноткой вины в голосе. – Первые годы, лет пять, шесть, Алексей присылал мне из разных мест всякие свои бумаги с просьбой хранить и никому не показывать... А потом перестал...

– А может быть, хватит о Меньшенине и его сумасбродствах? – Зою Анатольевну постепенно стало охватывать раздражение. – Вновь какой-нибудь гениальный бред... Даже не знаю, отдавать ли Роману? Не лучше ли в огонь? – вслух думала она, окончательно разгораясь. – Знаешь, Жора, я тебе тараканов выведу, я средство знаю. Буру смешать с сахарной пудрой, посыпать по углам, за шкафами – в несколько дней до единого сгинут... Ну, что ты так смотришь? Вот старая черепаха...

– Загадочное существо – женщина, – тепло и покорно улыбнулся Вязелев. – Не забыла ведь... И страдаешь по-прежнему, и любишь...

– Ах, нет, это не то, успокойся, – возразила Зоя Анатольевна. – Я ведь совершенно серьезно говорю. Что ты, Жора, какая любовь? Все выгорело, хватит с меня Меньшенина! Хватит! – резко провела она ребром ладони себе по горлу. –

Сыта! Я теперь лучше с живыми тараканами хочу сразиться... И дело сразу видно – чисто, уютно. А гении – бр-р-р! К черту сумасшедших гениев, они не для слабой женщины. К черту, к черту!

– Что ты такое сейчас говоришь! – поморщился Вязелев. – Ты ведь не в себе сейчас, ты ведь другая...

– А ты меня поучи, поучи! – повысила голос Зоя Анатольевна. – Другая? Откуда тебе знать, какая я? Да, я его любила, я чуть с ума не сошла, ждала, ждала, ждала... И ты еще хочешь видеть меня доброй?

– Ну, ради Бога, не кипятись, – вновь с тихой улыбкой попытался остановить ее Вязелев. – Говорю же – вполне вероятно, пригрезилось, в последнее время одолевает прошлое. Всякое случается.

Тут Зою Анатольевну, слушавшую хозяина с жутковатым и в то же время бодрящим ознобом в груди, что-то заставило поднять голову и прислушаться, – Вязелев тоже замолчал, вопросительно глядя на нее и тоже вслушиваясь в московскую ночь, в ее глухое звучание в толстых, старых стенах дома.

– Ничего, – подала наконец голос Зоя Анатольевна, слегка поеживаясь. – Когда-нибудь мы вспомним эту минуту и посмеемся... Слушай, Жора, не нагоняй на меня всяких страхов, я и без того трусиха. Я же вижу, тебя что-то мучит, а ты молчишь, не хочешь сказать...

– Говорить особо и нечего, – вновь попытался уйти в сто-

рону Вязелев, стараясь не подпадать больше под ее власть. – Ты опять не поверишь, только это уж совершенно фантастическое... Не в монастыре ли он обретается, наш Алексей? Или еще хуже, не в доме ли скорбных главою?

Слегка отодвинувшись, Зоя Анатольевна быстро перекрестилась.

– Придумаешь! Вот уж не ожидала... Мог бы и спросить, что-нибудь да услышал бы...

– Как же, спроси! – не согласился Вязелев. – Да он мне слова не дал сказать, видела бы ты его глаза! Монах не монах, Бог знает что... Он совсем другим стал, бросил несколько слов – да и был таков! Это он на меня наслал какое-то помрачение, до сих пор прийти в себя не могу. Да что мы все о нем да о нем? – окончательно возмутился Вязелев. – Бодрисься, а на тебе лица нет, у меня тоже мысли не дай Бог. Подожди, у меня вина немного есть, берег, берег... Денег давно не водится – по примеру пращуров, извел на книги да рукописи, все мои капиталы на полках... Выпьем, какого еще случая ждать? Не часто нас навещают почти что из-за последней черты...

Тотчас достав откуда-то из угла, из наваленного тамхлама плоскую и длинную, похожую на флягу, запыленную бутылку, Вязелев взглянул на нее на свет и огорчился, и Зоя Анатольевна, продолжавшая внимательно наблюдать за ним, хотела ободрить и успокоить его, и не успела. Вязелев хлопнул себе по лысине ладонью и, бросив пустую бутылку обратно

в угол, выбежал, тотчас вернулся, и скоро они уже держали в руках наполненные вином рюмки, и Вязелев, глядя на свою гостью, подумал, что им давно бы пора сойтись и жить вместе, а не маяться дурью, но вот сказать об этом он вряд ли осмелится. Одиночество – самая разрушительная вещь на этом свете, вон как и ее, и его самого подкосило, ну, и что? Оба не молоды, нездоровы, ну и что? Вот так, тихо и просто быть рядом, о чем-нибудь поговорить, улыбнуться, а то и поворчать, вместе сходить в театр, куда-нибудь на выставку...

Он не заметил, что гостя, заученно улыбаясь, уже с трудом пересиливает усталость; сейчас ей больше всего хотелось немного выпить, добраться до постели и лечь и закрыть глаза, и в то же время подхватившая и понесшая ее мутная, теплая волна еще не утихла и не опала, и несла она ее не вперед, а назад, назад; она вдруг почувствовала, что сердце бьется как-то неровно, а вот и знакомая, тупая боль... а вот и *его* глаза несутся откуда-то из мрака... Боже мой, что *он* хочет ей сказать... какой странный, все обволакивающий взгляд, смотрит прямо в душу, в самую ее глубину, и от этого как-то невыносимо, пронзительно светло...

Сильно бледнея, Зоя Анатольевна качнулась, рюмка с веселым звоном рассыпалась по полу, и Вязелев, очнувшись от своих мыслей, быстро приподнялся, вложил ей в руку свою рюмку.

– Ничего, ничего, – торопливо, полушепотом заговорил он. – Выпей, выпей! Я, дурак, тебя напугал, а это всего лишь

прошлое... Такое слепое, безглазое... пей! Вот и себе в стакан налью...

Они посмотрели друг на друга; Вязелев не выдержал, глянул в сторону, затем залпом выпил, и Зоя Анатольевна, пересиливая слабость, последовала его примеру.

– Хорошо, – прошептала она. – Теперь, Жора, я знаю, ты не обманул. Нет, нет, ты не виноват, так уж сложилось. Мне бы прилечь немного, голова кружится...

Вязелев провел ее в другую комнату, в ту самую, сплошь заставленную книгами, папками, какими то свитками, и бережно уложил на диване, а сверху осторожно набросил на нее старенький клетчатый плед. Закрыв глаза, Зоя Анатольевна подложила под щеку ладонь.

– Не уходи, Жора, – попросила она. – Не в себе... и не то, чтобы страх, хуже... Пожалуйста, не уходи. Расскажи мне что-нибудь еще...

Опустившись рядом на стопку каких-то книг, Вязелев осторожно взял ее руку в свои. Тотчас мир, разъятый и безликий, сомкнулся, и стало тихо. И полки с книгами успокоительно придвинулись, Вязелев почувствовал их неуловимое, согревающее тепло. Зоя Анатольевна чуть шевельнула губами:

– Говори...

– О нем? – обреченно переспросил Вязелев и тотчас успокаивающе погладил ее руку. – Конечно, конечно, что это я... Я ведь тоже все время о нем думаю... Не знаю, не знаю, мне

порой кажется, что я просто брежу. Мы словно попали в орбиту какого-то непреодолимого притяжения и не можем вырваться. Но почему именно я или ты? Есть люди, одаренные какой-то высшей силой, высшим смыслом, – они идут своим путем, одинокие и гордые, у них неведомые никому пути и задачи. И нам их не понять, мы боимся оторвать глаза от земли... Мне часто и раньше казалось многое в семье Меншениных странным, почти необъяснимым, ведь и его отец почти не жил дома... все пропадал по каким-то дальним командировкам, а я думаю, что где-то и подальше... И Алексей, конечно, не то, чем бы он хотел казаться, за ним всегда чувствовалась эта фамильная, что ли, спесь, какая-то непереносимая почти даль, – туда он никого не пускал... Кто он и куда он идет или шел? Наверно, ему больно от одиночества и непонимания, но что он может сделать, мне порой казалось и раньше, что ему просто нельзя свернуть или остановиться...

Осторожно покосившись в сторону Зои Анатольевны, по-прежнему лежавшей с закрытыми глазами, он подумал, что составилось какое-то совершенно невероятное положение, и это тонкое напряженное женское лицо на старенькой подушке тоже невероятно в этом его правильном, давно очерченном мире, теперь совершенно неожиданно и беспардонно взорванном. Разумеется, он не идиот, приходил к нему живой Алешка Меншенин, и никто больше, и нечего себя обманывать, пожалуй, именно он, Алешка, и внушил ему мысль позвать к себе Зою и позаботиться о ней, он бы ни-

чего не мог сказать здесь определенного, но он точно знает, что это было его настойчивое желание, даже требование – ведь они с Алешкой Меньшениным еще старые школьные друзья, не говоря уже о другом... Теперь он все окончательно вспомнил...

Он не понял, что случилось, он почувствовал почти опустошающее облегчение; Зоя Анатольевна, лежа навзничь, с закрытыми глазами, плакала, слезы ползли по вискам, редкие и бессильные. Он, просветленный и легкий, потянулся к ней, хотел поцеловать ей руку и не успел.

– А я вот ничего не могу забыть и ненавижу, – сказала она. – Я ведь его никогда не понимала и боялась этого непонимания в себе...

– Не надо, Зоя, не унижай себя... То, что было – было, зачем же? – Подкрепляя свои слова, Вязелев опять слегка погладил ее руку. – Если бы он действительно умер, неужели в твоей душе все было бы иначе? Не верю...

Он замолчал, встретив взгляд какой-то незнакомой, совершенно далекой женщины, уже почти спокойный, с проскакивающими в глубине глаз насмешливыми искорками.

«Мертвому прощается многое, что с него взять? – тихо подумала Зоя Анатольевна. – Живому ничего не прощается... Так устроено, ничего переменить нельзя».

Он, забывшись, все еще продолжал держать ее руку в своих, и оба они смутились; что-то пришло и окончательно связало их друг с другом. Торопясь закрепить неожиданное от-

кровение, Вязелев неловко наклонился и коснулся горячими сухими губами ее слабых, тонких пальцев.

* * *

Синий рассвет появился в окне неожиданно. Открыв глаза, Вязелев приподнялся, привалился к прохладной спинке кровати. Пришло успокоение и облегчение, все свершилось как-то буднично и просто, и теперь непонятно, что делать дальше. Скорее всего, ничего не нужно делать, все само собой образуется и продолжится, ведь никого это не касается, только его самого и вот ее, этой маленькой женщины, и Зоя Анатольевна, давно украдкой наблюдавшая за ним, улыбнулась, пожелала доброго утра, и Вязелев, облегченно вздохнув, обрадовался.

– Ах, старые мы дураки, – посокрушался он на всякий случай. – Вот навертели-то петель, никакой леший не распутает...

– А мне, Жора, хорошо и покойно, – призналась Зоя Анатольевна. – Какие мы старые, не говори так... Мне до пятидесяти еще вон сколько, а ты ведь ровесник Алексею...

Спохватившись, она испуганно тряхнула головой, и Вязелев осторожно погладил ее хрупкое плечо.

– А если дверь откроется, и он войдет, а? Ему в голову и такое может втемяшиться...

– Призракам здесь делать нечего, – решительно возразила

Зоя Анатольевна. – Прости, мне надо торопиться, в девять у меня деловая встреча... Пожалуй, прихватчу и меньшенинский пакет, как-нибудь дотащу. Ладно уж, ты пока перевяжи его еще раз шпагатом.

Оба невольно одновременно посмотрели на стол, где Зоя Анатольевна оставила вчера большой серый сверток с меньшенинскими бумагами, и переглянулись: кроме двух бокалов с недопитым вином на столе больше ничего не было.

* * *

Осенний, еще теплый вечер пах свежими спелыми яблоками, сухой пылью – в старом московском дворе, наряду с вездесущими тополями и липами, еще держалось несколько яблонь, полужасохших, в обломанных сучьях, с обшарпанными стволами и безжалостно разодранной корой; земля под ними, плотно и навсегда утрамбованная, не размокала и в самые сильные дожди, – потоки воды скатывались с нее, как с бетонного покрытия. И все-таки на вершинах изуродованных человеческой неутомимостью деревьев еще сохранялось одно-два яблока, запряганных в листьях и не видных снизу вездесущим ребятишкам, с молоком матери впитавшим в себя уверенность, что все в мире создано только для них и яблоня растет единственно для того только, чтобы принести именно им, детям человеческим, вкусные плоды...

Еще пахло неуловимой гарью – она присутствовала везде,

в каждом глотке воздуха, в любом дуновении ветра, в квартире и на улице, и даже за сорок километров на даче Одицова, среди старых сосен с начинающими подсыхать верхушками.

Роман глядел в окно и думал, что когда-то деревья эти казались ему фантастично высокими, а замкнутый с четырех сторон колодец двора бесконечно огромным.

– Значит, где-то хранятся бумаги отца, – сказал он, оглядываясь на Зою Анатольевну, теперь более чем когда-либо избегая называть ее мамой. – Может быть, ты подскажешь?

– Не могу, Рома, не знаю. – Голос Зои Анатольевны был бесстрастен и ровен, словно из него ушли все краски, и сразу же Роман пожалел ее, сказал себе, что нужно всегда помнить, что это его мать и вот уже сколько лет она живет неизвестно как, отгородилась раз и навсегда от всего мира, и, очевидно, не от хорошей жизни. Бесстрастность и отчужденность не в ее натуре, и руки совсем прозрачные от худобы, и ему захотелось как-то ободрить ее, такую одинокую, сказать что-то ласковое, утешительное, но нужных слов никак не находилось, и он стал опять смотреть в окно.

– Как быстро, Степановна, все пролетело, – вздохнула Зоя Анатольевна. – Роман совсем взрослый. А помнишь...

– Еще бы не помнить! – Наконец получив возможность втиснуться в разговор, Степановна обстоятельно обмахнула на себе какие-то оборочки, рюшечки, с силой огладила на коленях юбку. – Да вот и наш хозяин все помнит, – кивнула она

в сторону Одинцова, продолжавшего сидеть молча, с застывшей на лице полуиронической улыбкой. – Я только-только в Москву из своего Смоленска приехала, в дом к вам бедной родственницей постучалась. Меня щепой в мутной воде и прибило... Боже мой... Приехала я поначалу к своему земляку, он на Белорусском вокзале после войны пристроился. А у меня душа в ключья изорвана... известно, как после войны на смоленской-то земле – болота, супесь, сроду хлеба вволю не ели...

Кружок от чайника на клеенке привлек внимание Степановны, – она попробовала оттереть его бумажной салфеткой, не смогла и опять взглянула в сторону Одинцова.

– Я ж тогда, дура, вскоре тоже замуж выскочила, – опять заговорила Степановна. – Ох! Ох! Выскочила, да и не знала, как развязаться. Уж такой злодей попался, всякие, прости Господи, бывают, ну уж этот! На веки вечные отвратил от меня искушение мужского покровительства... Тьфу! тьфу! Это же надо, такая оказия! Как ночь – он готов, растелешивается, как есть без стыда, руки воздевает и такая утробная у него голосина. Я, гнусавит, есть посланец, лобызай, ноги мой лобызай, гвоздями пронзенные. Да какой же ты, говорю, посланец, идиот задубенный, лечиться тебе надо, а не играть-то в этакой срамоте... тьфу! тьфу! – Степановна окончательно разволновалась, выбежала на кухню и, отдышавшись, скоро опять вернулась.

– Ну, вот, а твой-то сизый голубь вскоре после этого у нас

явился, впервые его сам хозяин и привел, с какими-то бумагами да книжками – целая связка, не подымешь. Я встретить вышла, вот хозяин и говорит: здравствуй, здравствуй, Полюшка, вот знакомься, будем его угощать по высшему разряду. Не ударим лицом, это знаешь кто? Будущая известность, гений! Засмеялся да и уволок парня в кабинет к себе. Надо же им было столкнуться в жизни рядом... Проскочи они мимо друг друга, и кто знает, как бы все сложилось? Как же я могу забыть? Помню, все помню, да и ты, Зоюшка, всего на несколько лет моложе меня была, хоть теткой ты до сих пор меня зовешь. Да, впрочем, что говорить, была я все-таки не одна в этом жутком, развратном городе. Так и пошло. Матушка у тебя, моя какая-то очень дальняя родственница, Вера Васильевна, была прямо ангельская женщина. Я плачу, рассказываю, она – вдвое... Что ж, говорит, Полюшка, живи. Как, мол, я тебе тогда говорила, не нравится мне этот твой избранник... Самсоний-то воспаряющий... Надо же, с крыши восьмиэтажного дома голый к небу устремился... Какая фантазия, видимо, озаренным человеком явился на свет, да сгубил себя водкой. Как же, талантливый алкоголик, это несомненно, сатана его избранником своим обозначил, – внезапно вышла из себя Степановна, махнула рукой, всхлипнула, и глаза ее затуманились тоскливой насмешкой над своей жизнью и над тем, что она сейчас словно пыталась пожаловаться хоть кому-нибудь; она поспешно вскочила и вновь устремилась на кухню.

5.

Завершившаяся небывалая битва в попытках очередного передела мира отодвигалась все дальше, отщелкивали год за годом, и вот уже тектонические судороги похорон Сталина постепенно затухли, и на огромных российских пространствах стала копиться и прорываться в коротких глухих схватках иная энергия. Москва еще ощущалась подтянутой, деловитой, активной; мелькали в толпе гимнастерки; в нравственной атмосфере народного самосознания еще преобладала смертельная дрожь, вызванная невиданным напряжением сил; потеряв десятки миллионов человек, в основном молодых и зрелых мужчин, от самого присутствия которых зависело равновесие в жизни, экономическое, духовное, эмоциональное, половое или, как принято стало говорить позже, сексуальное, страна находила спасение, утешение и выход в новых, непомерных тяготах по движению вперед. Не отстать! Восстановить разрушенное (а разрушено было полстраны) и не отстать от подстегнутого войной движения в науках, в вооружениях, в экономике, в политическом влиянии на мировой арене. Но уже всюду работали фальсификаторы и поднимали голову изощренные демагоги, на всякий случай трусливо притихшие на время перед зловещей тенью Гитлера. Уже сэр Уинстон Черчилль, в унаследованной, очевидно, от предков благородной пиратской крови которого словно про-

будились древние разбойничьи времена и ему не давала покоя несостоявшаяся миссия Гитлера, – давно уже, ни мало, ни много, призывал сбросить и на *всех остальных русских атомные бомбы*. Одним словом, в мире продолжался узаконенный тысячами порядком вещей, и человечество поумнело ровно настолько, чтобы иметь возможность истреблять друг друга более высокими и сложными научными методами.

Как раз об этом вели оживленный разговор двое ученых мужей, прогуливающих по Тверскому, – в те времена еще не было кинотеатра «Россия», хотя Пушкин уже стоял на своем новом месте, на противоположной стороне главной московской улицы. Один из гулявших был профессор Вадим Анатольевич Одинцов, сильный, уверенный в себе человек лет под сорок. Бодрый, подтянутый, с живым блеском в глазах, резко очерченными, красивыми губами; на лице у него почти все время держалось какое-то даже юношеское выражение в увлечении разговором; в ходьбе он незаметно прихрамывал на правую ногу – следствие ранения под Москвой в зиму сорок первого, после чего он был начисто комиссован из армии. Второй же, совсем молодой, худющий, в гимнастерке, с длинной и тонкой шеей, в разговоре, волнуясь, резко и методически взмахивал рукой. Молодой человек, прошедший всю войну, трижды раненный и четырежды орденосный, нравился профессору своей талантливостью, одержимостью в работе, какой-то неумемностью. Это

и был Алексей Иванович Меньшенин, будущий зять именитого профессора Одинцова и отец его племянника Романа, но пока об этом никто даже и не подозревал. Одинцову была просто до какой-то степени забавна горячность молодого человека, его непримиримость и бескомпромиссность в споре, и он с откровенной, братской шутливостью любовался им; Меньшенин ко всему прочему был и красив, подвижное лицо, тонкие нервные ноздри прямого, почти выточенного носа, с еле угадывающейся горбинкой, непривычные золотисто-карие глаза с затаенным блеском и русые, почти пшеничные, коротко стриженные волосы. Пожалуй, скорее неуспокоенность мысли, внутренний поиск привлекали к нему невольное внимание; профессора очаровал живой, гибкий, парадоксальный ум юноши, показались глубокими и оригинальными его взгляды на роль истории, на взаимозависимость сильной личности и народа. Стараясь больше слушать, Одинцов (а он почти всегда предпочитал слушать и анализировать) с каждой новой минутой убеждался, что судьба свела его с одаренным человеком, не признающим на веру никаких ранее установленных границ и авторитетов; профессор иногда даже поглядывал по сторонам, опасаясь нескромных любопытных ушей.

С другой же стороны, и Одинцову, и Меньшенину становилось все интереснее друг с другом, и они как-то неожиданно, не сговариваясь, как это часто бывает с двумя почувствовавшими духовную близость людьми, стали называть друг

друга только по имени, и случилось это естественно и просто.

– А вы, Алексей, умеете озадачить, – невольно вырвалось у Одинцова с хорошо поставленным изумлением, хотя, следуя истине, необходимо подчеркнуть, что на этот раз изумление его было почти искренним. – Вы сами не осознаете, кто вы и что вы. У вас отсутствует чувство собственной безопасности. Недопустимая патология для талантливого человека! Природа не может быть столь расточительной.

– Не думаю. Вероятно, просто перспективные парадоксы природы. Молодость не имеет права на излишне обостренное чувство личной безопасности. Сие уже для отмирающих форм. Да, о чем мы говорили?

– О чем? Пожалуй, ни о чем... так и надо считать.

Глаза Меньшенина сверкнули, летучая улыбка тронула губы.

– Мы говорили о личности и о народе, Вадим, – сказал он, по привычке держа голову слегка склоненной вбок, чуть-чуть влево. – И если проследить историю с незапамятных эпох, если бы представилась возможность, даже с неандертальцев, вывод будет один. Народ всегда оказывался в конце концов только послушным орудием в руках отдельных личностей, часто выдающихся, нередко просто дерзких проходимцев. Бунты, восстания, революции, при ближайшем рассмотрении, опять дело отдельных личностей, групповых интересов и амбиций, чьих-то непомерных честолюбий. Захо-

телось Разину погулять по святой Руси под личиной царя-ба-
тюшки, и запылала стихия! А Македонский, а Чингисхан,
а Наполеон, а Гитлер, наконец? Вокруг бродильного начала
вмиг начинается бурный процесс, агрессия – одна из самых
пьянящих форм жизни, и изменить этого нельзя. Не умею-
щий защитить себя и ответить ударом на удар всегда про-
игрывает, вынужден жить по чужой воле. Разумеется, все
это надежно прикрыто, ко всему подведена соответствующая
формула. Более лживых и циничных людей, чем фило-
софы, природа еще не придумала! Но как же иначе? Иначе
нельзя, иначе не получается видимость театра...

– Алексей! Нет, это положительно становится интерес-
ным! Исключительно интересным! А марксизм?

– А что марксизм? Очередная ересь, весьма прогрессив-
ная форма лжи, позволяющая при этом еще слыть умным,
даже гениальным человеком, вот и весь марксизм.

Если до этого Одинцов слушал, пряча ироническую ух-
мылку, то теперь он остановился, в глазах у него отрази-
лось небо, ласковым клочком проглядывавшее сквозь ста-
рые, очевидно, выдавшие еще Толстого или Достоевского де-
ревья; на лице у Одинцова появилось крайне отсутствующее
выражение. Ему почудилась за Меньшениным какая-то гро-
мадная, покачивающаяся остроухая тень; сердце стиснуло
горячим широким обручем; на мгновение ему словно при-
открылось нечто совершенно уж невероятное и фантастиче-
ское, распахнулась какая-то цепенящая даль, и мысль сби-

лась, заметалась. Ему трудно было взглянуть на Меньшенина, но он заставил себя.

– Вы на меня не обидитесь, юноша, за один очень короткий вопрос? – бодро поинтересовался он, чувствуя, однако, продолжавшее саднить сердце.

– Спрашивайте, – мужественно разрешил Меньшенин, весело и беспечно улыбаясь.

– Вы никогда не задумывались над собственным характером? – теперь уже проникновенно и совсем понизив голос, обратился к нему Одинцов.

– Очень интересный вопрос, – улыбнулся Меньшенин, одергивая гимнастерку и туго стоня складки под ремнем назад. – Вы, Вадим, должны уяснить одно: в отличие от вас, я совершенно свободен...

– Простите, не понимаю...

– Свободен безусловно от всего, Вадим, – продолжая светло улыбаться, терпеливо повторил Меньшенин. – От авторитетов, от общепринятых теорий и идей...

– Чепуха! Да так ведь и не бывает, это всего лишь приятное, заблуждение, – стал явно подзадоривать Одинцов, и голос у него, как у школьного учителя, журившего любимого ученика, стал ласковым. – Нельзя же всерьез полагать, что вы совершенно разъединены с жизнью, Алексей, с человеком, вообще с человечеством, с его историей, культурой, с его духовными достижениями. Вы ведь умны, вы знаете, так не бывает. Вы шутите... а зачем? Вы воевали, и храбро вое-

вали, у вас достойный послужной список, столько наград...

– Здесь совершенно другое, – ответил Меньшенин. – Как же я мог не воевать? Я русский человек, я защищал Россию, и мне далеко не безразлично, что русского человека, русский народ все упорнее пытаются опорочить. Следовательно, я не мог не воевать – уж эта родовая пуповина у меня сохранилась, мужчина ведь и рождается для борьбы, именно в момент наивысшей опасности в нем и просыпается инстинкт рода. Даже Уинстону Черчиллю, из рода Мальборо, пришлось в эту войну сделать вид, что он забыл о своей ненависти к России. Вот и мне пришлось махнуть рукой на все свои идеи и убеждения... Да я ничего особенного и не утверждаю, Вадим, просто мне кажется, что в мире ничего законченного и вечного не может быть, сие – противоестественно. Совершенству ведь нет пределов, как...

– А разве с этой истиной кто-нибудь спорит? – быстро спросил Одинцов, остро глядя прямо в зрачки собеседнику.

– Нет, разумеется, в открытую – никто. – Неожиданно Меньшенин заразительно засмеялся, и у Одинцова шевельнулась мысль, что рядом с ним человек с каким-то душевным надломом; что молодость, румянец, неистощимая веселость, красивое лицо – все это только внешнее, что-то тут было не так, что-то даже мешало вежливо и холодно подать руку, или хотя бы просто распрощаться сдержанным кивком. И, медля, делая вид, что он задумался, Одинцов действительно уловил в себе какое-то новое движение, все его

наблюдения, раздумья, поиски и борьба последних лет вроде бы стали сливаться в один луч, – это было вдохновение, внезапное, вероятнее всего, несвоевременное. Тихая радость шевельнулась в душе, он даже почувствовал легкое головокружение. Давно уже не приходилось ему ощущать такого вольного, приятного чувства парения – ему опять хотелось утверждать в споре нечто совершенно противоположное, и идея, и форма, и даже название его новой работы были ему захватывающе ясны. А главное, главное – какая завеса! Черта с два кто продерется! Даже любезный Коротченко со всей своей ратью... Черт возьми, расцеловать бы этого парня... нет, нет, что он подумает... воистину Париж стоит мессы, но...

Он остановил себя, он не имел права прыгать, как этот молодой жеребенок, он, разумеется, напишет свою новую книгу, но служить ему придется совершенно противоположному. Именно русской, славянской идее, законы братства суровы и однозначны... и не прислан ли этот какой-то пока явно завирающийся парень просто испытать, проверить, а то и сменить его... или же для каких-то иных, высших целей и замыслов... что-то не припомню, как мы встретились с ним впервые, вот еще незадача, совсем запамятовал, это уж совсем непростительно, что-то не так...

– Вадим, послушайте, вы внимательно ознакомились с рекомендательным письмом, которое я вам передал? – неожиданно вспомнил Меньшенин, и их глаза встретились.

– Разве было какое-то рекомендательное письмо? – медленно спросил Одинцов.

– Было. Вы взглянули и бросили на стол, затем, кажется, переложили в сейф.

– Простите, запамятовал, – повел Одинцов игру дальше, невольно поеживаясь. – Кто же вам дал это письмо?

– Вероятно, вы не поверите, но это так, – сказал Меньшенин. – Я не знаю, кто дал мне письмо на ваше имя. Это было в начале мая сорок пятого, я анализировал в Берлине захваченные немецкие документы, очень и очень любопытные. Была такая специальная, закрытая группа, формально мы числились при штабе маршала Жукова, но в ее работу никто не имел права вмешиваться, даже он сам. И вот передо мной однажды появляется незнакомый полковник, называет ваш институт, передает письмо, затем следуют краткие инструкции – больше я этого человека не видел. Через три месяца, как и было им сказано, меня демобилизуют, и вот я...

– Да хватит, – остановил Одинцов, лицо у него как-то подсохло, и Меньшенин сразу потяжелел. – Вы что, так долго сами себя проверяли?

– О чем вы, Вадим? Вы меня пожалели? – спросил Меньшенин, опять улыбаясь, не отрывая пронизывающего, вбирающего взгляда от лица маститого профессора. – Не стоит, да и срок еще не пришел. У меня есть время... Да, да, не обращайтесь внимания, делайте свое, всех нас ждут самые нелепые неожиданности. Какое и мне, и вам до этого дело? –

вновь ушел он далеко в сторону, и было такое впечатление, словно он совсем не вдумывался в свои слова и даже не замечал их. – Вы мне лучше скажите, Вадим, вы сами верите в эту, допустим, несколько странную легенду о таинственном летописце в нашем институте...

– О его блуждающей комнате, которая неуловимо перемещается, – подхватил Одинцов, – и о прочей чепухе...

– Мне говорили, свет из нее пробивается в самом нижнем, полуподвальном этаже, – сказал Меньшенин, опять словно никого не слыша. – Говорят, *старик* вчера опять что-то записывал...

– Вы, Алексей, очень увлекающийся человек...

– Знаете, Вадим, без веры в чудеса трудно... и пусто. Я – верую! Это не совсем удобный предмет, не совсем безопасно, но ведь я это знаю, – уточнил Меньшенин. – И я вас уже утомил, я просто исчезну, хватит...

– Опять ваши неуместные фокусы, – недовольно проворчал Одинцов, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону: Меньшенина действительно нигде не было, и самое главное, и народу никакого возле не было. Московская старушка с ее прямой спиной и рассеянной, обращенной в далекое прошлое улыбкой да розовощекий энергичный мальчишка лет шести – вот и все, что увидел Одинцов, озираясь вокруг. Чуть подальше маячило несколько человек, в пустом небе с редкими облаками летела ворона. Но и это было не то. Артист, неприязненно подумал Одинцов, комик, клоун. Что за

черт, все-таки серьезное дело... Мальчишка! В воздух он, что ли, испарился? Не мог же он, при всей своей одаренности, превратиться в эту очаровательную старую каргу?

Выразив недоумение и даже возмущение столь странным поведением своего молодого друга (с некоторых пор Одинцов всем говорил, имея в виду именно Меньшенина, что у него появился новый талантливый ученик и даже друг), он без промедления бросился в институт, заперся в кабинете, открыл сейф и сразу же увидел край конверта, торчавший между двумя хорошо знакомыми ему сиреневыми папками с важнейшими и частью не подлежащими разглашению бумагами – жалобами и доносами работников института друг на друга, на руководство, в том числе и на самого директора, пересылаемые в институт из вышестоящих инстанций. Помедлив, Одинцов выдернул конверт, внимательно осмотрел его. На нем твердым, почти каллиграфическим почерком было начертано всего три слова: его фамилия, имя и отчество. И уверенно подчеркнуто. И больше ничего.

Выполняя положенный ритуал, Одинцов трижды перекрестился, затем решительно вскрыл конверт и, едва взглянув на подпись, на ее расположение, опустил в кресло; усилием воли он заставил себя сосредоточиться. Письмо несло в себе шифр самого хранителя братства, и его необходимо было тотчас, сразу же после прочтения, бесследно уничтожить. И еще это означало, что сам Меньшенин нес в себе высшее посвящение и был предназначен подвигу и никому

не подконтролен.

Холодный мелкий пот выступил на лбу у Одинцова, мысль же работала четко – в конце концов, у каждого свой путь. Почему именно сегодня Меньшенин напомнил о письме? Ведь у таких людей не бывает ничего случайного, а с другой стороны, не мог же он в самом деле думать, что ему поверят и письмо действительно столько времени валяется в сейфе нераспечатанным? Когда же все решилось и почему?

Еще некоторое время Одинцов сидел, боясь шевельнуться, ему казалось, что из дальнего, затененного угла кабинета за ним молча наблюдают. Затем у маленького журнального столика с бронзовой пепельницей он сжег письмо вместе с конвертом, в туалете сам вымыл пепельницу и вновь долго сидел, вслушиваясь в смутный гул огромного, полного сил, и уже обреченного города, проникавшего и сквозь толстые, старинной кладки, стены.

6.

Зое только что сравнялось восемнадцать, и она поступила на филологический; поступила, и тут же разочаровалась. Теперь она говорила, что ее призвание в другом, ей теперь хотелось в археологию, и она мечтала раскопать какой-нибудь греческий город в Таврии. Брат называл ее взбалмошной вороной, говорил, что из нее ничего не получится и получиться не может, но все это было в порядке обычной профилактики и ничего серьезного не означало. То, что не замечают сами дети, старшие порой почти инстинктивно улавливают. Так случилось и на этот раз; едва Меньшенин появился в доме и Одинцов представил ему сестру, вернее, как только он увидел их рядом, смущенных и наполненных особым тревожным внутренним светом юности и таинства жизни, ему стало грустно и сердце екнуло; ну вот и завершение, подумал он с легкой тревогой и в то же время с покорностью, как о деле predetermined и не подвластном постороннему вмешательству. Он не относился к числу заполошенных братьев, но здесь какое-то похожее на ревность чувство шевельнулось в груди; слишком уж чертовски талантлив и ярок был Меньшенин, и судьба могла дать ему много счастья и наслаждения, у него же самого, у всеми уважаемого ученого, уже больше никогда этого не будет, попробуй примирись с подобным положением вещей. Случай с рекоменда-

тельным письмом Меньшенина окончательно выбил его из колеи; ему в этот вечер очень не хотелось видеть Меньшенина еще раз, но дома, едва перешагнув порог, он тотчас увидел их рядом, сестру и своего молодого талантливую друга, – стоял как ни в чем не бывало и приветливо улыбался. Одинцов хмуро кивнул сестре, затем бегло взглянул на Меньшенина, сказал неопределенно «ну, ну» и прошел мимо, а молодежь, как и договаривалась раньше, укатила на профессорскую дачу. Зоя оставила по этому поводу коротенькую сумбурную записочку, и часа через полтора они уже были совершенно одни на свете, без надоевшего многоликого города, наедине с небом, влажными августовскими деревьями, удивительным двухэтажным домом, выставившим на четыре стороны света просторные балконы на втором этаже и застекленные веранды на первом. На даче должны были быть жена Одинцова, умная, очень болезненная женщина, и Степановна, но их не оказалось; они уехали в город, и Зоя, отчаянно волнуясь и скрывая это, решительно достала ключ и открыла дверь и, пристально взглянув на своего спутника, засмеялась.

– Ты чего? – спросил Меньшенин, блестящими глазами окидывая ее фигурку и останавливаясь взглядом на выглядывающей из расстегнутого ворота кофточки нежной шее.

– Представляю, какой шум вспыхнет, когда они прочтут мою записку. Тетка немедленно кинется назад, сюда... есть хочешь?

– Еще как...

– Я тоже. Сейчас сделаем яичницу, а позже сварю картошки. Есть вкуснейшая копченая рыба, какой-то балык...

– У профессора может быть только стерляжий балык.

Она медлила, все еще не решаясь толкнуть дверь, и тогда он положил руки ей на худенькие плечи и осторожно привлек к себе. Она подняла глаза, увеличившиеся, приобретшие какое-то иное выражение, и, полуоткрыв губы, ждала, и он внутренне весь словно наполнился тревожным звоном; из юного, еще не устоявшегося облика девочки проглянула нежная и неуловимая мудрость женщины, опутывающая по рукам и ногам. Он почувствовал, что забрался в ненужные дали, в них не было места сиюминутному, а именно оно было сейчас главным. Он поцеловал ее в губы, крепко и властно, подхватил на руки, толкнул дверь и перешагнул порог. Они оказались на большой летней веранде, с огромным столом, заваленным яблоками, грушами, банками с вареньем, но он ничего не видел, он прижимал ее к себе все крепче и крепче и непрерывно целовал в губы, в глаза, в шею, нежную и беззащитную.

– Алеша, милый, не надо...

– Я не могу – не могу... я...

И тогда она сама, с отчаянной решимостью, еще теснее прижимаясь к нему, стала целовать его; очнулись они на старом, просторном диване, стоявшем тут же в углу на веранде, и первое время была нежная, какая-то серебристая тишина,

а потом они услышали ветер.

– Господи, Боже мой, – сказал он после долгого молчания. – Как же я тебе благодарен и как же я тебя люблю... Знаешь, я так ждал этого часа, так давно ждал...

Она закрыла ему рот теплой ладошкой, приподнялась над ним на локте и быстро поцеловала его в нос.

Оба они видели огромную, старую, разлапистую ель, над которой текли редкие высокие облака. Свершилось то, о чем они оба думали, едва познакомившись, и уже опять нарастала новая волна желаний, и она почувствовала это по его рукам и слегка отодвинулась, напонила о яичнице, картошке и осетровом балыке, и затем, совсем по-детски испуганно вскрикнув, быстро вскочила и, потребовав, чтобы он не смотрел, торопливо привела себя в порядок. Он, полуприкрыв глаза и с тайным восхищением наблюдая за нею, простовато спросил:

– Ты чего это?

– Вставай, вставай! – потребовала она, стараясь не смотреть в его сторону. – А если сейчас наши пожалуют? А мы в таком виде?

– Представляю лицо профессора...

– Здесь же нет сейчас брата. – Взглянув на него, Зоя невольно засмеялась. – Перестань дурачиться, зачем портить такой прекрасный день? Никак я не пойму твоих с Вадимом отношений...

– О-о! Мы с ним связаны на любом расстоянии, тебе луч-

ше и не надо понимать.

Помедлив, ожидая его дальнейших слов, но так ничего и не услышав, Зоя опять присела на край дивана и спросила:

– Ты его так ненавидишь?

– Не надо придумывать, родная ты моя, – быстро сказал Меньшенин, завладевая ее руками и целуя их. – Я, слава Богу, не подвластен таким мелочам вообще. И потом мы с твоим братом одного поля ягода. Нельзя же, допустим, ненавидеть чудесную старую сосну, вот она как вознеслась, именно тут, на этом клочке земли выросла, вот с такими сучьями, смотри, какие могучие... За что же ее ненавидеть?

– А ты очень странный, Алеша, – сказала она. – И очень красивый, мне все время хочется на тебя смотреть...

– Ну, это тебе только кажется...

– Нет, не кажется, – чуть ли не пожалела она. – Я еще никогда таких не встречала. Вадим говорит, что ты какой-то необыкновенный аналитик и что тебе надо работать в самых верхах – прогнозировать будущее.

– Благодарю покорно, – невольно засмеялся Меньшенин. – Вот уж никогда не согласился бы на такое неблагодарное дело. И не возьмут, влиятельной родни нет, один как сокол...

– Гол как сокол...

– Именно, ты будешь хорошей матерью нашему сыну, – сказал он, с какой-то особенной улыбкой глядя на нее. И она ответила ему таким же нежным взглядом, вся зарделась и

быстро уткнулась лицом ему в грудь.

– Так уж сразу и сын, – прошептала она, и он, поглаживая ее плечи, подумал, что это очевидно и есть счастье.

Она еще раз поцеловала его, вспомнила о еде и отправилась на кухню, а он вышел на крыльцо, затем в сад, окинул взглядом большой участок; немощный садик в полтора десятка яблонь и вишен забивал могучий лес: сосна, дуб, береза, подальше темнело несколько елей. Профессор, по-видимому, совершенно не интересовался садом, и между яблонь кое-где уже пробивалась молодая поросль осины; ее беспокойные, пугливые листья непрерывно подрагивали, хотя ветра совершенно не ощущалось. Низившееся августовское солнце еще щедро плескалось в темно-изумрудной зелени старых сосен. Кроме редких тропинок повсюду густо росла свежая непримятая трава, перемежаясь пятнами светловатого мха. То и дело попадались грибы, встречалось много перестоявшихся, с большими, обвисшими шляпками; очевидно, здесь их никто не собирал.

Вслушиваясь в знойную тишину, Меньшенин вышел к небольшому ручейку (можно было спокойно перешагнуть его) и, следуя его прихотливым извилам, перелез через полусгнивший забор и оказался у большого, зеркально чистого водоема, с дощатой раздевалкой на два отделения и с мостиками для купания. Возле раздевалки стояли две скамейки – грубо, наспех сколоченные из неструганых досок. Слышалось тихое, плавное журчание сбегавшей по стоку воды,

и он подумал, что это, видимо, и есть речка, о которой ему уже говорили, – действительно, ведь рядом с домом. И, пожалуй, нехорошо, взял и ушел от девушки; он даже не смог бы сейчас объяснить своего состояния, он не был прекраснодушным мечтателем и не надеялся что-то изменить или улучшить в трудном мире человеческих страстей. Он поймал себя на чувстве странной размягченности, ни о чем не хотелось думать, только смотреть на зелень, ловить редкие голоса птиц и улыбаться. Так уж получилось, о чем тут думать? Неожиданный и для него самого выход на профессора Одинцова, одного из современных столпов отечественной истории, и вот вам уже и дача, и ручей, и старая-престарая, в фантастических бородах мха, ель... Ну, а если бы у профессора не оказалось сестры? Именно, вот такой, начисто лишенной предрассудков и защищаемой только своей чистой, неведением? Ну, а сам ты что думаешь? Сам? Есть в человеке что-то выше всех намерений, и вот этому чему-то, неподвластному трезвому расчету, приходит черед... И оказалось, что есть и профессор, и его сестра, и тихий, почти нетронутый мир воды и леса. А впрочем, что это я расфилософствовался? Что за чушь? Да, произошло, возможно, очень важное в жизни, и ты ведь рад...

– Алеша! Алеша! Отзовись! – раздался звонкий и отдаленный голос Зои. – Иди же сюда! У меня все готово, скорее, остынет...

Он крикнул, отзываясь, и не пошел, а побежал, легко, сво-

бодно, по-мальчишески радуясь; мелькнула мысль, что все сон, он добежит и наваждение исчезнет, не будет никакой Зои, никакой дачи; одним махом взлетев на крыльцо, он ринулся на веранду и, запыхавшийся, с разгоревшимся лицом, застыл в дверях, неотрывно глядя на девушку, стоявшую у накрытого стола, затем медленно, медленно двинулся к ней.

– Зоя!

– Что с тобой?

– Зоя...

– Ты знаешь, Алеша, я думала, думала... Смотри, появляется луна... Такая огромная, спелая. Сейчас полнолуние. Это ее чары...

– Боже мой, – сказал он растерянно, больше изумленно. – Нет, положительно, пока на земле останется хотя бы одна женщина, мир не изменится...

Ода засмеялась.

– Прошу к столу, Алексей Иванович, – сказала она спокойно, с неосознанной, неуловимой женской игрой, когда за простыми, вполне определенными словами возникает совершенно иной смысл. – Хочешь выпить вина?

– А водка есть?

– Пожалуйста, взгляни сам, я в таких материях ничего не понимаю. – Она быстро и легко взяла его за руку, подвела к массивному, пузатому, разукрашенному резьбой буфету и распахнула его. – Выбирай, – указала она на разнокалиберные бутылки, и Меньшенин от их множества не на шутку

растерялся; такого он еще не видел.

– Генерально живет профессор, – с невольным уважением произнес он, рассматривая то одну, то другую бутылку, часто в густом, нетронutom слое пыли. – На целый полк хватит...

– Брат сам почти не пьет, у него часто бывают гости.

– У вас, Зоя, вообще удивительный брат...

– Чем же? – с откровенной иронией поинтересовалась девушка.

– Понимаешь, всем, абсолютно всем. И прежде всего такой сестрой.

– Вадим действительно удивительный человек, – сказала она, быстро взглянув в его сторону. – Я его очень люблю... Я осталась у него на руках в десять лет, он и женился, кажется, из-за меня. Он и тебе, Алеша, должен стать старшим братом.

Солнце заливало комнату вечерним августовским золотом; в нем темнели трепещущие темные пятна листьев; перебирая пыльные бутылки, Меньшенин внимательно слушал девушку.

– Выбрал, Алеша?

– Конечно, – отозвался он, и его голос прозвучал непривычно. – У меня несчастный характер, – не терплю перемен, переношу их с трудом. Ты так смотришь... не вру ведь.

– Я знаю, – сказала она, взяла у него из рук бутылку обыкновенной водки, вытерла ее салфеткой, и скоро они уже сидели за столом и больше молчали, лишь изредка встречаясь взглядами и одновременно улыбаясь. Этого было вполне до-

статочно, так можно было просидеть долго, и день, и два; Меньшенин еще никогда не испытывал ничего подобного, и, самое главное, что им сейчас не хотелось слов – они и без них понимали и чувствовали друг друга.

«Ну, Меньшенин, вот ты и пропал, совсем погиб, – с отчаянно занывшим сердцем восхитился он. – И она, это милое, солнечное существо, погибла. Боже мой, как же я ее люблю! Даже неловко признаться...»

* * *

Ночь выдалась светлая и теплая, тишина стала еще полнее, глубже. Одинокий фонарь, горевший у раздевалки, Зоя погасила, и вода преобразилась. Отодвинулся противоположный берег, на самой середине пруда, в его глубине, засветился полный шар луны, распространяя вокруг себя легкое мерцание. Стрекот цикад связал небо и землю; развесистые старые березы, подступившие к самому берегу, темными опрокинутыми купами застыли в неподвижной воде, налитой лунным, необъяснимо влекущим к себе свечением. Земля, река, небо, ночь – все звучало, и, пожалуй, Меньшенин впервые ощутил эту ни с чем не сравнимую, скрытую от нескромного глаза, полноту жизни; она действовала на него сейчас почти оупляюще. Тягостно большой город был почти рядом, – здесь же, над землей, лесом и водой, опустилась сама первозданность и томление в предчувствии сотворения

мира и жизни, и здесь в жизни присутствовали лишь *он* и *она*.

Меньшенин, начиная уступать, еще попытался поиздеваться над собой, но больно хороша была сейчас девушка, и он послал все остальное к черту. Все, что он сам, а больше другие, так последовательно и стройно выстроили в его планах жизни, рухнуло и рассыпалось; от невозможности остановиться он тихо засмеялся, и тут же иное чувство подняло, захлестнуло и понесло его, он еще боролся, но это было сопротивление обреченного.

– Алеша, а ты веришь в Бога? – услышал он призрачный и тихий голос и суеверно вздрогнул.

– В Бога? Ты хочешь сказать, что если нам хорошо и есть все это, – он быстрым и широким жестом руки окинул все вокруг, – значит, это Бог?

– Да, Бог, – серьезно и с боязливой почтительностью ответила она. – Как же по-другому объяснить?

– Пожалуй, – согласился он, удивляясь прихотям ее мысли. – Зоя... у нас так мало времени...

– Купаться, – сказала она решительно и быстро, – купаться, купаться, купаться, – повторяла она и какими-то неуловимыми, изящными движениями стала срывать с себя одежду и бросать на скамейку рядом. – Отвернись, – попросила она, – не смотри в мою сторону, пока я не брошусь в воду... ну, что же ты!

– Не могу, – честно признался он. – А вдруг ты исчез-

нешь... ты ведь совершенно не знаешь меня...

– А это для тебя очень важно?

– Зоя, я ведь не принадлежу себе, я ведь посвящен, – сказал он, и глаза его застыли в лунном свете. – Еще до рождения...

– Кому же, Богу или сатане?

– Еще страшнее – космосу, грядущему, – сказал он как-то особенно раздельно и четко, и девушка, прозрением любви чувствуя в его словах, несмотря на шуточный тон, какую-то скрытую опасность, повела плечами.

– Ах, Алеша, Алеша, – сказала она с безотчетным вызовом. – Да плевать мне на грядущее! Мне сейчас хорошо, и ты рядом! А больше ничего мне не надо!

– Да я пошутил! Колдовство какое-то... рядом с тобой я совершенно поглупел, – признался он, не в силах отвернуться: она стояла совершенно нагая и, подняв руки, закручивала длинные, густые волосы в пучок. «Вот сумасшедшая», – подумал он; только теперь он понял, как ему до сих пор недоставало именно этой колдовской ночи, в лунном, все вбирающем и все растворяющем свете появилось нечто нетленное, не подвластное времени.

– А ты не раздеваешься? – спросила она с некоторым любопытством. – Ты не умеешь плавать?

Справившись наконец с волосами, она рук не опустила, сомкнув их на затылке, повернулась, подставив лицо луне, и зажмурилась; у Меньшенина быстрыми, тугими толчками

билась в висках кровь; как здорово, думал он, вот это девчонка, с ума сойти можно...

– Посмотри, – с некоторым вызовом сказала она, – разве во мне есть что-нибудь неприятное, стыдное...

– Нет у тебя ничего такого! – вырвалось у него с явным восхищением. – Но в тебе есть что-то еще более непростительное!

– Алеша! Что ты говоришь? – опешила она, даже глаза открыла и испуганно посмотрела на луну.

– Да, да! К тебе невозможно притронуться, просто, по-живому, по-мужски притронуться... Черт возьми, кощунство!

– Как же ты быстро все забыл, – укоризненно сказала она и тихо засмеялась. – Ошибка... А сейчас просто луна, всего лишь луна...

Легко и привычно взбежав на мостки, она оглянулась на него и еще раз засмеялась.

– Слышишь, только луна! – повторила она и бросилась в воду, сияющую темным серебром; взметнулся и рассыпался в холодном сиянии жемчуга фонтан брызг, и зеркальная поверхность пруда пришла в медленное волнение. На тысячи осколков разбилась и исчезла таившаяся в глубине луна, метнулись со своих мест и рассыпались отражения берез, и Меньшенину показалось, что дрогнул и пришел в смятение, а затем исчез мир истинно реальный, незыблемый, ни от кого не зависимый, и осталось лишь его жалкое подобие, уродливое отражение. Удаляясь, Зоя быстро плыла к противополо-

ложному берегу, бездумно уродуя своим движением подводную сказку; молодая, долго сдерживаемая энергия взорвалась в нем ответным, безотчетным вызовом, пошла ответная волна, хотя несколько и запоздавшая. Сбросив, вернее, лихорадочно быстро сорвав с себя рубашку, туфли, брюки, он, сверкнув в лунном сиянии смуглым телом, бултыхнулся в воду. Она обожгла его, настолько он был разгорячен. Он нырнул с открытыми глазами, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Вылетев на поверхность, перевернулся на спину, отлежался, щурясь на вызревшую в полную силу, чуть сместившуюся к западу вместе со своими загадочными письменами луну, и, вспомнив, позвал:

– Зоя!

– Я здесь, – отозвалась она откуда-то издали, из мглистого сияния, и голос ее прозвучал таинственно и незнакомо. – Я тебя вижу, прямо, прямо, на старую ветлу, она одна-единственная среди берез, взгляни, она сейчас вся из перламутра...

И затем девушка оказалась неожиданно рядом; она хорошо ныряла и, проплыв под водой два десятка метров, почти бесшумно появилась возле него, и дыхание у нее было спокойным.

– Можно я опять поцелую тебя? – спросил он.

– Конечно же, можно, – тихо и сразу выдохнула она. – Боже ты мой, я опять жду этого столько времени... целый вечер! – трагически добавила она, словно подчеркивая, что это

даже не вечер для нее, а целая вечность.

Они были рядом, лицом к лицу, и Меньшенин, скользнув руками по ее прохладным плечам, по шелковистой, упругой коже, прижал ее к себе, припал к ее губам, и все исчезло, а в глубине пруда, слегка колеблемая волнением воды на поверхности, опять появилась луна, и рядом с ней проступили по-прежнему потусторонние волшебные купы старых берез.

7.

На то время, когда между молодыми людьми разворачивалось вначале юношески бурное сближение, а затем и растянувшееся чуть ли не на три года, вплоть до завершения Зоей института, привыкание и притирание, хотя они уже были мужем и женой, Одинцов словно бы самоустранился; обидное чувство незащитности, неловкости не раз охватывало его и мешало выражать свое отношение к происходящему. Вмешиваться он не мог, в предчувствия не верил, ничего переменить, пресечь или остановить не имел права. По-своему он любил сестру, его трезвый ум мог справиться и с понятной ревностью брата, – он прекрасно понимал, что смешно и глупо горячиться в данной ситуации, стараться что-то изменить; ему не хотелось близко родниться с Меньшениным, вначале вызывавшим и антипатию, и тайную привязанность, какую-то необъяснимую тягу к себе. Одно дело – общий далекий и безжалостный путь, порой, казалось, без смысла и цели, другое – вот так слиться кровью. Продолжая приветливо улыбаться и шутить, внешне спокойный и доброжелательный, Одинцов внутренне был напряжен; он много знал, за ним скрывались неведомые глубины, и он сразу понял, что спокойное время кончилось. Появление рядом, в такой тесной близости, Меньшенина было особым рубежом; время преломилось, в дело вступили таящиеся до сих пор в неве-

дении подспудные силы, и теперь никто не осмелится что-либо предсказывать. Будничная работа по институту стала казаться ему чуть ли не отдохновением, правда, с появлением Меньшенина почти сразу же пришлось выдержать долгую атаку на своего заместителя профессора Коротченко, и сейчас, хотя Одинцов и был доволен результатами, сомнение оставалось, редкое единодушие уважаемых в институте людей тревожило его, несмотря на свою победу. Вечером после схватки, ужиная, он высказал недовольство чаем, и получил в ответ колкое замечание Степановны, что молодые (молодыми в ее представлении были Зоя с Меньшениным) только час назад перед театром пили чай из этой же заварки и очень хвалили и что надутому да спесивому только свое брюхо и видно, только оно и греет, и тут уж ничего не поделаешь.

Одинцов улыбнулся, – с самого начала Степановна почти демонстративно взяла сторону Меньшенина, кстати и некстати расхваливая его, и принимать ее всерьез не стоило.

Пройдя в кабинет, он лег на диван и стал просматривать газеты. Мягкий свет высокого торшера успокаивал, и он, незаметно для себя, задремал, и почти тотчас почувствовал чье-то присутствие, чей-то взгляд. Он уловил теплый, приторно-сладковатый запах знакомых духов и открыл глаза.

– А-а, ты, Вера, – сказал он, сразу успокаиваясь и сонно зевая. – День такой нудный, устал, – как бы оправдываясь, добавил он.

– Хотела пледом тебя укрыть, – вздохнула жена, глядя на

него с робким ожиданием. – Нехорошо, вот помешала. Кстати, Климентий Яковлевич звонил, что-то срочное...

– Ничего, подождет, – остановил ее Одинцов, чувствуя привычную сонливую прочность, как всегда в присутствии этой крупной, спокойной и нелюбимой женщины, хорошо об этом знавшей и еще более безошибочно чувствующей, что это выражалось у мужа прежде всего в неуловимой душевной неловкости, отчего у него сразу же как бы подсыхал и становился размереннее голос. – Что-нибудь еще? Из академии были вести?

– Я все важные звонки записала красным, – сказала Вера Васильевна. – Сегодня красных звонков мало... два или три, не помню. Все синие и зеленые, этих много. Принести журнал?

– Успеется, – остановил ее Одинцов. – Скажи лучше, как там... ну, наша молодежь?

– Молодые? – переспросила Вера Васильевна, набрасывая на мужа пушистый, в крупный квадрат шотландский плед и осторожно присаживаясь на краешек дивана рядом. – Зоинька с Алешей?

– Кто же еще?

– У тебя дурное настроение? Необходимо себя сдерживать, Вадим, – сказала она. – Здесь ничего не изменишь, да и зачем? Сегодня Зоинька вскользь обронила, что у них решено, они уже совсем скоро хотят зарегистрироваться. Мне кажется, Алеша хороший человек, его надо немного отогреть.

Не смотри так неприязненно, я ведь права.

– Права, права, ты всегда права, – нехотя откликнулся Одинцов. – Уникальное ты существо, Вера, обязательно тебе надо кого-нибудь отогревать, обмывать, тетешкать...

– Мне поздно меняться, Вадим, – спокойно согласилась Вера Васильевна. – Женщина всегда ведь видит ближе и подробнее. Пока мужчины что-то грандиозное придумывают, мы уже успеваем помочь, пусть не во вселенском масштабе, зато в самый необходимый момент.

Посмотрев с некоторым недоверием, он промолчал.

– Меня другое интересует, Вадим. Надо же им где-то жить... комнату им надо помочь снять на первой поре. Я кое-что делаю...

– Зачем же? – спросил Одинцов медленно, стараясь преодолеть неожиданно подступившую к сердцу тоску, светлую и острую. – Излишних забот у нас и без того достаточно.

– Выражайся, пожалуйста, яснее, ты же не на кафедре. Сестра у тебя одна, мы уже не молодые люди. – Вера Васильевна вовремя притушила готовое было прорваться раздражение; сейчас не стоило напоминать мужу о том, что он иногда забывает о своем высоком положении ради весьма сомнительных ситуаций. – Почему же нам не помочь стать им на ноги?

– У нас места хватит, могут жить, сколько им заблагорассудится, – сказал Одинцов, твердо выдерживая недоверчивый и даже несколько озадаченный взгляд жены. – У Зои

ведь своя отдельная комната, зачем же искать? Это же ее площадь. Если, конечно, ты и наша милая домоправительница не против.

– Я? Просто не смела предложить, последнее время с тобой и без того нелегко. – В ее голосе послышалось напряжение. – Хорошо, а что подумает Алеша? Он иногда пугает меня...

– Он умный человек, он-то как раз поймет, – постарался успокоить жену Одинцов. – Не он первый, не он последний. Натура явно творческая, со склонностью к интенсивной духовной жизни, с уверенностью в своем особом слове... Такие легко соглашаются, если все мешающее в их жизни берут на себя другие. А тут еще молодость, разгоряченность... пусть их... Нашего будущего зятя лучше всего не отпускать слишком далеко, короткий поводок, – оно и поспокойнее будет. Слишком уж пока горяч.

Вера Васильевна, хорошо знавшая характер мужа, внимательно выслушала его, но почему-то не обратила внимания на последние слова, хотя, пожалуй, именно в них и заключался особый смысл, именно они и определяли принятое Одинцовым решение; это и послужило в дальнейшем причиной множества тревог и сомнений для Веры Васильевны; умная, податливая и быстро уступавшая женщина, она не смогла чему-либо помешать; к тому же все самое больное от нее скрывалось и мужем, и его сестрой, и даже Степановной, и она совсем по-детски обижалась и расстраивалась.



Первые годы после свадьбы Зои с Меньшениным прошли удивительно спокойно и даже как-то празднично, в семью Одинцовых вошел новый человек, и в привычное, размеренно тусклое течение времени внес нечто свое, от него распространялась бодрая энергия; его тотчас как своего и как-то очень уж избирательно полюбила Степановна и всегда находила повод подать ему завтрак или кофе в первую очередь; своенравная стареющая домоправительница, как величал ее сам хозяин, думала, что видит Одинцова насквозь, что он только и ждет момента, чтобы выставить молодоженов из дома, и тем с большим душевным расположением к Меньшенину продолжала вытворять свое. Тихо и незаметно привязалась к зятю и Вера Васильевна и, забываясь, вернее, не учитывая сложности переживаний мужа, и кстати, и некстати распространялась об уме и талантах зятя, говорила о его нежном и бережном отношении к молодой жене, о своей радости, о возникновении у нее подлинно материнского к молодому человеку чувства. С пониманием поглядывая, Одинцов, гася в глазах иронию, благоразумно отмалчивался, а по вечерам играл с зятем в шахматы и, как правило, проигрывая, начинал с досадой вспоминать старые пословицы, вроде таких: нет в доме черта – прими зятя, или же – что ни в сыворотке сметаны, ни в зяте племени... Меньшенин громко,

не сдерживаясь, хохотал и следующим ходом ставил мат, и это занятие даже приобрело для Одинцова какой-то притягательно болезненный привкус.

Прошло еще одно лето, промелькнула и осень, и вот уже густой белый снег засыпал Москву; он тотчас был растоптан людьми и машинами, счищен с тротуаров, собран в большие грязные кучи и вывезен за город на свалку. Не успели справиться с первыми заносами, вновь поднялась метель, и опять на улицы набило много снега; вечером в уютной и теплой профессорской гостиной Одинцов и Меньшенин после ужина сели за шахматный столик. Больше молчали, Одинцов, недовольно выпячивая нижнюю губу, очень подолгу думал над каждым очередным ходом, иногда вскидывая глаза, словно к чему присматриваясь, – играя, он почти никогда не смотрел на зятя, а всегда куда-то мимо. И вот, после очередного умственного усилия, ему показалось, что если он двинет одну из своих пешек в нужном направлении и ситуация на доске изменится в его пользу, то и в жизни наступит перелом к лучшему; он поджал нижнюю губу и двинул пешку; блеснув синеватыми белками глаз, зять в ответ парадоксально неожиданным ходом коня тотчас все и разрушил, и, сколько потом Одинцов ни старался, выхода так и не нашлось. Скрывая невольную обиду, он, улыбаясь, холодно устремил взгляд куда-то в переносье своего противника.

– Не любите вы проигрывать, молодой человек, – вздохнул он, смешивая фигуры.

– Еще? – спросил Меньшенин и, услышав отказ, равнодушно пожал плечами. – Не встречал в жизни любителей проигрывать, – заметил он как бы вскользь. – А по собственному желанию тем более...

– Опыт жизни ничем не заменишь, никакими книжными мудростями, – принял скрытый вызов Одинцов. – А знаете, Алексей, иногда очень выгодно самому проиграть... просто необходимо! Бывалые люди очень часто так и поступают. И взамен жалкого выигрыша приобретают нечто нетленное, во много раз дороже!

– Наука хороша, а совесть?

– Позвольте, позвольте – совесть? Как же страдает здесь совесть? Даже самая обнаженная? Да и что такое – совесть?

– Внутренняя убежденность человека никогда не поступаться истиной, – теперь уже с явным интересом ответил Меньшенин, чувствуя, что вот-вот будет обнаружен какой-то пока тайный смысл неожиданного поворота в разговоре.

– Истина, истина, – вяло шевельнул губами Одинцов. – Только вот кто бы мне, опять-таки, сказал, что же она такое – истина?

– Истина всегда конкретна...

– Конкретна... А скорее очень абстрактна. Вчера была истиной, а сегодня на истину уже и не похожа... бывает, что твоя самая выстраданная истина другому и близко в истину не годится...

– Есть ценности, необходимые человечеству и, в об-

щем-то, мало меняющиеся в обозримом отрезке времени. – По лицу Меньшенина пробежала быстрая, летучая улыбка. – Что, Вадим, – продолжал он, – вы сегодня мрачно настроены? С монографией не ладится?

Одинцов, не рассчитывающий на такое внимание, натянуто улыбнулся и сказал:

– Нет, нет, монография меня не беспокоит, материал вот никак не организуется, слишком много... обычный процесс...

В кабинет заглянула Степановна, спросила, не хотят ли мужчины чаю или кофе, тут же порекомендовала Меньшенину выпить горячего молока, с чем он незамедлительно и согласился, и они опять остались одни; Одинцов слегка прокашлялся.

«Сейчас он скажет о главном, о том, что носит в себе давно, – решил Меньшенин. – Надо как-то помочь ему окончательно освоиться в новых обстоятельствах».

Сгорая от любопытства, о чем могут говорить целый вечер два таких разных человека, как ее хозяин со своим зятем, Степановна, всем своим видом выражая неудовольствие, хотя сама она и вызвалась на это дело, принесла кофе и стакан молока; она все подозревала, что Одинцов как-нибудь потихоньку обижает зятя (почему-то она взяла себе в голову, что Меньшенин безответный и беспомощный человек), и она добросовестно старалась ничего из происходящего в доме не упустить. Поставив кофейник, чашки и вазочку с са-

харом, она явно не торопилась уходить, хотя Одинцов уже дважды строго взглянул на нее.

– У нас серьезный разговор, – заметил наконец он, и Степановна, одарив его холодным и даже высокомерным кивком, удалилась, всей своей округлой спиной и даже затылком выражая незаслуженную обиду и недоумение; сдерживая усмешку, Меньшенин разлил кофе по чашкам.

– Очень редкий тип женщины наша домоправительница, – сказал Одинцов, растягивая губы в скупой улыбке. – Ну, да Бог с ней... Она меня всегда почему-то недолюбливала, в ее домашней стратегии противовесом мне сначала была Вера, затем сестра, а вот теперь она перенесла свою привязанность на вас. Нелегкое испытание, смотрите.

– Ничего, – бодро отозвался Меньшенин, – выдержим...

– Я хотел спросить у вас, Алексей, кое о чем. – Одинцов придвинул к себе чашку с кофе, помедлил. – По поводу ваших новых идей и планов научной работы до меня доходят очень противоречивые слухи. Не могли бы вы сами познакомиться со мной... хотя бы с основными положениями... А то как-то даже неудобно, меня спрашивают, а я ничего не могу сказать. Кроме того, вы член ученого совета...

– Я и сам пока еще мало что могу понять, – прихлебывая кофе, ответил Меньшенин, вскидывая глаза на шурина, ощутившего в этот момент нечто вроде неожиданной слабости и даже легкого головокружения.

«Прежде всего имеем поклониться Триглаву, – начал как-

то чуть-чуть нараспев Меньшенин с легкой усмешкой, но глаза у него разгорались и становились глубже и пронзительнее, – а потому поем ему вечную славу, хвалим Сварога, деда божия... Зачинателю всех родов; он вечный родник, что течет во времени из своего истока, который никогда и зимой не замерзает. Пьющие ту живую воду, „живихомся“... Пока не попадем до его райских лугов.

И богу Перуну, громовержцу, богу битвы и борения... который не перестает вращать коло (круг) жизни в Яви и который ведет нас стезей правды до брани и до великой тризны о всех павших, что идут к жизни вечной до полка Перунова...

И богу Свентовиду славу поем, он ведь бог Нави и Яви, а потому поем песни, так как он есть свет, через который мы видим мир и существует Явь. Он нас оберегает от Нави, ему хвалу поем, пляшем и зываем, богу нашему, который землю, солнце и звезды вершит... отречемся от злых деяний наших и течем к добру... ибо это великая тайна, Сварог – Перун есть, и Свентовид. Те два естества отрождены от Сварога и оба Белобог и Чернобог борются, Сварог же – держит, чтобы Свентовиду не быть поверженному... и тут ждет отрок, отверзающий те ворота, и вводящий в него, – то прекрасный Ирий (рай), и там река течет, которая отделяет Сварога от Яви, а Числобог учитывает дни наши, говорит богу свои числа, быть ли дню Сварогову или же быть ночи... Слава богу Перуну огнекудру, который стреляет на врагов и верного ведет по стезе, он есть честь и суд винам, так как Золоторун

милостив и праведен есть». – Меньшенин замолчал, лицо у него стало еще строже, и он, скрывая волнение, небрежно допил остывший кофе и спросил:

– Вижу, я вас несколько озадачил?

– Честно признаться, я никогда не встречал подобного текста, – с легкой завистью к молодости и увлеченности зятя, подтвердил Одинцов. – Откуда?

– В том и корень! Трудно объяснить, еще труднее поверить. – Легким рывком освободившись от обволакивающего уюта низкого удобного кресла, Меньшенин прошелся по кабинету. – Да, труднее всего поверить... По утверждению моего знакомого, текст из древней языческой славянской книги. – Остановившись и представляя собеседнику возможность вдуматься и глубже осознать важность услышанного, он опять, посмотрел с легкой выжидающей усмешкой, но Одинцов, хотя все сразу понял, недоверчиво оттопырил нижнюю губу, что у него всегда указывало на интенсивную работу мысли.

– Что же, новый, досель никому не известный источник? – спросил он, глядя прямо в глаза зятю с поощрительной недоверчивостью.

– Разве главное в этом? Источник! Источник! – не стал томить его Меньшенин, с неприятной чуткостью отмечая начало нового противоборства. – Пусть даже подобного фантастического источника пока – заметьте себе! – пока и не найдено... Что с того? Неизвестность-то остается!

Улыбка погасла на лице Одинцова.

– Опять вас, Алексей, к пропасти влечет, – поморщился он, не скрывая недовольства и раздражения. – Характер у вас! Вы же знаете мою любознательность... Что же это все-таки за источник, и что он дает нового в сравнении с тем, что уже есть?

– Очень многое... Хотя бы прибавляет к истории славянства еще три-четыре тысячи лет, дает возможность восстановить историю именно племени русов, по крайней мере, с середины первого тысячелетия до нашей эры, дает им письменность намного раньше Кирилла и Мефодия и дает возможность проследить истоки знаменитого «Слова»...

– Блаженны страждущие! – почти театрально воскликнул Одинцов. – Ну, простите великодушно, это может быть всего лишь умной мистификацией!

– Все может быть, – спокойно согласился зять. – Мир полон случайностей. Даже и в этом я вижу глубокую закономерность. Неужели вы всерьез думаете, что «Слово», исполненное величайшего трагизма и поэтики, появилось на пустом месте? Под его вдохновенными строками – тайна, ощущается глубочайший культурный слой, нам неведомый, языческая эпоха в жизни славянства... Кстати, «Влесова книга» и посвящена истории народа русов. Чувствуете, Вадим, именно русов! Полторы тысячи лет до «Слова», до Олега, до варягов, а?. Государственные славянские образования наряду с Римом, с Грецией, с Византией – на месте нынешней,

так называемой, просвещенной Европы, – ее будущие сверхчеловеки еще только рычали друг на друга, стоя на четвереньках!

– Ну, ну, ну, – попытался охладить его Одинцов. – Где, у кого находится книга? Кто установил ее подлинность?

– Не так скоро, Вадим, не так скоро, дорогой шурин. – Одинцов при этом неожиданном обращении коротко и быстро взглянул. – К подобному надобно привыкнуть, наедине с собою привыкнуть, это ведь больше чуда – неизвестная цивилизация в полторы тысячи лет! Да еще свое, славянское, – народ русов! Как, Вадим? Но и это еще не все...

– Я ведь стреляный воробей, ох, какой стреляный, – доверительно понизил голос Одинцов. – Что же, я в обморок стану падать? Мало ли каких подделок и сенсаций не бывает? – Он оттопырил нижнюю губу и почему-то стал сразу похож на добродушного глуховатого моржа. – Прости меня Бог, года два назад тоже разразилась сенсация, раскопали глиняные пластинки под Калугой, а на них неизвестные письмены, – такое поднялось! Нумеровать стали, расшифровывать, некоторые, вроде вас, Алексей, восторженные юноши, начали предрекать и даже открывать новую цивилизацию. Глина оказалась изъеденной какими-то насекомыми или бактериями, любителями симметрии. И потом, Алексей, зачем же так далеко? Как же, каждый свою Троию хочет раскопать, но ведь от любой Трои, если она была, остаются следы в языке, в летописях, в легендах, наконец, в земле. А от вашей сла-

вянской Трои еще ни одного самого глухого отзвука не пробилось...

– Ничего загадочного, прислушиваться не хотели, вот и не услышали, – тотчас возразил Меньшенин. – Все та же подлая западная теория о славянской, тем более русской неполноценности... Разговаривать с глухими бесполезно, а открывать прошлое иногда важнее бездумного бега в будущее, как у нас сейчас все марксисты предпочитают. У меня ведь никакой задней мысли, вы-то, Вадим, обязаны прозреть – праславянской письменности семь тысячелетий, по существу именно она и породила все остальные главные письменности в мире, в том числе и египетскую, и шумерскую.

– Помилуй Бог, Алексей, до этого еще и наш академик Рыбаков не додумался, не докопался! – воскликнул Одинцов, внимательно и с видимым напряжением выслушав все до конца. – Я тоже жизнь посвятил отечественной истории, с норманнизмом чуть шею себе не сломал... да вы хоть знакомы с моей работой о Петре Великом? Как я еще жив остался после этого, сам не понимаю... Молчите?

– Ну, ну, – проронил Меньшенин, равнодушно и рассеянно улыбнувшись при последних словах шурина, – он скорее всего и не слышал их; он жил сейчас в ином, напряженном и горячем мире своего воображения, и ему, в общем-то, было безразлично, что подумает шурин. Он лишь мимолетно подсадовал на свою несдержанность, – нельзя раскрывать свое самое сокровенное ни перед кем, такова его участь даже

перед самыми близкими.

– Я вам вот что скажу, Алексей, – нарушил затянувшееся молчание Одинцов. – Поступайте, как знаете, только помните, вы мне не чужой человек. И не забывайте, ради Бога, в какое время вы живете, надо и своего не упустить, и под жернова не попасть. Перемелют – и никакого следа не останется. Не время сейчас с вашими загадками, поверьте мне. И в планах подобная тема не стоит...

– Так надо вставить, покопаться интересно, – предложил Меньшенин. – Я бы намертво вработался, какая оттяжка для души... подождите, Вадим, зачем такое изумление? Буду стремиться к победе, но и от поражения не умру. Поражение для ученого всего лишь очередной шаг к истине...

– Я не могу ничего обещать, – сказал Одинцов с отсутствующими глазами. – Сейчас ничего определенного нельзя сказать...

– Почему русский народ не имеет права на историю? – вздохнул Меньшенин. – Хорошо, пусть сам факт не подтвердится, обязательно ведь откроется по пути что-то новое, вполне вероятно, очень неожиданное и позитивное в истории славянства. Вот чего больше всего и страшатся некоторые деятели...

– Опять преувеличение с вашей стороны, – сказал Одинцов, уже несколько жалея, что позволил разговору зайти далеко. – В праве на историю никому не отказано, только истории отдельно от политических страстей и бурь никогда не

существовало.

– Опять открытие! Вы это о чем-то совершенно другом, только не о науке. А впрочем, о чем это мы говорим? – удивился он. – Не лучше ли посплетничать о хлебе насущном? Вы ведь хорошо должны знать товарища Коротченко, что это за деятель? Кому он в самом деле служит?

– Что вы имеете в виду? – быстро спросил Одинцов, давно ждавший подобного поворота в разговоре.

– Ну, Богу или сатане кадит наш многоуважаемый профессор Климентий Яковлевич Коротченко?

– Скорее всего, только себе, – сказал с легкой усмешкой Одинцов. – Хотя поговорить об этом в другой раз и стоит. Меня и самого давно интересуется мой старый друг и доверенный заместитель. Никак не дается. Надо думать.

Заметно оживившись, он встал, слегка потянулся, сдвинул одну из полок на стеллаже, сплошь заставленном тяжелыми, темными от старости фолиантами, и из открывшейся ниши достал бутылку причудливой формы из толстого темного стекла, пузатую, с выдавленными прямо по стеклу эмблемами и печатями, и два темных серебряных с чеканкой кубка. – Об этом даже моя жена ничего не знает! – предупреждающе сказал Одинцов, поглядывая на дверь. – Коньяк божественный... за наши замыслы, – пусть они различны... Ну что ж, кабы, говорят, на голове капуста росла, так был бы огород, а не плешь...

Они чокнулись, отпили; очень выдержанный коньяк дей-

ствительно хранил в себе горечь и терпкость жизни; Меньшенин погрел кубок в ладонях, допил, и Одинцов сразу налил еще, и Меньшенин подумал, что как-то нехорошо пить такой редкий коньяк без особой на то причины.

– Вот задача, – сказал он с чувством доверия к шурину. – Пригрела заветная мысль, подумаю, всякий раз тепло на душе. И на тебе – бросить самое дорогое и заниматься галиматсией, лишь бы всем было удобно...

– Зачем же бросать, – живо возразил Одинцов. – Занимайся потихоньку, копи, складывай себе, запас не помешает. Все в мире меняется. – Тут он сделал заметную паузу. – Истинное не подлежит девальвации. Придет и наше время, придет...

– А когда? – спросил, больше самого себя, Меньшенин, и его взгляд был устремлен мимо, он не видел собеседника, и тот вновь, вторично за этот вечер, ощутил странную, глубокую тоску, – он словно стоял у самого края жизни, и дальше было пусто, ни голоса, ни движения. Такого пронзительно-го чувства одиночества он никогда ранее не испытывал, его мозг, его душа протестовали, и он, подчиняясь чужой воле, чужой тоске, отыскивая хоть какую-нибудь опору, вжался в спинку кресла и закрыл глаза. И сразу же произнес: – Нет, нет, Вадим, вы меня не жалеете и себя тоже. Это всего лишь искушение дьяволом. Знание та же власть, это всегда тяжелая ноша, тот, кто ее ощутил, уже никогда с ней не расстанется.

– И вы не сомневались, не мучились? – тихо спросил

Одинцов, вновь и вновь проверяя себя.

– Почему же, – ответил Меньшенин, и глаза его потеплели и посветлели, и хозяину вновь стало неловко и неудобно. – Самое тяжкое – ждать. Хочешь не хочешь, а там все этот червячок: когда же, когда? А затем...

– И когда же? – неожиданно спросил хозяин, и их глаза встретились.

– Скоро, – ответил Меньшенин.

– Что же должен делать я?

– Ничему не удивляться. Даже самому невероятному, – сказал Меньшенин и взял кубок. – В путь, Вадим!

– В путь, Алеша, – отозвался хозяин, и сердце у него окончательно оборвалось и покатилося. – За тех, кто осилит и дойдет!

Они встали и подняли свои кубки, но почему-то медлили; оба ждали завершения. И оба понимали, что как бы ни была беспощадна истина, она должна быть явлена.

– Говорите, Алексей, – попросил хозяин, все с той же пустотой в груди, боясь опустить глаза.

– Помните, Вадим, слова Христа апостолу Петру перед своей казнью? – спросил Меньшенин. – Да, именно это: не успеет еще петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня. У каждого прозревшего свой крест.

– И неизвестно, у кого тягостнее, – подхватил Одинцов возбужденно.

Он словно в один момент помолодел, стряхнул с себя

ненужную мелочную суету; они продолжали стоять и не замечали этого. И Меньшенин, отзываясь на упорное ожидание в глазах посланного ему судьбой соратника и родственника, теперь до конца связанного с ним одной тайной и радостной порукой, сказал:

– Знаете, Вадим, еще до войны, лет в пятнадцать, я стал мучиться тайной женщины. Ну, вы понимаете, что это бред, распаленное воображение женского тела, с которым не знаешь, что делать. И вот тогда мне стал назойливо сниться один и тот же сон – я видел себя совершенно голым, на каком-то пустынном морском берегу, в горячих песках и скалах... море сильно шумело... всегда шумело... И происходило это не теперь, а два-три тысячелетия назад – было совсем другое небо, другое море, другая полнота жизни. Иной состав всего – воздуха, морского ветра, во мне просыпалось нечто языческое, почти первобытное по яркости и свежести. А затем стремительная тень закрывала небо, и на меня проливался огненный дождь, сжигал тело, я исчезал, но это вызывало величайшее наслаждение. Знаешь, Вадим, я всякий раз просыпался с опытом какой-то еще одной прожитой жизни. Мне было трудно привыкать, мои сверстники становились рядом со мной просто младенцами, руководимые лишь животными инстинктами. Долго я ничего не понимал... хотя и сейчас не понимаю.

Одинцов застыл, в его глаза сейчас было трудно взглянуть, и Меньшенин почувствовал сжавшееся от мучитель-

ной радости сердце.

– На днях, позавчера, мой странный сон повторился, – тихо признался он. – Через тысячи лет какой-то таинственный, непреодолимый зов космоса ожил и зазвучал... близок последний порог... А вам, Вадим, будет трудно со мной последние дни... вам надо выдержать, я постараюсь помочь... Мы не имеем права рисковать.

– Мир и свет приходящему, – шевельнул пересохшими губами Одинцов. – Я уже не думал дожидаться, Алеша.

8.

Близилась полночь, установилась чуткая тишина, Степановна давно уже спала, уронив себе на грудь недочитанный роман о самоотверженной и безответной любви; разошлись и мужчины, пожав друг другу руки. Меньшенин тихонько приоткрыл дверь в свою комнату, и на него хлынул запах привычного уюта. Слабо светилось сквозь занавески большое арочного типа окно; раздевшись, он осторожно, стараясь не потревожить жену, лег. И тотчас почувствовал у себя на груди теплую беспокойную руку.

– Не спишь?

– Ждала, ждала, – шепотом отозвалась она, придвигаясь ближе и мягко дыша ему в щеку. – Так долго... А я лежу, какие-то мысли, мысли... еле выдержала, хотела уже идти разыскивать...

– У нас наконец-то случился необходимый разговор, – сказал Меньшенин. – И Вадим впервые приоткрылся...

– Успел что-нибудь рассмотреть? – с некоторой иронией поинтересовалась она. – Очень интересно?

– Не торопись с выводами, – полусерьезно, полунасмешливо предостерег Меньшенин.

– Брат человек очень непростой, – вздохнула Зоя и тихо засмеялась. – Вот только нельзя ли обойтись без разговоров о нем еще и по ночам?

– Согласен, такое никуда не годится, – отозвался он, целуя ее в плечи и грудь, и она потянулась ему навстречу. Затем они лежали рядом, и он боялся отпустить ее и прижимал ее голову к своему плечу; он опять, в который уже раз, испытывал тягостное, двойственное чувство и обретения, и близившейся утраты; он даже затаил дыхание.

– О чем ты думаешь? – помедлив, спросила она, близко наклоняясь над его лицом; он увидел смутные, расплывчатые в полумраке комнаты ее шевелящиеся губы, большие темные впадины глаз, с пропадающим в черноте блеском.

– Время шуршит, словно вода... а вот теперь остановилось, слышишь?

– Господи, помоги нам обрести себя и друг друга, – еле слышно попросила она, и он ощутил, как все ее тело вздрогнуло.

– Теперь и я ничего не слышу, – сказал Меньшенин также шепотом, прижал ее голову к себе, поцеловал, отпустил. – Я поглупел, встретив тебя... Боюсь, кончится все, растает... мираж... И ты, и все, что с тобой связано... Знаешь, такого со мной не случалось даже там, где умирали рядом самые дорогие люди. Ты прости, сейчас вот тоже что-то такое померещилось, – я держу тебя, крепко держу, а ты все равно уплываешь...

– Ты невозможный фантазер, тонешь в собственной душе, в своем самом большом богатстве, – сказала она, счастливая его любовью и близостью, своей молодостью, тем, что они

встретились и теперь всегда рядом, и счастья им хватит надолго, быть может, до самого конца. – Ты на меня все равно не оглядывайся, – сказала она с решимостью и угрозой в голосе, заставившей опять забиться его сердце. – Не думай, что я всего лишь хилая профессорская сестрица... Я давно стала женщиной, увидела тебя, и сразу же стала. А женщины беспощадны, – они тверже мужчин, видят дальше... Ты делай свое... я бесконечно благодарна судьбе и за нашу встречу в таком большом, неоглядном мире, могли бы и разминуться...

– Нет, не могли, – с завидной убежденностью отозвался он, и Зоя, в порыве какого-то нового вдохновения, стала целовать его лицо, губы, глаза, затем затихла, поворочалась, устраиваясь удобнее, и пристально, не мигая, стала смотреть перед собой в сиреневую мглу.

– Алеша, – сказала она, – у нас будет ребенок. Награда за все наши трудные и радостные годы, за нашу встречу... я очень счастлива, Алеша...

– Ребенок? – переспросил он. – Ты уверена?

– Поцелуй меня...

Он помедлил и поцеловал ее осторожно и легко; ее слова застали его врасплох и что-то уже опять изменили в их отношениях; он, прижимая ее голову к своему плечу, некоторое время думал о новых предстоящих изменениях в жизни, затем поворочался и заснул, хотя ему вначале и казалось, что он должен теперь как-то иначе и строже пересмотреть

все свои планы; через несколько дней он уже совсем об этом не думал; беременность жены становилась повседневной и необходимой жизнью, – правда, его обращение с женой стало теперь еще бережнее, он даже и прикасался к ней как-то осторожнее; увидеть себя отцом, а Зою матерью реально он по-прежнему не мог и, задумываясь иногда, начинал, представляя себе некое крошечное, орудье и бессмысленное существо, вроде бы ни с того, ни с сего тихонько смеяться. И совершенно независимо от всего этого в нем продолжалась особая подспудная работа, и чем больше проходило времени, тем беспокойнее ему становилось. Теперь ему начинали сниться какие-то неведомые стены, башни, зубцы, сводчатые подвалы, забитые древними свитками и пергаментами; он подхватывался с постели от волнения с ощущением тяжести только что выпущенной из рук старинной рукописи с истертыми, почти истлевшими краями – той самой, о которой он грезил во сне и наяву, и сердце у него чуть не выскакивало из груди. И подобное стало повторяться чуть ли не через каждые два-три дня, и наконец он не выдержал, решил поговорить с шурином. Опытная секретарша, бывшая в курсе мельчайших изменений в личной и общественной жизни своего патрона, сразу же пропустила его даже без доклада. У Одинцова сидел один из самых влиятельных людей в институте – профессор Коротченко, с совершенно гладкой, желтовато-спелой бритой головой и круглыми глазами, всегда напоминавшими Меньшенину очки, вставленные у про-

фессора откуда-то изнутри черепа. С излишней фантазией Меньшенин точно определил на этом безволосом, совершенно гладком пространстве, похожем на старый пергамент, точку Южного полюса и сразу как-то успокоился, но почему именно – Южного, он и сам не знал. У него мелькнуло желание отложить разговор до другого раза, и, здороваясь с известными учеными, он слегка усмехнулся. Он резонно подумал, что профессор Коротченко все равно ведь все узнает, шурин ему тут же будет обязан все выложить. И он, все с той же нарочитой небрежностью, протянул Одинцову заявление. Тот нахмурился было, хотел сослаться на занятость, на важный служебный разговор, но любопытство пересилило, и уже первые строчки, профессионально выхваченные им из заявления, заставили его широкие брови ползть на лоб; он выпятил нижнюю губу и передал бумагу Коротченко.

– Вот, познакомься, хорошо, что ты у меня оказался. Садитесь, Алексей Иванович.

Меньшенин все с тем же смущавшим и раздражавшим шурина блеском в глазах поблагодарил легким кивком, отошел к стене и стал изучать гравюры из былинного эпоса, изображавшие подвиги русских богатырей.

– М-мда-а, – услышал он скрипучий и многозначительно озадаченный голос профессора Коротченко и, повернувшись, увидел обращенное к нему широкое лицо, крупный мясистый нос с темной бородавкой с правой стороны и тускло отсвечивающие глаза, сейчас почти наглухо запрятан-

ные в припухлостях. – Задача... Далось вам это славянство, Алексей Иванович, – продолжал он после недолгой паузы очень вежливым тоном и даже как бы подчеркивая эту свою вежливость. – Вам здесь, конечно же, успели нарисовать мой портрет-фигуру, этакого партийного зануду, терроризирующего весь институт. Правда, у вас у самого голова на плечах, присматривайтесь и решайте... Неужели вас не интересуют более важные, более необходимые для нашего времени задачи? Грустно, грустно, молодой ученый, талантливый, фронтовик. Вы, конечно, пока плохо знаете меня, но я на вас во все не в претензии. У меня свои жизненные принципы, и я сужу о ваших работах объективно, всякий раз стараюсь отметить удачные, перспективные стороны...

Меньшенин, слушая речь профессора, смотрел на бородавку возле его носа, затем шевельнул плечами.

– Наука может развиваться только в столкновении мнений, так ведь? – спросил он с непонятной веселостью в лице. – Так почему же я должен вас не любить, Климентий Яковлевич? Вы, профессор, мой лучший друг, помогаете отточить мысль, выверить все сомнительное. История наших с вами корней, история славянства, которой, надо признать, по непонятным причинам никто серьезно не занимается, тема не случайная для меня. Убежден, будущее таит много самых невероятных сюрпризов, и спасение в одном – национальном единении. Это доказано прошлым, это не раз повторится и в будущем. Иных путей я не знаю. Потом же, я русский,

нахожусь на русской земле, вышел из нее, и хочу заниматься русской историей. Что же в этом предосудительного, профессор?

Заслушавшись романтической и горячей речью молодого человека, профессор Коротченко не дал, однако, застать себя врасплох; он тихонько пошевелил короткими пальцами правой руки, до сего времени спокойно лежавшей на краю письменного стола и, словно вспомнив нечто совершенно неотложное, несколько раз погладил свою бритую и гладкую голову.

– Так, так, так, уважаемый коллега, – мягко кивал он. – Вопросик, вопросик можно? Чувство национального достоинства, национального самосознания, – хорошо, хорошо, хорошо! И тут же – чувство национальной исключительности – один, заметьте, один лишь малюсенький шажок... А далее? Пропасьть... В глазах темно... Из сей же удушливой пропасти то и дело высовывается рожа... да, да, да – рожа национализма, а проще – фашизма.

– И опять вы высказываете недюжинный ум, профессор! Разумеется, критика необходима в любом творческом процессе. – Меньшенин позволил себе слегка улыбнуться. – Но здесь ваши сомнения вряд ли правомерны. В русском человеке никогда не было подобного национализма, допустим, такого, как у немцев, англичан или японцев. Я уже не говорю о евреях или других небольших народах. У русского человека крайнее проявление национального отмечалось лишь

в его глупейшей способности бросаться грудью на пулемет или с гранатой под танк... конечно, когда ничего другого не оставалось. А так у него вообще, к сожалению, и на беду ему, национализм, этот могучий инстинкт самосохранения, полностью атрофирован, – то ли заслуги ваших дорогих норманнов, то ли еще что...

– Мне, конечно, очень поучительно следить за вашим диспутом, – вмешался Одинцов, почувствовав излишнее напряжение и при этом слегка откидывая голову с густой гривой волнистых, хорошо сохранившихся, но уже облагороженных тусклым серебром волос. – Простите, коллеги, через полчаса мне необходимо на совещание, отложим разговор. А вам, Алексей, обещаю все продумать... прощупать в нужных инстанциях, – на нашем уровне мы этого осилить не сможем, решить тем более.

– Ага, все стало на место, – сказал Меньшенин, вздыхая. – Вы хотите посоветоваться в верхах, не повредит ли моя, странная, на ваш взгляд, затея *дальнейшим видам России!* Позвольте, позвольте, не повредит, не должна повредить, наоборот, – однако... стоп! стоп! – приказал он себе, выдвигаясь на середину кабинета и замирая, словно чем-то в один миг оглушенный; глаза у него сделались совершенно бессмысленными. От столь странного его превращения Одинцов покосился в сторону своего верного заместителя, – тут ли? Профессор Коротченко был, разумеется, на месте, положив пухлые ладошки одна на другую и выставив их на

край стола, он тоже смотрел с ожиданием. «Ишь ты, как он комедию-то ломает! – думал он в некотором предвкушении дальнейшего забавного зрелища. – Шел бы в театр, там бы ему в самый раз выкрутасничать!»

А между тем, Меньшенин действительно испытывал в этот момент сильнейшее затруднение и почти непреодолимый разлад с собою, словно кто взял и перевернул картину жизни, показывая ее в истинном свете и значении. Его живое воображение тотчас нарисовало нечто фантастическое: он увидел перед собой непроходимый заслон из бесчисленного множества Одинцовых и Коротченков; плечом к плечу сидели они перед ним рядами, все с философским выражением лица, и все выставив вперед и положив одна на другую пухлые ладошки; вот тут он и понял, что ему вовек не прорваться сквозь эту глубоко эшелонированную оборону. Еще пытаясь нащупать выход, он вертел головою в разные стороны и везде видел одно и то же; ни с тылу, ни с флангов прорваться было нельзя; но и показать своего поражения вот так просто нельзя было.

Заставив даже невозмутимого профессора Коротченко вздрогнуть руками, Меньшенин вскрикнул, бросился к Одинцову.

– Я вас расцелую, Вадим Анатольевич! – восторженно кричал он. – Можно? И вас расцелую, Климентий Яковлевич, дорогой мой учитель и указующий перст!

Он лез, и очень напористо, к Одинцову, широко раскинув

руки, хотя тот упорно не допускал его близко и энергично отпихивал.

– Да что такое? – волновался солидный, в годах, ученый. – Да вы наконец объяснитесь! – решительно требовал он. – Объяснитесь, а тогда и целоваться будем!

– А я объясню! Объясню! – возбужденно говорил Меньшенин. – Вы ведь меня спасли, я свет увидел! Я только теперь, сейчас, вот в этом кабинете, – тут он топнул ногой в пол, – все понял! Главное, действительно, *дальнейшие виды России*, а еще важнее, что этого никому не дано перешагнуть! А посему мне надо бросить всю свою ахинею и отыскать себе полезное место для жизни и развития человечества. Вот за то и спасибо!

– А ты, Клим, что-нибудь понял? – озадаченно подал голос Одинцов, стараясь остановить и успокоить зятя, но Коротченко лишь молчаливо пожал плечами и вновь сложил на краю стола пухлые ладошки, – стал остро и неотрывно смотреть на Меньшенина, словно ожидая чего-то еще более интересного.

– Ладно, не надо притворяться, – оскорбился молодой человек и примиряюще заулыбался. – У народа свой тайный гений есть, он все равно вас вокруг пальца обведет!

– Вот ахинея, какой еще такой гений?

Окончательно огорчившись, Одинцов махнул рукой, и Меньшенин, убедившись, что его верно поняли, энергично поклонившись и даже вроде бы задиристо прищелкнув каб-

луками, вышел, а два умудренных жизнью ученых довольно долго и молча сидели и, переглядываясь, отдувались и пыхтели, причем профессор Коротченко, поджав губы, по-змеиному философски глядел на свои толстые, похожие на сдобные, праздничные оладьи, ладошки на краю стола, а хозяин кабинета дважды или трижды, и всякий раз в ином значении повторив свое любимое: «Ну, знаете ли», как можно дальше выпятил нижнюю губу, как-то сразу успокоился и потянул к себе очередную кипу бумаг для подписи. Старые соратники, единомышленники и друзья, несмотря на столь различные характеры, давно стали одним едино действующим целым; они понимали друг друга и без лишних слов.

– Разухабистый пошел после войны молодой народ... А этот – артист, артист, – вздохнул наконец профессор Коротченко. – Так и норовит нахрапом, без всяких трудов, в дамки! Так и норовит! Ты уж не обижайся за своего зятя... Раз, два – и готово, вот что ему нужно. Мы всей жизнью высокое утверждали, доказывали, мучились, ошибались, они же вот так напролом норовят, они тебе сразу гоголем норовят. В физиономию! в физиономию! – для вящей убедительности повторил он, часто и беспорядочно помаргивая белесыми, припухшими веками, что с ним случалось только в минуты сильного душевного волнения. Одинцов потянулся и дружески, легонько и ободряюще, похлопал его по руке, всем своим видом говоря, что волноваться до такой степени и расстраиваться нет никаких причин.

– Нет, нет, к черту! – окончательно огорчился профессор Коротченко, злясь и на себя, и на старого друга. – Ты мне скажи, он, твой зять, действительно пятнадцать языков знает? Как ты это объяснишь?

Одинцов долго глядел на него, затем развел руками и заметно побледнел.

– Необъяснимо, но это так, Клим... Немецкий, английский, французский, испанский, греческий – понятно... Литература, философия, история... Но японский и арабский? Какого дьявола? Ну, латынь... я тоже ее зубрил, но парфянский-то с древнееврейским, то бишь, арамейским?.. И ведь владеет совершенно свободно, словно и родился где-нибудь в Сирии...

– Парфянский? – не удержавшись, опять удивился профессор Коротченко, чувствуя какую-то новую и ненужную тяжесть на душе. – А может, он, брат, того, – профессор поднял к своему, ставшему шишковатым, лбу сложенные щепотью пальцы, – гм, переусердствовал? Парфянский, арамейский, а? Ну, ничего, мы это как-нибудь раздемокрatism и вычислим...

– А ты, Клим, что сам думаешь? – возвращаясь к более реальным делам, кивнул, брезгливо поежив губы, на лежащее на столе заявление зятя Одинцов. – Положа руку на сердце?

– Твой, твой зять, Вадим, – не стал ходить кругом да около Коротченко. – Мне здесь особо думать не приходится. Родственные связи всегда сила, движут общество, историю. Но

это истина не для коммунистов! – опять усиленно заморгал он, однако успел заметить мелькнувшую на лице Одинцова иронию, явно относящуюся к тому, что всего два месяца назад он, профессор Коротченко, пристроил своего совершенно тупого и бездарного отпрыска на весьма выгодную научную должность. – Конечно, конечно, у нас еще достаточно родимых пятен, – тут же отвечая другу, еще пуще заморгал профессор. – Но! Но, еще раз повторяю я! Мы отлично осознаем свои пятна и стараемся скорее от них избавиться. Мы их скребем, мы их непрерывно с болью, с кровью... вместе с собственной кожей сдираем с себя! Вот в чем разница. С другой же стороны, ты, Вадим, и твой зять стоите совершенно по разную сторону баррикад. И я – твердо помни! – я всегда по твою сторону, всегда и во всем! А твой талантливый зять, в этом ему никак не откажешь, прежде всего хочет одним ударом разрушить все, что мы с тобой складывали по кирпичику всю жизнь! Парфянский! В его годы! Откуда? Зачем? И, однако, приходится еще раз повторить – талантлив! – крикнул профессор Коротченко со вкусом, словно еще и еще вгонял по самую шляпку гвоздь в сумрачную, раздосадованную душу своего коллеги. – Вот тебе мое принципиальное мнение...

Одинцов ничего не ответил, лишь лицо его еще больше потускнело; профессор Коротченко, опытнейший боец на ринге жизни, проводил куда более значительные схватки, а здесь ему даже усилий особых не потребовалось; да дело бы-

ло и не в этом. Он, закулисный мастер самых невероятных операций, от которых даже у такого знатока, как сам Вадим Анатольевич Одинцов, дух перехватывало, был на сто с лишним прав; и опять, не в этом было дело, а в том, в чем именно он прав. Что-то невнятно проворчав, Одинцов с иронией уставился на блестящую крепкую лысину старого друга.

– А мы с тобой, Клим, на что? – проникновенно поинтересовался он. – Не для явления ли молодежи примера неподкупности, принципиальности, умения и необходимости выбрать верный путь? Не так ли? Не горюй, Клим. Дурь зеленая схлынет, опамятуется... Сам знаешь, орлы бьются, а молодцам перышки достаются.

– Если прежде нас с тобой не слопают, – теперь уже вставил свою шпильку Коротченко. – Ты послушай, о чем потихоньку шепчутся в институте, кстати, очень и очень многие.

– Сплетнями никогда не интересовался. – Одинцов даже некрасиво поморщился. – Да и не о чем особо шептаться...

– Шепчутся, шепчутся! – профессор Коротченко неодобрительно и укоризненно помолчал. – Шепчутся! О том, например, что молодых бы в руководство института, того же Меньшенина, твоего дорогого зятя, тогда бы и наука двинулась... Вот так и слопают. Да и куда бы она двинулась, наука?

– Ну, знаешь, на всякий зуб свой кулак отыщется, – засмеялся Одинцов, и у него на чисто выбритых щеках проступили ямочки. – Ты же сам видишь, какие это разбойники, – детский лепет. Да разве можно на такую тему докторскую

пробить? – Тут он в высшей степени неодобрительно глянул на оставленное зятем заявление. – Ну кто, скажи, выделит нам средства на подобную, мягко говоря, научную тему? Поездка в архивы монастырей Австрии, Греции и Палестины, раскопки в архивах армянских и грузинских монастырей... Почему не Эфиопия? А Рим? И с такой просьбой обращаться туда! – Одинцов ожесточенно ткнул несколько раз указательным пальцем у себя над головой в направлении потолка. – Что там могут подумать? Моему талантливому зятю на подобный аспект начхать, сел и написал, а дальше?

– Понимаю, понимаю, потому и советую быть подальше в подобных обстоятельствах, одно дело – семья, другое – служба. Так я захвачу? – кивнул он на стол, на заявление Меншенина. – Правда, если дойдет до крайней точки, привлечем Вязелева, как-никак профсоюз. Поддержит, мужик умный, во сне бредит о докторской. Договорились, все беру на себя...

Тут они почему-то одновременно пристально поглядели друг другу в глаза; прошло несколько секунд. Оба отлично знали, что при желании Меншенину можно и разрешить его поиск, и во многом помочь, но оба знали, что новое дело таит в себе массу всяческих сюрпризов и неожиданностей, может проскочить незаметно, а может и вызвать обвал, и рисковать совершенно незачем. И в любом случае задуманное Меншениным невыгодно и даже в ущерб для научного авторитета самого Одинцова, но лично ему самому как-то совсем уж

нехорошо загонять молодого талантливую ученого, да еще и родственника, в яму, отрубать ему надежду на будущее, а вот если пустить в ход посторонние силы, все будет отлично, а сам Вадим Анатольевич всегда умел платить долги...

От такого взаимного понимания в их глазах переменялась, соответственно, целая гамма сложнейших чувств, произошла настоящая буря; профессор Коротченко, как и положено младшему и подчиненному, отвел глаза первым, однако Одинцов не отпустил его.

– Мы с тобой, Клим, критический рубеж в своих взаимоотношениях давно перешагнули, – сказал он просто. – Мы нужны друг другу, шагать нам до конца вместе. Созреет плод – будет видно.

Еще раз внимательно перечитав оставленное зятем заявление, подумал, выпячивая нижнюю губу, ставить ли свою резолюцию, решил не делать этого и пододвинул бумагу профессору Коротченко, тотчас небрежно, с хрустом сунувшему ее в свой старый пузатый портфель, подробно известный в институте и дальше, чуть ли не всему ученому миру Москвы, под гипнотизирующим и всеобъемлющим названием *чрево* (кстати, об этом портфеле со столь символическим названием ходило невероятное количество самых противоречивых слухов, вплоть до откровенных анекдотов; говорили, например, что профессор Коротченко мог при надобности доставать из своего *чрева* все, от любовницы или бутылки коньяку до любой необходимой бумаги, и даже до Моск-

вы-реки с любыми историческими строениями на ее берегах), и дело пошло своим определенным путем, вернее, оно никак не пошло, а скользнуло и плотно застряло в *чреве* у Климентия Яковлевича Коротченко, чтобы быть в любой момент у хозяина под рукой.

9.

В теплый августовский вечер, убитый на столь долгий и бесполезный разговор ученых мужей, в природе, по утверждению одного мудрого философа, шел нескончаемый и непрерывный круговорот вещей. Где-нибудь на Брянщине, Псковщине или Смоленщине потихоньку поднималась и расправляла крылья упрямая, получившая невиданную закалку нуждой и немислимыми трудностями послевоенная молодежь, все эти лопухие русские Ваньки, Митьки, Маньки и Пашки; по всей Руси неохватной они пахали и сеяли, копали руду и плавил металл, добывали нефть, строили ба-раки, другие убогие жилища, – лишь бы обрести крышу над головой; они образовывали семьи и даже активно рожали и тетешкали детей, а по праздникам собирались в бурливые людские потоки и с энтузиазмом кричали «Ура!» гениально-му вождю народов всей планеты Сталину, до слезливой вос-торженности любили ещё более незабвенного дедушку всех детей на земле Ленина, гнали хлеб, железо, нефть, танки и самолеты в бескорыстную помощь обиженным и угнетен-ным народам, отстраивали Варшаву и Берлин, возрождали к новой жизни убогое прибалтийское захолустье, сооружали порты и дороги в братских республиках Средней Азии и За-кавказья, возводили госпитали и плотины в Африке и Азии, а между тем где-нибудь в самой срединной России стано-

вилось все запущеннее и тише, разъезжались люди, особенно молодые, проваливались последние дороги, взрывались на щебенку и разбирались на кирпич редкие после антиправославной бури в двадцатых – тридцатых годах храмы. Давно уж забылся провозглашенный великим Сталиным тост во здравие русского народа, да и вообще, само слово «русский», как-то угрожающе стихийно разросшееся в военное лихолетье и вызвавшее тем самым понятное недовольство и опасения просвещенной Европы, все упорнее задвигалось за кулисы как нечто весьма и весьма неприличное в употреблении среди высоких интеллектуалов и становилось политически ошибочным и вредным. Само невыговариваемое слово «русский» не вмещалось в непорочные уста почти всех без исключения и отечественных политических деятелей, начиная с мудрейшего дедушки Ленина, так и не обзаведшегося хотя бы каким-нибудь пегеньким потомством, который, мило картавя, с удовольствием и страстностью произносил в данном случае лишь одно благоухающее в его устах новосочетание *русский великодержавный шовинизм*, и кончая самыми последними генсеками, – оно, это шокирующее, опасное слово «русский» рвало им губы и нещадно кололо язык, оно никак не выговаривалось и не вытанцовывалось, и они его окончательного возненавидели и заклеямили. Пожалуй, грядущие исследователи подобного феномена обязательно откроют новые грандиозные тайны и выявят более глубинные причины ненависти стоящих над русским народом правителей

всех мастей к слову «русский» и особую, почти зоологическую ненависть к нему разноплеменной литературной братии, выбравшей для обеспечения своей затратной и прожорливой жизнедеятельности именно русский язык, но и на дух не принимающей само слово «русский», – впрочем, оставим прояснение вопроса потомкам – человечество ведь любит копаться в своем прошлом. Наше фантастическое повествование и его герои не ждут; необходимо лишь отметить, что русский солдат, а следовательно, и сам русский народ, освободивший Европу и весь остальной мир из-под беспощадной чугунной стопы новой цивилизации сверхлюдей космического льда и великого мистического ордена Блещающей золотой ложи, волей космоса и судьбы и был единственной к тому времени реальной силой в мире, способной противостоять этой цивилизации тьмы, зародившейся именно в центре Европы и явившейся первым грозным признаком скорого распада и самоуничтожения пресыщенной и развращенной вседозволенностью белой расы; именно русский солдат остановил, а затем разгромил передовые отряды накатывающейся тьмы, отбросил их назад, – самого Люцифера и зло в мире уничтожить было невозможно, как невозможно уничтожить и Бога, и добро. Была всего лишь восстановлена зыбкая и хрупкая граница между добром и злом, на время спасена старая христианская цивилизация и культура, – и вот именно такого деяния ни русскому солдату, ни русскому народу никто простить уже не мог. И невольно напрашива-

ется вопрос: зачем русскому солдату понадобилось освободить такую Европу и спасти такой мир? Видимо, странная жертвенность изначально заложена была в природе русского человека... Да и в самом деле, приятно ли вам будет, если вас кто-нибудь вдруг спасет, выхватит неожиданно-негаданно из ледяной проруби или из-под колес несущегося, грохочущего состава? И вам затем придется жить с ощущением, что вы спасены и что этот непрошенный спаситель тоже находится где-то с вами рядом, и с ним можно невзначай и столкнуться на прогулке, и тогда его, считая себя человеком цивилизованным, пожалуй, придется еще и поблагодарить... Каково? Нет, неприятно жить с чувством, что ты кому-то должен столько многим обязан, то ли дело жить без всякого спасения, жить самому для себя!

Вокруг русского солдата и русского народа тотчас стали образовываться всякие воронки и водовороты, заплясали черные смерчи, в омывающих его землю морях и океанах, вблизи его берегов, хищно залегли на боевые дежурства всевозможные подлодки. Трудно перечислить действия и противодействия, поднявшиеся в мире только потому, что русский солдат, спасая свою землю и свой народ, в порыве национального вдохновения спас и остальных. Гордый, исторически импотентный поляк возмутился просто от выпавшей на его долю необходимости жить рядом, а онемеченный чех вознегодовал просто по причине своего онемечивания. И отуреченные болгары и окатоличенные словаки и словен-

цы, и утонченные до вырождения французы, и безжалостный ростовщик американец, и, правда, сильно разбавленные желтой и черной расами, демократически консервативные англичане, и вырванные из топок крематориев в концлагерях, и оттого еще более озлобившиеся евреи, и они даже особенно – все спасенные и освобожденные за сверхчеловеческий подвиг русского народа воздали ему клеветой и ненавистью. И радители русского народа, издавна проникшие в самый его состав, размножившиеся там и жирно живущие за счет его каторжного труда, тотчас в вопросе ненависти к русскому человеку объединились с ненавидящими его внешними силами, также жадно и самозабвенно сосущими богатства русской земли и всеми способами истощающими русскую силу, и это зловещее двуединство оформилось в липкую паутину десятков, сотен и тысяч всяческих лож, партий, фондов, клубов, миссий, течений, учений, университетов, центров, сект, профсоюзов, и стало видно, что цивилизация космического льда на время лишь притихла и затаилась и, не успев дожидаться, пока остынут в петлях трупы ее верховных рыцарей, силы тьмы, слегка перегруппировавшись, слегка переделавшись из немцев в американцев, вновь устремились в наступление. Таинственные подземелья раскрылись, и на завоевание мира вновь двинулись дремавшие в них многие тысячелетия гиганты-люди, должны повелевать с помощью тьмы и зла, – свет и добро не пошли человечеству впрок, утверждали они, и теперь нужны диаметрально противополо-

ложные методы строительства вселенной. Верховный архитектор сменился, и пришла эра льда и огня; мол, ее германские пророки во главе с Гитлером несколько поторопились, а вот теперь самый срок.

* * *

В воздухе стоял густой, разогретый запах асфальта, и стены дышали зноем; профессор Коротченко, освободившись наконец-то от многочисленных обязанностей, отправляясь домой, решил пройтись немного пешком, подумать, кое-что проанализировать; его непонятные и странные мысли, весьма далекие от его работы в институте и еще более далекие от его печатных трудов, были весьма скоро прерваны; едва успев отойти от института, он был остановлен, посажен в машину и увезен куда-то за Москву вместе со своим знаменитым портфелем. Вначале, увидев перед собой невыразительное, незапоминающееся лицо человека, произнесшее его имя, профессор возмутился, и ему тотчас был явлен некий таинственный знак и сказано всего два слова, после чего он, несмотря на свою всегдашнюю самоуверенность, заметно постарел и, поджавшись, покорно сел в машину, а минут через сорок оказался на одной из дач, затерявшихся в подмосковной глуши, одной из тех, где подчас творятся дела поважнее, чем на Старой площади или даже в Кремле, и мгновенно решаются вопросы, годами киснув-

шие в какой-нибудь самой высокой международной инстанции или безрезультатно прожовывающиеся на многочисленных встречах глав государств и правительств в течение десятилетий.

Профессор сидел в большой, сумрачной комнате, обставленной мягкой, темной и удобной мебелью, в просторные окна гляделись вековые сосны – глухой лес укрывал двухэтажное строение из массивных лиственничных бревен. Он ни о чем не хотел думать, ничего не предполагал, – он лишь старался подготовиться к предстоящему, предельно собраться и любую неожиданность встретить во всеоружии опыта; его неразлучный портфель мягко и непреклонно ему посоветовали оставить в прихожей, и теперь ему все время чего-то словно недоставало.

В большой комнате, отделанной мореным дубом, веяло прохладой и хорошо дышалось, под потолком, усиливая впечатление прочности, почти монументальности, роскошествовала старинная бронзовая люстра о шести рожках, изображавших прихотливо изогнутые ветви все того же дуба в редких разлапистых листьях; профессор, сразу уловивший ее скрытый магический смысл, не успел более точно определиться. Он ощутил на себе долгий пристальный взгляд; он не понял, каким образом в комнате появился кто-то еще, и подумал о потаенной двери в панелях. Можно было встать и почтительно поклониться, а можно было сделать вид, что он ничего не замечает, и Климентий Яковлевич выбрал вто-

рое, хотя в затылке у него появилось неприятное ощущение легкой изморози – неслышный ветерок шевельнул остатки вроде бы вновь отросших волос. И, еще не видя вошедшего, профессор узнал его, и тогда чуть ли не священный восторг охватил его, в груди приятно отпустило и потеплело, и ликующе бухнула мысль: «Вот оно, вот! Звездный миг, ради него я и явился на этот свет, терпел, страдал, унижался, я ведь и думать себе запретил, сколько раз прикидывался в этом свинцовом аду идиотом, а как завершается! Нет, нет, не завершается, начинается! Ах, эта звездная дорога могущества! Эти безмозглые, орудие толпы, навоз для грядущего величия подлинных героев! Сам, в миру, хе-хе, некто Сусяков Николай Александрович, на самом же деле... хе-хе...»

* * *

Пугаясь преступной в данном положении вольности мысли, решительно оборвав себя, хотя его и сжигала внутренняя буря предчувствия самых фантастических перемен в своей судьбе, профессор закаменел, в лице у него ничего не дрогнуло, – это входило в ритуал встреч такого высокого ранга. А дальше для неосведомленного человека произошло нечто совсем уж непонятное и таинственное. Вошедший, невысокий приземистый человек, с тяжелой бульдожьей челюстью, с непомерно высоким, неестественно выступающим вперед лбом, скалой нависающим над остальным лицом, в кото-

ром небольшие приплюснутые глаза чуть-чуть угадывались, слегка прихрамывая, сделал несколько шагов к Климентию Яковлевичу и приветливо протянул ему левую руку, – профессор с ликующим сердцем встал и отвечал хозяину тем же, и ему стало совсем хорошо.

– Разбей папскую тиару и растопчи королевские лилии, – внятно разделяя слова, с усмешкой произнес хозяин и, высоко подняв левую руку, стал прямо в воздухе писать, или, скорее, изображать прямым указательным пальцем таинственные знаки. И тут затвердевшее лицо профессора переменялось, стало одухотворенным, глаза засияли. Он опять ответил – вдохновенно, волнующе, что то дорогое начертал левой рукой в воздухе у себя над головой. Хозяин опять продолжил этот странный диалог, и вновь получил, судя по его лицу, ожидаемый ответ, и так продолжалось до шести раз. Затем они, и хозяин, и гость, похожие на каких-нибудь важных и неприступных жрецов седой древности, сделали еще несколько таинственных жестов по прижиманию все той же левой, открытой ладони то ко лбу, то к груди, а то и откидыванием ее в сторону или, опять-таки, поднятием ее над головой, затем хозяин, надув толстые, в складках, щеки, отчето плоские его глазки совсем исчезли, произнес неразборчивый звук, должный, видимо, означать что-то весьма и весьма важное, что-то вроде завершения молитвы или заклинания, где слышались удивительные слова: «О, сера, соль, Меркурий великого Моле!» И хотя это было произнесено, по-

жалуй, даже и не по-русски, профессор Коротченко сразу все понял, лицо его окончательно отмякло, он тоже произвел некий щелкающий звук, явно не русский, и затем они, и хозяин, и гость, превратились в обыкновенных пожилых мужчин, изрядно уставших и потрепанных жизнью, и к тому же мирно сидящих за небольшим уютным столиком, – жреческие покровы с них ниспали. И перед ними сияли изморозью света в гранях три хрустальных сосуда, в каждом из которых проступала чудодейственная цифра «6», а все вместе они составляли магическую формулу «666», явленную только высшим посвященным, – профессора Коротченко принимали по первому разряду. Выпили старого крымского муската, цифра «6» на хрустальном бокале налилась темно-розовой густотой, какой-то ощутимой плотностью, и профессору сделалось совсем тепло и хорошо; теперь мобилизующая и вдохновляющая цифра словно оказалась у него в груди и затем теплым током ободряюще разошлась по всему телу, словно глоток хорошего, доброго коньяку; Климентий Яковлевич пожевал губами и положил на тарелку себе несколько сизых маслин, ложечку паюсной икры с кружочком лимона, добавил ломтик слезящейся свежестью семужки. Хозяин же, часто прихлебывая вино, ограничивался зеленью и куском зажаренной, аппетитно румяной телятины с гранатовым соусом, – полугодовалый бычок, удостоенный чести вырезания из своего тела этого раздражающе пахнувшего деликатеса, еще ровно два часа назад игриво взбрыки-

вал в загоне в экологически чистом подмосковном хозяйстве Беловидово, снабжавшем продукцией только самые высшие инстанции государства, вернее, самую привилегированную верхушку этих инстанций, питая и тем самым сохраняя ее для грандиозных дел и преобразования человечества и высших свершений во благо народа; такие крамольные мысли промелькнули в перевозбужденном мозгу профессора, и он слегка прищурился, – главный разговор, ради чего он, собственно, и оказался здесь, был, разумеется, впереди.

От обильной еды и вина толстые щеки хозяина пошли болезненно багровыми пятнами, Климентий Яковлевич же, наоборот, слегка побледнел и построжел в лице, а гладко выбритая голова у него даже слегка потемнела.

После кофе с рюмкой коньяку хозяин, перейдя с гостем к другому столу, с придиричивой тщательностью выбрал сигару, обрезал, раскурил и, окутавшись душистым дымом, некоторое время наслаждался молча, а затем откуда-то, словно с горной вершины, послышалось:

– Ну, и как, брат? Не хотите ли сигарку? Превосходная гавана.

– Завидую и вынужден отказаться, запретили врачи. – В голосе гостя прозвучало горькое сожаление.

– Категорически запретили? – поинтересовался хозяин.

– Совершенно категорически, – опять сожалеюще вздохнул профессор.

– Имеются важные новости, и решено довести их до ва-

шего сведения, – изрек хозяин, и из-за дымной завесы на гостя сверкнули два холодных, неприятно прожигających лезвия. – Да, да, брат, подобное давно прогнозировалось для этой страны. Дело идет о некоей русской патриотической организации, поставившей себе целью противодействовать нашему великому делу объединения мира. На нее еще не вышли, и здесь надежда на вас. Корни заразы, конечно же, необходимо искать именно в среде так называемой интеллигенции, в этом маразматическом болоте. У вас, брат, в вышеобозначенной трясине, старые наработанные связи, я вас прошу сосредоточиться и работать строго в заданном направлении. Мы должны уничтожить заразу в зародыше. Мы не можем отдать землю наших предков в руки стадного хаоса вторично, пусть себе на здоровье мычат и трясут рогами! Найти и любыми способами беспощадно выжечь! Атомным огнем выжечь! Вечно недовольные, напялившие на себя личину русских патриотов, отныне объявляются вне закона! Мы пройдемся с мелкой сетью по всем континентам, заповедное число близится!

Профессор слушал, опустив тяжелые веки, – при последних словах хозяина он завозился, устраиваясь удобнее, однако глаз не поднял. Он знал дисциплину – вопросов задавать не полагалось, все необходимое будет сказано. И, выждав приличествующее время, он позволил себе слегка, одними губами, улыбнуться.

– Да, – сказал он, – ничего конкретного угадать нельзя,

сфера – необъятная. Университеты, общества, творческие союзы, фонды, академии... давно известно – стихия без берегов.

Страхивая толстый столбик пепла в малахитовую, на четырех когтистых лапах пепельницу, хозяин понял: гостю требуется хоть какое-нибудь маленькое пояснение.

– Дело уже давно отработанное. – Он опять благодушно улыбнулся, удовлетворенный минутой покоя, а еще более просто вдохновленный своими тайными мыслями. – Здесь ничего хитрого – вычислить, определить и уничтожить. Пока без конкретностей, присматривайтесь и анализируйте. Якобы самая древняя германская кровь оказалась наиболее восприимчивой к ереси варварских легенд. Вотан, Атлантида, из нее, якобы, и вышла германская раса, а затем и Грааль и борьба льда с огнем, вся прочая чушь – вот из какого чрева и вынырнул Гитлер со своими безграмотными теориями, вернее, идеологией, со своей особой идеей цивилизовать человечество, с возвращением к расе героев и вечных господ, до сих пор скрывающихся в тайных подземельях, и к расе должных их обслуживать рабов, то есть нас с вами. Последняя мировая война никакая не классовая, по утверждению ортодоксов, не национальная и даже не расовая – просто закономерная схватка старой, отживающей свое так называемой христианской цивилизации и цивилизации грядущего. Хе-хе-хе, – дробненько рассмеялся хозяин, вспоминая что-то особо приятное. – Все их тайные ордена контролирова-

лись и направлялись другими силами, теперь их опыт обобщается... хе-хе-хе, вероятно, где-нибудь за океаном. Все дело заключалось лишь в том, что Гитлер сотворен не на небесах, на земле... Выполнил свое и до свидания! Исчез! Вот в чем вопрос! Вот в чем вся парадигма! – Хозяин входил во вкус и даже несколько раз во время своей речи взмахнул сигарой, просыпая пепел на дорогой, во все помещение, совершенно необыкновенный по расцветке и узору, персидский ковер. – Вот в чем вопрос! Кто подготовил, начал и выиграл эту войну и вместе с тем раз и навсегда перечеркнул новую германскую цивилизацию, по теории льда и огня? Этого никто не знает. – Хозяин еще раз энергично взмахнул рукой, но Климентий Яковлевич, напряженно и внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова, слушавший откровения хозяина и хорошо знавший, что ничего случайного на таком уровне быть не может и не бывает, тотчас все понял. Вновь восторженный и даже слезливый холодок тронул его – не только кожу, но и мозг, на мгновение широкая физиономия всемогущего хозяина поплыла и отодвинулась. Великое доверие не только кружило голову, за ним, этим беспредельным доверием, вставало нечто леденящее, и теперь слова и мысли хозяина как бы рождались у самого профессора – это были его слова и мысли, его могущественный и необозримый мир.

– Цивилизация на земле едина, и всегда будет едина, и Бог един, и другого людям не дано, – отдавалось в мозгу у

профессора Коротченко. – Никакие фальсификации, никакие подмены и никакие иные парадигмы недопустимы, кощунственны, их необходимо пресекать немедленно. Не хотите ли еще рюмку коньяку, брат? И я с вами, день завершается, вечер сегодня свободен.

Гость внутренне вздрогнул, словно выныривая из какого-то сияющего пространства.

– Что ж, благодарю, еще рюмку можно, – улыбнулся он, стараясь скрыть свое состояние благоговейного страха и почти убивающего, смертного вдохновения и решимости всего себя отдать великой и вечной цели обновления мира.

Они еще выпили; хозяин, удобно расположившись в просторном кресле, явно продолжал наслаждаться отдыхом, хотя мысль его непрерывно работала.

– Что-то, подобное крамоле идеологии, породившей Гитлера, вновь пришло в мир, – тихо и спокойно и как-то очень уж буднично вновь заговорил хозяин. – Теперь, скорее всего, среди славянства. С немцев тоже нельзя глаз спускать, что немцы, что русские... одним словом, два сапога – пара, – вот генеральная наша цель в преддверии числа. Рад выразить вам благодарность за верность нашему делу, остальное не заставит себя ждать, вам в свое время все станет известно. Я же должен сказать вам кое-что еще...

С покотившимся внезапно куда-то вдаль сердцем, профессор Коротченко непроизвольно встал; лицо у него пылало, глаза горели, и дыхание было жарким; он ругал себя за

несвойственную его возрасту юношескую резвость, но ничего не мог с собою поделать. Внезапно он сильно побледнел, и внимательный хозяин тотчас встревожился.

– Что с вами?

– Ничего, ничего, сердчишко выиграло, – поспешил успокоить его Климентий Яковлевич.

– От радости не умирают, – тотчас суховато и любезно успокоил его хозяин и предложил перейти в соседнюю комнату, в кабинет, где и продолжился более конкретный, пожалуй, и самый главный разговор о предстоящих трудах и задачах, и хозяин, предоставляя гостю возможность несколько привыкнуть к обвалившемуся на него потоку и осмотреться в глухом, с двойной сейфовой дверью, без окон, помещении, затянутом серым сукном, некоторое время просматривал кипу бумаг на узком длинном столе. Затем он резко отодвинул от себя очередную папку, устало сощурился, потер глаза, и Климентий Яковлевич поежился, – перед ним сидел совершенно новый человек, опять незнакомый и далекий, недоступный.

– То, что вы сейчас услышите, брат мой, знают не многие, – начал хозяин. – И это знание должно с вами и уйти – мир приблизился к заповедной, давно определенной черте. У нас нет причин медлить, – грядет жатва. Теперь главное... В мире, с центром скорее всего здесь, в России, в Москве, существует древнейшее славянское братство, последовательно и упорно борющееся против нас и наших замыслов. По на-

шим разработкам, оно много древнее нас и держится на глубоко скрытых родах – их сила передается генетически от отца к сыну и восходит, по их мистическим легендам, к недосягаемым временам, к проиндийской и этрусской цивилизациям, – они их считают праславянскими, а эти народы своими предками...

– Какой-то бред! – не удержался профессор Коротченко, и сразу осекся, встретив холодный взгляд хозяина.

– Слушайте дальше, брат, – продолжил хозяин. – Дело не в этой бредовой, разумеется, теории, а в том, что они, эти избранные роды, действительно обладают могучими и загадочными знаниями, – они могут контролировать и направлять сознание людей. И якобы свои знания переданы им пришельцами из Вселенной еще за две тысячи лет до новой эры. Каким путем, никто не знает, но многие наши аналитики предполагают, что внедрены генетически и бесконечно. А, как-во?

Климентий Яковлевич потупился, он был надежным и бесстрашным бойцом, никакой фантастики не признавал и очень не любил оказываться в глупом положении.

– Ага! Не верите! – с едва уловимой иронией воскликнул хозяин, неожиданно развеселившись. – Напрасно, брат, совершенно напрасно. Здесь есть над чем очень серьезно поразмыслить. Сейчас самое подходящее время, мы тоже закладываем в песок свои яйца, из них лет через двадцать – тридцать вылупятся бойцовские птенчики и завершат вели-

кое наше дело... Увенчают победой труды десятков и сотен поколений наших братьев! Бессонных и безымянных тружеников грядущего числа! До положенного срока никто не будет знать их имена, этих вершителей пирамиды, хотя они уже вычислены и обозначены. Мир станет един, и он будет принадлежать достойным... А теперь вернемся к нашим баранам, достопочтенный брат.

– Я весь внимание, – качнулся в сторону хозяина Климентий Яковлевич, и тот почему-то рассмеялся, показывая превосходные жемчужные зубы.

– Я хочу, брат, чтобы вы правильно уяснили себе задачу, – сказал он. – Необходимо с широкой сетью пройтись по высшим учебным и научным заведениям страны, выявить все подозрительное и сосредоточить на нем свое внимание. О, нет, нет, брат мой, ни в коем случае! – воскликнул хозяин в ответ на беспощадный и хищный жест гостя. – Ни в коем случае! Нам не нужна их смерть, нам нужны их знания, и мы должны их получить... если это не мифы и не старый иудейский страх... И тогда мы станем всесильны, вселенная будет принадлежать и служить нам – избранным!

В глубине зрачков у него вспыхнули две расплавленные точки, и во всем его лице и облике проступило нечто фанатичное, даже цепенящее, – жреческое. Страдая от своих сомнений и стараясь не выдать себя, профессор все-таки не удержался от мысли, что перед ним еще один сумасшедший, правда, забравшийся слишком высоко в заоблачную даль,

где совершенно невозможно что-либо рассмотреть... И вроде бы такая невыразительная мирская фамилия – Сусяков Николай Александрович... Сусяков – ха, ха, что это такое? И это, по сути дела, главное в государстве лицо, его властная рука бессонно находится на пульсе всего происходящего...

* * *

В эту ночь профессор Коротченко так и не смог заснуть. И мучнистая, расплывшаяся жена, говорившая заботливые слова о необходимости себя беречь и больше отдыхать, показалась ему не такой вульгарной.

Услышав ее и приобняв за пухлые плечи, он, сославшись на срочную работу, попросил постелить ему на диване в кабинете и, оставшись один, включил торшер, лег в халате и тапочках навзничь. Сна не было ни в одном глазу. Недавняя встреча и разговор не умещались в голове; вся его жизнь всколыхнулась заново, вспыхнула неведомыми красками и несколько раз пришлось глотать успокоительное, – ведь с самого начала тридцатых он был погружен во тьму и одиночество, и уже начал привыкать, и теперь его оглушило – дело, потребовавшее и унесшее лучшие годы его жизни, не только не затухло, но, оказывается, даже разгорелось, приобрело вселенский характер, пронизало всю жизнь человечества, этого бессмысленного, безглазого чудища, и теперь именно такие вот, как он, незаметные и неутомимые строители, при-

званы были дать неукоснительный и непреложный закон бытия, раз и навсегда установить веру и самого Бога и распятие жизни от рождения до ухода десяткам и десяткам новых поколений; в эпоху безвременья и гонений он потерял форму, а ведь все случившееся необходимо было немедленно забыть, изгнать из памяти ради собственного спокойствия и безопасности; сам того не желая, страдая и мучаясь, он по-прежнему наслаждался приобщением к безмерной власти над людьми и целым миром, – со вчерашнего вечера он стал одним из высших посвященных и в его руках... Одним словом, было отчего голове идти кругом, а это непозволительно ни при каких обстоятельствах, необходимо думать о деле, наметить дальнейший путь и выработать план, правильно вчера было сказано, что каждый должен стать воином Отпадшего и внимательно оглядеться вокруг себя.

И профессор, заставляя себя не торопиться, стал методично и подробно перебирать долгие годы жизни и работы, знакомых, далеких и близких, собрания, заседания, встречи, дискуссии. Вначале было непривычно и трудно, но скоро прорвало, хлынул бурный поток, и ученый муж положил на воспаленные глаза ладонь – применил испытанный прием. Голова работала с непривычной ясностью; мысль почему-то сосредоточивалась на Одинцове, вернее, на его ершистом зятке, – вот кого уж действительно следовало прощупать в первую очередь...

Забылся Коротченко уже перед самым утром; зазвене-

ли первые вышедшие на линию трамваи, стены дома наливались особым предрассветным гулом уже обреченного высшими силами на забвение и разорение вознесшегося в неимоверной гордыне города. И Климентию Яковлевичу было ничуть не жаль. Чуждый высшей воле избранных, город, как новый Вавилон, слишком возгордился в своих дерзких мечтаниях и понесет за это жестокое наказание, могучая и беспощадная рука тьмы сотрет его ложный свет, и восторжествует единый и неотвратимый закон рациональности разума, единого и неделимого космоса. И воля *отпадного*...

И еще на кого-то профессор мучительно обиделся за напрасно проскочившие в зябкой слякоти одиночества и неверия годы; он готов был без всякой жалости все подряд крушить и жечь; только теперь, в мятущуюся и чудную ночь, мирно плывущую над Москвой, профессор Коротченко в полной мере осознал свое предназначение, определяемое особым словом и высшим числом.

10.

У Меньшенина нарастало поэтическое настроение, и он напряженно раздумывал о предстоящем повороте своей жизни, Одинцов же становился все флегматичнее, и, наконец, через месяц или чуть больше с извиняющей улыбкой заявил зятю, что в его просьбе отказано вышестоящими инстанциями, и решительно посоветовал ему года на два, а то и на три, махнуть рукой на свою нелепую затею, – для подобного решения, мол, есть самые веские основания. Меньшенин, давно уже привыкший к любым неожиданностям, удивил своего именитого шурина, – он лишь по-детски беспомощно пожал плечами и хотел было идти, однако не любивший ненужных нелепостей Одинцов остановил его в самый последний момент.

– В чем дело, Вадим? Вы еще не все сказали? – спросил зять, стоя у двери и всем своим видом выражая полнейшую безмятежность.

– Вы ничего не ответили, – напомнил Одинцов, с трудом заставляя себя по-прежнему улыбаться, но Меньшенин все так же молча дал понять, что говорить по данному вопросу ему нечего.

– Конечно, нечего! нечего! – вспылил шурин. – Заварил кашу и забыл, другие расхлебывайте.

– Зачем волноваться, Вадим, – вполне искренне озадачил-

ся зять, – на тебя не похоже... Ну, не вышло, и пошли они к черту, придется отступить, другого не придумаешь.

– Хорошо бы к такому разумному выводу прийти раньше, – не удержался еще от одной колкости Одинцов. – Все ваше нынешнее смирение – так, маска, поди, опять детская игра. Те же свои незрелые теории вы начинаете незаметно проводить в лекциях... вводить в смущение неискушенных, едва-едва оперившихся юнцов. А вам не страшно за их души, за их будущее? И надо наконец поставить все точки... Зачем вам понадобилось шельмовать перед теми же студентами мой последний учебник, мой самый дорогой труд?

– Шельмовать? – широко раскрыл потемневшие, даже где-то в глубине искристо взблеснувшие от неожиданности глаза Меньшенин. – Вы в самом деле так считаете? Остается лишь развести руками... А впрочем, вы хороший капитан...

– Что, что?

– У вас, дорогой родственник... вы не обижаетесь, что я так интимно вас называю? Нет? Ну и слава Богу, я так и думал, все-таки мы у себя дома... Так вот, у вас превосходная футбольная команда, – интернациональная, блеск! Вы прекрасно осведомлены о самых незначительных интересующих вас начинаниях...

– Не хамите, Алексей, это вам не идет... тон, тон! – опять возмутился Одинцов, теперь уже совершенно позабыв о первоначальном варианте разговора. – Потрудитесь обдумывать свои слова!

– Обдумываю, обдумываю, как же иначе? Знаете, давление слишком поднялось, пора, пожалуй, расходиться, – сказал зять. – Женщин волновать незачем. Спокойной ночи...

– Алексей...

– Да?

– Не хотите ли рюмку коньяку? – предложил шурин, с несколько виноватой ноткой в голосе. – Женщины женщинами, разумеется, это важный предмет, но нам как-то придется договариваться... жить ведь надо.

– Жить надо, – согласился зять, опять с насмешливым блеском в глазах. – И коньяку выпить надо... что ж, коньяку выпить неплохо.

Он вернулся на свое обычное место, Одинцов достал бутылку и рюмки, и вскоре они уже чокнулись и выпили; зять сразу до дна, а шурин едва-едва смочив губы.

– Вот и хорошо, – сказал Одинцов с облегчением. – Может быть, тебе, Алексей, дать рюмку побольше?

– Можно больше, – согласился Меньшенин, ощущая какое-то странное состояние отрешенности и пытаясь понять, что это такое; он взял из рук шурина большой хрустальный фужер старой ручной работы с каким-то вензелем, чуть ли не до краев налитый золотисто-темной жидкостью, и поблагодарил кивком, затем вздохнул. – И все-таки, Вадим, жизнь хороша, и я желаю ей продолжаться вечно, – сказал он, отпивая из фужера. – Хороший коньяк, даже я, дилетант, вряд ли ошибусь в оценке. Что с вами, Вадим?

Одинцов, застигнутый врасплох, не стал скрывать своей растерянности.

– Почему-то мне сегодня немного не по себе, – признался он. – С утра голова болела, с трудом дождался вечера. И возраст не такой уж преклонный, а я иногда... вот как сейчас, кажусь себе невероятно старым...

И тут их глаза встретились.

– Давно известно, многие знания, многие скорби...

– Не надо, Алексей, к чему? – остановил зятя Одинцов. – Дело ведь не в том, что придется умирать, данная формула не подлежит обсуждению... вот кому свое дело оставить?

– У вас, Вадим, какое-то необъяснимое, упадочническое состояние. Кроме того, рядом с вами такая многогранная личность – профессор Коротченко, я думаю, он спит и видит себя в директорском кресле... А жить он будет долго! – Меньшенин засмеялся, разом допил свой бокал. – Новый интернациональный тип проклянулся в эпохе: все уметь, ничего не делать, всем руководить и жить не менее ста лет. А самое главное, все контролировать: *не повредит ли это дальнейшим видам России!*

– Что, что? Ах да, как же! Вы все шутите, – не принял его тона Одинцов. – Команду какую-то придумал... налить?

– Ага, валяйте, Вадим, – оживился еще более Меньшенин, уже и без того возбужденный, раскрасневшийся, и с более резкими, чем обычно, стремительными глазами. – Говорить – так говорить начистоту! Слово фронтовика, дорогой шу-

рин, я еще ни разу в жизни не сказал того, чего бы потом стыдился. Что ж обижаться, если ваша команда действительно идеально подобрана? Вы – стратег, подобного дара у вас не отберешь...

– Алексей, прошу потише, спят ведь...

– Хорошо... Я не закончил свою мысль, простите, Вадим... вино ведь для того и существует, чтобы сблизить. – В словах зятя звучала полувопросительная мягкая интонация, но ему в глаза Одинцов взглянуть не решался. – Весь парадокс заключается в ином, Вадим. Ведь у вас всего лишь иллюзия власти, а управляете не вы, все диктует ваша команда. А ее кто составляет? Подобранная по принципу однородности – воинствующая, сплоченная в один монолит серость. Боже мой, можно одолеть Гималаи, пройти сквозь огонь, но серость... Ого! То, на чем держались династии, эпохи, царства, – серость... Высшей марки цемент, не пропускающий ни солнца, ни влаги, ни воздуха!

– Не заходите в глушь, Алексей, в сплошную темень, там нехорошо, давайте лучше еще по рюмке и спать, – предложил Одинцов, взял бутылку, несколько помедлил, успокаивая руки. – Вы должны пересмотреть свое отношение к происходящему, Алексей... Серость? Коротченко? Другие? А кто прозрел загадку жизни? Я? Вы? Ваш горячо любимый Климентий Яковлевич? У которого, по-вашему, кроме чрева ничего нет? Ох, как вы ошибаетесь! А если та самая середина, серость, цемент, как вы выражаетесь, нужны боль-

ше, чем такие вот неуправляемые анархисты, как вы? А если в том замысел провидения, его желание сохранить жизнь подольше, дать ей возможность идти вперед медленнее, зато безопасней? Или вы готовы взять на себя смелость дать окончательный результат?

– Никто этого никогда не определит, зачем? – отозвался Меньшенин, пристально рассматривая коньяк в своем хрустальном бокале. – Вы подбросили мне интересную мысль, право, жаль, я сейчас не могу сосредоточиться. Мне впрягаться в эту телегу поздно... и... я – пьян, дорогой шурин... ну...

Он оглянулся, – у двери белой тенью стояла Зоя в большой белой пуховой шали, наброшенной на плечи и скрывавшей ее пополневшую, особенно за последний месяц, фигуру; она подошла к столу, мягко взяла из рук мужа фужер и поставила его на стол.

– Не надо больше, Алеша, поздно... И ты, Вадим, не забывай, у него контузия, после ваших вечеров болеет. Идем, идем...

– Ну, почему ты всегда такая умная? – с нежностью протянул Меньшенин, влюбленно не отрывая от жены взгляда. – Ну, что ни слово, то золото... Зоюшка...

– Вставай! А то ты меня знаешь...

– Все, пощади, уже встал! – Меньшенин тут же вскочил, шагнул к ней, поцеловал в щеку.

Они все втроем еще поговорили, но разговор их все боль-

ше касался Зои и ее положения; проводив сестру с зятем, Одинцов прилег на диван и долго лежал с открытыми глазами и напряженным лицом, вновь и вновь возвращаясь в мыслях к недавнему; Меньшенин в это же самое время, с бережением и ласковыми шуточками, помог жене раздеться и лечь, а сам в каком-то нервном возбуждении прошелся несколько раз по комнате.

– Алеша, – внезапно окликнула Зоя, – подойди, пожалуйста... сядь...

Он сел на край кровати, взял ее руки в свои.

– Ты мне веришь, Алеша?

– Да...

– Нам нужно искать жилье, – сказала она, – мужчина должен быть хозяином в своем доме. Я очень люблю брата, но я вижу, как ты тяготишься своей зависимостью от него. Я хочу, чтобы между вами сохранялись добрые, дружеские отношения. Нам надо жить отдельно...

– Вот как. – Меньшенин не смог скрыть ласковой иронии и сильно потер лоб. – Я как-то об этом и не подумал... Ты не сгущаешь?

– Нет, ничего я не сгущаю и не преувеличиваю, – тотчас возразила Зоя. – У нас своя семья, мы должны научиться жить самостоятельно.

– В таком положении? – спросил Меньшенин, с бережением опуская руки на тугой, выпуклый живот жены и поглаживая его. – Вот о чем надо сейчас думать и беспокоиться.

Давай отложим этот разговор, не надо искушать судьбу... я боюсь за тебя...

– А я за тебя, Алеша, – сказала Зоя, приподнимаясь на локте, а затем и садясь в постели; – Степановна нам поможет, я и с Жорой Вязелевым говорила, он тоже советует. – У нее в голосе, в глазах появилась незнакомая ему до сих пор сила убежденности. – Алеша, Алеша, ты что-нибудь скрываешь от меня? Боже мой, как ты смотришь! Как бы я хотела знать, о чем ты думаешь? О чем?

– Не надо волноваться, – попросил он, обняв ее, прижал ее голову к своему плечу и долго молчал, затем, заглядывая в глаза, стал целовать ее подурневшее лицо; она как-то не по-женски беззвучно плакала.

– Алеша...

– Молчи, молчи, мы с тобой счастливые, у нас родится сын...

– А потом?

– Он вырастет, и у него тоже будет честная и прямая дорога солдата и безымянная, непреходящая слава... все остальное выбрось из головы, обо всем остальном позаботится кто-либо другой. И за меня не бойся: люблю сильных врагов, – мускулы напряжены, все в тебе готово к последнему прыжку... спи, мне нужно посидеть часок... пойду в гостиную...

– Побудь немного, я одна не усну сегодня... Я так в детстве любила сказки, Расскажи что-нибудь еще, – попросила она, и он, тихо улыбаясь, неловко пристроился рядом; она

повозилась, повздыхала, и, минут через пятнадцать услышав ее успокоившееся, мирное дыхание, он выскользнул у нее из-под руки, погасил свет и осторожно прокрался в гостиную. Пришла глухая полночь, все в доме замерло, и только в стенах жил ни на мгновение не затихающий гул большого города; в уютном домашнем полумраке что то переменялось; от предчувствия надвигающихся перемен звонким обручем стиснуло голову, и он услышал зашумевшую в висках кровь. Пошатываясь, боясь открыть глаза, он почти ощупью добрался до дивана, осторожно опустился на него, пытаясь пересилить теперь уже черную горячую боль, насильно раздвинул губы, стараясь изобразить улыбку. Кого он пытался задобрить этой улыбкой? Он не знал; он знал, что это иногда помогает, сейчас же ничего не получалось. «Какой беспокойный день, – подумал он. – Должно что-то случиться, идет перемена всего... Ведь я этого и жду вот уже столько времени».

Он почувствовал, что над ним кто-то склонился, но удивиться не успел, – на глаза ему опустилась прохладная, забытая, все равно сразу же отдавшаяся в нем глубоким покоем рука. Это пришла мать, он узнал ее руку, и ее глаза, пробившиеся сквозь сухую дымку.

«Да, – сказала она, – да, Алешенька, ты теперь совсем взрослый, и все плохое кончилось. Дальше будет только хорошо, я тебя благословляю, мальчик. Только не оглядывайся, слышишь, никогда не оглядывайся».

Она трижды перекрестила его, он хотел поймать ее ру-

ку и поцеловать, – его сердце билось ровно и спокойно. Он знал, что он спит, но он также знал, что это нечто большее, чем сон, – он пытался поднять тяжелые, свинцовые руки и не смог.

* * *

Он с недоумением и недоверием оглядел добротную старую мебель, потемневшие от времени картины. Несмотря на поздний час, жизнь в городе еще не совсем затихла; и тут он подумал о возможности прошлого оживать в любой, даже самый неподходящий момент. «Как же, как же, что за девственность! Не пощекочи, не тронь... И не чихни, – не преминул он сказать самому себе. – Вот жизнь она какая, острие финки, нужно умеючи глядеть ей в глаза с улыбкой, даже если душу мозжит. Хочешь свое самое дорогое отстоять, себя отстоять – соответствуй!»

Подойдя к столику с телефоном, он взял блокнот для записей и карандаш. Вырвав страничку, написал несколько слов жене, сообщил о необходимости уйти из дому, пообещал все подробно рассказать, прибавил, чтобы она не беспокоилась, заставил себя внимательно перечитать написанное, и скоро уже сидел на кухне у Вязелева, а тот, почесывая заросшую дремучим бурым волосом голую грудь, никак не мог прийти в себя и, наконец, выругался.

– Знаешь, пошел... Ты чего шепчешь? – закричал он. –

Ты что, глухой? Не слышал, я один дома, жена к матери в Орел рожать уехала... Чего шепчешь?

– Ну, ну, что ты взъерошился... У тебя что-нибудь есть выпить? – спросил Меньшенин, привыкая к совершенно иной обстановке и посмеиваясь про себя над рассерженным старым, еще школьным товарищем.

– Есть, вино есть, коньяк есть, все есть! Ничего не дам, ты и так сумасшедший!

– Жора... не будь мелочным, – попросил незваный ночной гость. – Ты забыл, какой у нас на дворе месяц? Помнишь Смоленск, переправу по трупам, – ты мне как-то рассказывал... Соловьеву переправу... ах, соловьи, соловьи, не тревожьте солдат... залетные, курские, орловские...

– Молчи! молчи! – внезапно вспыхнул хозяин, до этого ошалело тарасившийся на Меньшенина. – Я вина достану, только что аспиранты приволокли! – сообщил он, извлекая из-под стола большую оплетенную лозой бутылку и наливая из нее в стаканы темно-красного густого вина.

– Соловьи... соловьи... говоришь, ребра у раненых, как капуста...

– Молчи! – теперь уже бешено выкрикнул хозяин, и выкаченные белки его глаз тускло сверкнули. – Бери, – пей! Дурак! Все забыл! Всех забыл! Меня забыл, Сашку Гурьянова... Молчи! молчи! – трескуче затопал он ногами. – Ты хоть раз у него был за эти годы?

– Где уж, такое светило теперь, – не подступишься...

– Трижды дурак! В одном классе штаны протирали, в одной кровавой купели задохались! Ах ты, Боже мой, Боже мой, ты же, кажется, надежды подавал!

– Перестань, Жорка, зачем там трагически? – удивился Меньшенин. – Схожу как-нибудь к Сашке, – пообещал он. – Ты радуйся, жить остались... Давай вместе возрадуемся, – предложил он и, взяв стакан, приподнял его. – Ну...

– Давай возрадуемся, – согласился хозяин и тоже поднял свой стакан. – Люди-то какие кругом... а женщины какие, – рожают! Жизнь-то, жизнь! Сталин, слава тебе, угомонился, какие-то веяния начинаются... Не знаю, так ли уж ты прав. Надо еще повременить, проверить себя... Многое и станет ясно.

Почему-то встав, они долго молчали, затем выпили и опять притихли.

– Да, Жора, Сталин ушел, и на дворе август, – неожиданно сказал Меньшенин. – Вроде бы только вчера и случилось, а вот уже и осень... Спасибо, ты ведь всегда мог заглянуть в изнанку, Жора, – у тебя такая замечательная особенность...

– А ты просто прирожденный психопат, – с несвойственной ему прямоотой и резкостью оборвал Вязелев. – Что ты такое городишь? Как можно кощунствовать? Пусть тебе плохо, пусть ты умираешь, но и другое! Та же Соловьева переправа, сорок первый, наш с тобою класс и наш старый историк – Веньямин Андреевич Гостев. И Сашка Гурьянов... это выше наших минутных страстей. Не кощунствуй, Алешка, говори

прямо...

– Ничего особенного, сегодня разговаривал с дорогим шурином...

– Отказал?

– Отказали... Они с Коротченко, думаю, даже не рискнули обратиться выше. – Меньшенин опять потянулся к стакану, повертел его в руках, – остатки вина на дне напоминали сгустившуюся кровь. – Впрочем, неважно, я как-то уже остыл...

– Я же тебе говорил, ты не слушаешь, – вздохнул Вязелев. – Зачем ты их дразнишь? Ты думаешь, им какие-то идеалы нужны? Вот что им важно!: – Тут он, задрав подол сорочки, звонко шлепнул себя ладонью по волосатому голому животу, и Меньшенин поневоле рассмеялся. – А ты наплюй! Одинцов свое дело знает, но ты от него лучше уходи, с ним рядом нельзя, – сожрет. Никому не прощает превосходства, он тебе завидует, – ты же прикинуться не умеешь. Не хочешь! Дурак! – в очередной раз обругал его Вязелев. – Обмануть подлеца – значит праведно идти вперед! Как на это еще смотреть?

– Ну, Жора, – опять улыбнулся Меньшенин, – загибаешь слишком уж не по-русски. Потом, куда уходить?

– В любой другой институт, в музей, в архив – мало ли места? В школу куда-нибудь... Чем школа тебе нехороша? – спросил Вязелев и, порывисто вскочив, выметнулся вон и тут же вернулся с тарелкой больших сочных груш. – Ешь. Из его

дома тоже уходи, я тебе сам помогу. Хоть ко мне уходи...

Он схватил грушу, откусил полбока и вопросительно уставился на гостя.

– Ну да, у тебя жена рожает, у меня скоро родит, вот образуется коммуна...

– Уходить все равно надо!

– Пожалуй, – неопределенно кивнул Меньшенин. – А я сегодня никак один не могу...

. – К другу пришел – к себе пришел! Куда тебе еще идти? Молодец! – заверил хозяин и опять налил по стакану вина.

– Знаешь, Жорка, жена заснула, а я не могу, вышел в гостиную, голова... Перепил, с непривычки – угли под черепом... Я тебе как-то говорил, под Кенигсбергом меня по затылку припечатало. Ну вот, вышел, сел, лампочка маленькая, а кругом из стен – рожи проступают, лезут. И все наши с тобой знакомые рожи, кривляются, сволочи, безобразничают. Ты знаешь, такой момент был... у меня хвост вырос, а наш Коротченко потихоньку вылез из стены, подкрался сзади, ухватил и дергает! А? Я рвусь, а он не пускает, висит у меня на хвосте, а рожа у него... визжит, пена на губах...

– Вот еще чушь! – возмутился хозяин. – Перестань...

Глядя на его лицо с разъехавшимися глазами, гость весело подмигнул и выпил вина.

– Знаешь, Жорка, во мне что-то переломилось, – сообщил он оживленно. – К черту, думаю, к черту! Если самой России не нужна ее собственная история, то при чем же здесь я? Да

пошло оно все псу под хвост! В конце концов нам-то хорошо известно, что любая возникающая тенденция, прежде чем смениться другой, часто противоположной, должна пройти все фазы развития: становление, расцвет, упадок. Что я буду биться головой о стену? Я, кажется, начинаю понимать, у меня что-то намечается...

– Что же у тебя намечается?

– Не знаю пока, – признался гость. – Чувствую благодатное освобождение от себя, от своей тоски, от дорогого шурина, наконец, от русской истории. Зреет что-то высшее, ничего уже профессору Коротченко не удастся, хвоста не будет. Праздник!

– Лучше пей, грушу, грушу возьми... Чепуху какую-то несешь, – вздохнул хозяин. – Давай еще по стаканчику – и спать, лучше мы их за хвост подергаем! Спать! А то я тебя побью, Алешка!

Пытаясь понять причину такого неудовольствия друга, Меньшенин взглянул в его разгоревшееся лицо с мощными густыми бровями и подумал, что Вязелев, скорее всего, нервничает из-за жены. Оставив полный стакан, он встал, подошел к окну, отодвинул штору, – перед ним была спящая Москва, а дальше вокруг нее – чуткие, настороженные и во сне леса, немолчные реки; ему даже показалось, что он увидел под причудливо изогнутой старой ивой тихонько покачивающуюся лодку; словно слепящий луч рассек тьму ночи, вырвал из нее какую-то часть потаенной, никогда не затуха-

ющей жизни, и тут же погас.

Что-то заставило его оглянуться, – бледный, как мел, Вязелев смотрел провалившимися, дикими глазами.

– Жорка, что с тобой? – рванулся было к нему Меньшенин, но Вязелев стремительно попятился, выставил вперед руки, как бы защищаясь.

– Стой, не подходи! – крикнул он охрипшим внезапно голосом. – Какое сегодня число?

– Сейчас третий час, значит, уже пятое августа, – ответил Меньшенин. – Да что с тобой происходит, Жора? Перебрал?

– Стой! А год... год... год пятьдесят третий, – сказал сам себе рвущимся от удушья голосом Вязелев, испуганно оглядываясь и кусая пересохшие губы. – Боже мой, Боже мой... не может быть... и однако... что же это такое?

– Жора...

– Молчи! – опять от какого-то непонятного Меньшенину потрясения закричал хозяин. – Такого не может быть... но что же это... бред... мираж? У меня жена рожает... у меня мозг горит!

Он даже попятился, опять словно впервые увидев Меньшенина, он оторопело замахал на него руками, ему хотелось все бросить и бежать, куда глаза глядят; он весь сник, шаркающими, старческими шагами подошел к своему старому письменному столу и глухо сказал:

– Налей вина... садись и слушай... только ни слова... перестань скалиться, идиот! – совсем вышел он из себя. – У

тебя мозги набекрень, ты совсем не то думаешь... Садись...

11.

Ворочалась душная тьма, давила, и он сам куда-то полз, протискиваясь в узкой норе; уже много раз он был готов обессиленно притихнуть и навсегда раствориться в наползавшей на сознание серой мгле. Существовало и еще нечто, – казалось, земля разверзлась и разорвала мир и его самого надвое. Небо тоже исчезло. Ни назад, ни вперед дороги не было; он словно увидел свое начало, он, передавленный большой дождевой червь, никак не мог дотянуться именно до изначальной точки, где, завершив свое предназначение, должен был навсегда исчезнуть. И опять, это была не мысль, а скорее смутное чувство.

Сглатывая сочившуюся горлом и скапливающуюся во рту кровь, раненый теперь ощущал всего себя целиком, и это уже было сносно, терпимо. Вот только кровь все убывала, голова становилась легкой, звенящей, – тупая боль, время от времени нестерпимо оглушающе рвущаяся куда-то вверх, в мозг, тоже притихла и отступила.

Раненый лежал в небольшом углублении, образовавшемся весной от размыва, содранная кожа на лице засохла и зудела – падая, после тупого толчка в грудь, он проехался по каменистой, глинистой земле юзом. К непрерывным, надсадистым толчкам взрывов он уже привык, но воспаленные, тоже начинавшие слабеть глаза он еще оберегал; каким-то непо-

стижимым образом угадывая, когда именно сверху должен был просыпаться сухой песок, он неловко отворачивал голову, зажмурился, или, если боль усиливалась, оскаливался, сухие зубы неправдоподобно белели на вспухшем грязном лице. Еще ему казалось, что из тесного случайного укрытия нелепо и огромно торчат его ноги и что они далеко видны среди поля, и, мучаясь этой своей назойливой мыслью, он старался поджать и устроить ноги удобнее. Из своего укрытия он видел только небо, жиденькую, выжженную голубизну, густо испачканную рваными ключьями дыма, медленно наползавшими откуда-то с севера и исчезающими в противоположном направлении; перед ним возникали какие-то далекие, неясные картины.

Близился вечер, дым ржавыми прожилками перемежался с косыми, предзакатными низкими солнечными лучами. По-прежнему хотелось пить, правда, менее мучительно, чем час или два назад. Раненый, давно утративший способность испытывать страх, пользуясь этой короткой передышкой, когда боль чуть притихла, стал подробно, насколько мог, перебирать все с момента тупого толчка в грудь: как он очнулся, задыхаясь от горького чада, извергавшегося из горящего поблизости танка, как стал блевать кровью и с трудом отполз в наветренную сторону, затем опять провалился в черноту. Вторично он очнулся от подхватившей и поволокшей его по изрытой земле взрывной волны; вначале он подумал, что все это ему снится, – качающееся небо, проваливающаяся-

ся под ним земля. Немецкие танки рвались к переправе, стараясь во что бы то ни стало перехватить неумолимо суживающуюся горловину, втягивающую из бурлящего котла десятки тысяч человек, разрозненных, но не потерявших способности к сопротивлению. Их энергия прорваться из удушья петли оставалась предельно высокой; ни танкам, ни немецким самолетам, непрерывно, без роздыха, клевавшим переправу, ни хмельным, отупевшим от августовской небывалой жары и вонявшим распаренным сукном автоматчикам не удавалось сделать последний рывок и замкнуть горловину котла. Бурлящая, задыхающаяся от жары и гари кровоточащая масса, заваливая прорывающиеся танки искромсанными трупами, продолжала стремиться к переправе, бездонной воронкой неумолимо втягивающей в себя с одного берега еще нечто организованное, деятельное, живое и низвергающей на другой берег искромсанное, кровоточащее, бесформенное месиво солдат и машин, лошадей и кухню, орудий и зарядных ящиков.

Мысли, непривычные, расплывчатые, обволакивающие, словно миражи, сменялись острыми приступами боли или тупого безразличия и к себе, и к тому, что происходило вокруг; тогда раненый как бы разделялся надвое, один, отвратительно беспомощный, искалеченный, все время мучительно хотел пить, стараясь не шевелить высохшими вздутыми, взявшимися черной коркой губами; второй же был где-то на отдалении и воспринимал происходящее, в том числе и са-

мого себя, как бы со стороны. К вечеру жара стала совершенно нестерпимой, он подтянул руку и кое-как прикрыл ею голову и подумал о счастье перестать быть, дышать, думать, испытывать боль и жажду. «Нужно всего лишь сосредоточиться и остановить сердце», – мелькнула из марева предательская мысль, и он попытался набрать в грудь как можно больше сухого, горького воздуха. «Вот сейчас... ну же, ну... сейчас, – приказал он себе, чувствуя приближение боли, остро ударившей в затылок, а затем жаркой темнотой в глаза, и тут же последовал короткий раскаленный вскрик: „Не сметь!“ И он весь опал, как пустой мешок, и теперь только молил, чтобы раздирающий приступ с оглушающим ударом в мозг не повторился, – ему еще нельзя было уходить окончательно, еще не все долги были закрыты и оплачены.

И он опять стал вспоминать, как был ранен, и какой-то изможденный, с полубезумными глазами солдат, а это и был Вязелев, затащил его в воронку от бомбы, еще наполненную острой гарью недавнего взрыва, и, поминутно дергая головой, наспех перевязал; раненый вспомнил и второе, длинное и злое лицо, в чем-то неуловимо знакомое, вспомнил, как этот второй с длинным лицом, оттолкнув неумело суетившегося товарища, туго стягивал ему предплечье, затем в памяти опять следовал провал; да и самого момента ранения он никак не мог вспомнить. Кажется, его подхватило, поволокло, и он, раздирая кожу, стал хвататься за высохшую в камень землю, – на том и кончилось, он больше ни-

чего не помнил. Приступы лихорадки перемежались у него с бредом, бред мешался с явью, в горечь жаркого летнего дня бесшумно и соблазнительно вползали вчерашние сны, – они были странные, обрубленные с обоих концов. Выбираясь из провалов, он прежде всего осознавал небо, высокое, бесконечное даже и в безобразных рваных дымах, и затем уже возвращался к себе. Он боялся этого – тотчас подступала жажда.

Предчувствие новой, еще худшей перемены, в очередной раз пришло к нему после короткого забытья перед вечером, он метался, стонал и даже пробовал куда-то ползти, но ничего не мог переменить. Смердное мертвое поле шевелилось от взрывов, и степлившаяся грязная река несла обожженные, безобразно вздувшиеся от жары трупы; по-прежнему вокруг переправы бушевали черные вихри взрывов, и стоял сплошной стон тысяч и тысяч умирающих, осатаневших от боли, жары и злобы, но раненый всего этого не замечал. Теперь он мучился от прохладной женской руки, лежавшей у него на лбу, – он не понимал, как это получилось, но открыть глаз не мог. Тогда он дернулся затылком по высохшей, железистой земле, и мучившая его своей прохладой рука соскользнула; он поднял налитые свинцовой болью веки и постепенно перед ним прорезалось знакомое лицо, – рядом с ним была жена. «Нехорошо, – подумал он обеспокоенно. – Зачем? Что я ей скажу?» – «Как же так, Ваня, – услышал он ее тихий голос. – Столько лет и ни одного словечка... Алешка уже вы-

рос и ушел а тебя все нет и нет... А я совсем состарилась без тебя...» – «Как бы я хотел, чтобы ты знала, как все обстоит на самом деле, – сказал он, стараясь даже в бреду не выдать запретного. – Но я не могу... И ничуть ты не состарилась, ты стала еще лучше...» – «Очень болит?» – спросила она, и лицо у нее погасло, резче обозначились тени под глазами, и стал заметен ее печальный возраст. «Очень», – сознался он, и тогда она опять положила прохладную, узкую ладонь ему на лоб и беззвучно заплакала; пожалуй, всю свою жизнь он ждал этой минуты, сразу же смывшей с души всю накопившуюся обиду и горечь, но он даже не мог сейчас прикоснуться к этой руке губами. И она словно угадала его желание, – чуть-чуть, кончиками пальцев, потрогала ему распухшие губы и растаяла.

И тогда, сквозь смрад пожараиц, прорезалось солнце, незрячее, без лучей, – оно жгло невыносимо, мысль о воде сводила с ума. Спасаясь от проникающего в мозг и выжигающего его черного зноя, он судорожно стиснул веки, – зной рвался и сквозь них, мозг начинал закипать... И затем все, словно в один миг, кончилось. С трудом пересиливая тупую, застарелую боль, он приоткрыл глаза, и тут же рванулся, задрожал от жадности – прямо в лицо ему лилась, хлюпала вода; раздирая ссохшиеся губы, он стал хватать ее, и Вязелев, поивший его из фляги, повременил, дал ему еще несколько глотков, затем смочил ладонь и осторожно вытер ему лицо и шею.

Солнце, кроваво-мутное, садилось. Сумрачные тени на-ползали на низины, на реку; схватка за переправу дошла до высшего ожесточения – грохот, стон, боль, невыноси-мая, пропитанная звериной ненавистью атмосфера бойни уже стали привычными; Вязелев напоил раненого, ощущая дрожь во всем теле и особенно в руках, – он все еще пережи-вал недавнюю схватку с каким-то остервеневшим, потеряв-шим человеческий облик лейтенантом, перехватившим его у реки и заставлявшим куда-то бежать и что-то выполнять... Лишь новая волна прорвавшихся от Смоленска истрепан-ных, озлобленных, разметавших перед переправой жидень-кий комендантский заслон отступающих избавила Вязеле-ва от назойливого блюстителя порядка. Немецкие танки, об-стрелявшие в этот момент переправу, визг раненых лошадей, орудия, втаскиваемые на переправу прямо по мертвым и рас-ползавшимся из-под колес раненым, бросившийся к озве-ревшим артиллеристам лейтенант с явным намерением на-вести и там подобающий порядок, и притом не забывший оглянуться на Вязелева и подавший ему знак следовать за собой, – все это пронеслось как в калейдоскопе и исчезло, – Вязелев, все еще раздумывая, чем это он так не понравил-ся лейтенанту у переправы, вжался в землю. «Юнкерсы», выстроившись над Днепром в бесконечную карусель, стали долбить переправу, и Вязелев, стараясь отползти от берега подальше в поле, косым боковым зрением увидел взлетев-шую вверх и там брызнувшую во все стороны, куда ствол, ку-

да колеса – какую-то гаубицу; больше всего Вязелева поразила человеческая фигура, намертво вцепившаяся в оружейный передок и вместе с ним навсегда куда-то исчезнувшая.

Вязелев еще не пришел в себя после своей вылазки, но все-таки раненый теперь дотерпит до темноты, да и воды немного оставалось, – Вязелев время от времени облегченно кривил губы. В почти полузасыпанном окопе, их временном убежище, было беспокойно, – Вязелев видел непрерывные струйки песка, от частых взрывов вздрагивающие вместе с основной землей. Песок сыпался из-под обнажившихся побелевших и загрубевших корней пырея, росшего когда-то сильным пучком; стебли травы теперь поблекли и лишь у самого корня сохраняли зеленоватый оттенок.

Солнце садилось в густом дымном чаду; на горизонтах почти круговую начинали проступать тяжело набухавшие зарева; резче становились запахи гари, и смрад тронутых жарой трупов полз по земле.

Наморщив лоб, пытаясь сосредоточиться и удержать себя на месте, Вязелев с трудом подавлял нерассуждающее почти желание вскочить и броситься куда-то в поле, и бежать, бежать, плутая, как зверь, неизвестно куда, – только бы подальше от этого проклятого места... Если бы рядом не было беспомощного раненого, вернее, умирающего, он наверное так бы и сделал, – он вцепился в затвердевший от жары песок, помедлил. В глазах понемногу прояснялось, поморок вроде бы стал проходить. Теперь он с беспокойством думал

о Гурьянове, – тот давно уже должен был появиться. Один, в сплошном безумии, он не справится с раненым капитаном, через переправу ему не пробиться, затопчут или сбросят в реку, да и до самой переправы в таком хаосе не добраться. Обстрел продолжался непрерывно и, казалось, еще усилился с наступлением сумерек, – головы поднять было нельзя. Вот еще один снаряд трескуче лопнул совсем близко, и Вязелев, страдальчески морщась, выругался, – рядом сухо шмякались осколки и комья земли. Затем он услышал: пошли танки. Они были еще далеко, но гул их моторов уже ясно выделялся из общего звучания боя, прорывался как бы из самой земли. Сразу же в воронку свалился и Гурьянов, – возбужденный, деятельный; увидев его, грязного, невредимого, Вязелев обрадовался.

– Наконец-то! – вырвалось у него, и он для облегчения выругался.

– Такой бардак! – сказал Гурьянов. – Самим надо выбираться... недалеко у берега бревно есть, приметил, выволок наполовину из воды... Как? – кивнул он в сторону раненого. – Эй, дядя, слышишь?

– Напоил его... чуть какой-то псих не схапал, топор в руки сует, переправу чинить... видишь, окончательно обессилел. Вот навязало его на нашу голову, – сказал Вязелев. – Как же его до реки-то тащить? Кто такой? Что-то глаза его в мозгу сверлят, похож на кого-то, черт возьми! Ближе же совсем...

– Я тут дверцу от машины приволок, пусть еще чуть стем-

неет. А то нас или немцы, или свои обязательно пришьют...

– Как-нибудь дотащим! – подумал вслух Вязелев.

Гурьянов промолчал, засопел, стал, неловко ерзая и перекидываясь с боку на бок, искать что-то по карманам. Нашарив пачку папирос, он ухитрился все-таки смастерить из размятых папирос сигарку, затянулся сам, дал Вязелеву.

– Нам еще везет до сих пор, – сказал Гурьянов, стараясь удерживать себя в решительном, злом настроении. – Мы до сих пор вместе и даже еще живы...

– Из-за него, – кивнул Вязелев на раненого капитана, но его товарищ опять промолчал и, как показалось, неодобрительно, – логика здесь была бессильна, хотя кто-то из них, конечно же, был прав. За последние два или три часа их давно бы разметало в разные стороны, – держал их вместе неизвестный раненый, его беспомощность, его едва теплившаяся жизнь, казалось, от малейшего дуновения готовая прерваться. И Смоленск, скорее всего, у немцев теперь...

Гурьянов поморщился, ему не хотелось думать об этом, он не герой и не нарком, у них сейчас одна-единственная задача – перебраться на тот берег вместе с беспомощным капитаном, хоть как-нибудь пристроить его, а там дело покажет. Они уже дважды пробивались из глухого окружения, пробьются и на этот раз вопреки всему, – тугодум Вязелев, как всегда, конечно, прав – самое главное, подальше от начальнических глаз, от этого охваченного безумием человеческого стада, и неважно, сколько потом придется жить и как уме-

реть, главная переправа выпала им сейчас.

– Пожалуй, пора, – вслух подумал он, приподнимаясь и оглядываясь вокруг.

– Была не была, – согласился и Вязелев. – Эй, дядя, очнись, – позвал он, ощупывая в полумраке заострившееся лицо раненого, и скорее почувствовал его остро блестящие, совершенно ясные, осмысленные глаза.

– Бросьте вы меня, ребята, – сказал внезапно раненый капитан отчетливым шепотом и в горле у него захрипело и забулькало, дальнейшие слова трудно было различить.

– Молчи, молчи! – зло оборвал Гурьянов. – Много ты понимаешь, а еще капитан... Дурак, а не капитан! Ну-ка, Жорка, давай бери его, выволакивай... давай впереди, ты поухватистей, под плечи... под плечи... терпи, дядя, терпи... все мы братцы-кролики под этим небом...

Стиснув зубы, раненый замолчал; темное поле под черным от дыма небом уродливо и непрерывно шевелилось, во всех концах беспорядочно стреляли, вспыхивали обнаженно яростные шумы, опадали, с новой силой возникали всплесками вновь, уже в совершенно ином месте.

Раненого капитана положили на ту самую дверцу от машины, которую приволок Гурьянов, но взяться за нее, поднять и нести оказалось не так-то просто; беспорядочно пошвистывали пули и по всему видимому пространству, правда, теперь реже, рвались снаряды и мины. На юго-западе все шире разрасталось багровое зарево; от него мрак вокруг

сгущался до непроницаемой чернильной черноты. «Смоленск, – подумал Гурьянов, подвигаясь неловкими шажками, боком, по какой-то лощине, пригибая голову, да и весь сам стараясь сжаться, угнуться, стать вполовину меньше. – Все таки стояли насмерть, – ожесточенно, распаяя себя, думал он. – Каждая пядь оплачена кровью, как же они стояли! Стояли! Горели, но стояли! Доволочь бы этого капитана до того берега, сунуть в медсанбат, совсем была бы удача! Со всем хорошо! Стояли и стоим! Возьми, выкуси!»

По ложбинке они спустились в овражек, все больше углублявшийся к реке; раненый в беспомощности стонал; мутное небо с черными разводами колыхалось, проваливалось; неотступный, их то и дело настигал гул самолетов; где-то, теперь уже не очень далеко, урчали танки.

У раненого, лежавшего на неудобной дверце, ноги свисали и мешали Гурьянову; с того момента, как его подняли и понесли, раненый больше не приходил в сознание, и действительность прорывалась к нему рваными кусками, – то к нему долетит тяжелое дыхание несущих его людей, то мелькнет заросшее густой щетиной лицо Гурьянова, то очередной всполох в небе рвано высветит глинистый, обезображенный еще весенним паводком склон оврага.

Стало совсем темно, многочисленные зарева лишь усиливали глубину полуночи; бред у раненого кончился, и он, всматриваясь в далекие и крупные звезды, излучавшие свой загадочный и вечный зов, неожиданно легко собрал и свя-

зал воедино прошедший день; он вспомнил, с каким нетерпением ожидал, вернуться за ним Вязелев с Гурьяновым или нет, а вот теперь никакого страха больше не было. Несмотря на притаившуюся, готовую в любое мгновение вспыхнуть боль, совершенно разъединявшую его с привычным миром, он чувствовал себя покойно и даже прочно; теперь весь мир, со всем своим прошлым и будущим переместился в него; он и мир, он и война, он и оставленный, вновь распятый Смоленск (города, как и люди, обретают во времени ярко выраженную судьбу!), он и затаившаяся в нем смерть, великая русская тайна, которая была больше смерти, – все слилось сейчас в одно, в тайное и глубокое ожидание завершения. Его сосредоточенный взгляд поймал глаза оглянувшегося Вязелева и словно потянул к себе.

– Ты... остановитесь, остановитесь... ребята! Опустите меня и больше никуда не тащите... ну...

– Побудь с ним, я сейчас, – тотчас предложил Гурьянов. – Только дорогу посмотрю...

– Ну, что, капитан, – грубовато-ласково спросил Вязелев, опускаясь рядом с раненым и чувствуя какое-то странное, непривычное ощущение бодрости. – Что ты хотел сказать, капитан?

– Я же вас знаю, оба с Селезневки, – неожиданно услышал Вязелев. – С моим Алешкой бегали...

И тут холод тронул сердце Вязелева, – все это взбесившееся, воющее и душное пространство распалось и во всем ми-

ре остались лишь одни налитые тьмой, притягивающие к себе глаза раненого и его обескровленное лицо, впавшие, заросшие светлой щетиной щеки. Вязелев приподнялся на колени, наклонился ближе к лицу раненого.

– Дядя Ваня... откуда же вы? Да вы уже лет десять как пропали... все вас бросили ждать, и только тетя Таня...

– Молчи, я все знаю, – оборвал его вязкий шепот раненого, и сухой блеск в его глазах пропал. – Я, Жора, из самого пекла... вот, не дотянул... сними с меня цепочку, с шеи... Вот так... надень на себя... Надень, надень... спасибо, это наше фамильное, родовое... передай Алешке ровно через двенадцать лет... слышишь, сегодня пятое августа... день в день двенадцать лет... День в день...

– Да какой там Алешка, – невольно от странности происходящего запротестовал Вязелев, чувствуя, что у него ум за разум заходит и что его полностью и бесконтрольно подчиняет могучая, чужая воля. – Где он теперь, Алешка, его сразу в какое-то особое подразделение зачислили. Потом, что вы, дядя Ваня, – Алешка языки знал, где-нибудь в Генеральном штабе...

– Мое время кончилось, слушай. Я так прошу тебя сделать, Жора, в этой войне тебе повезет, ты отныне из особо отмеченных. – Кривя губы, раненый попытался улыбнуться, что еще больше обессилило Вязелева, и он едва удержался от готового вырваться непотребного ругательства, – вслед за тем его охватил обнимающий, мягкий покой.

– Ну, вот, – чуть погодя опять сказал раненый. – Вот и хорошо. Помни же, ровно через двенадцать лет, пятого августа, – Алешка сам к тебе придет... А сейчас, Жора, забудь... все забудь, весь наш разговор. Наклонись ближе, ближе... вот так...

И Вязелев, закрыв продолжавшие и ночью болеть от нестерпимого солнца, пыли и дыма глаза, ощутил у себя на лице ладонь раненого, опустившуюся затем к нему на потную грудь, и на время, как показалось Вязелеву, беспощадное небо еще более почернело, отодвинулось, и он на какой-то момент впал в забытие. Он не заметил возвращения Гурьянова, бросившегося на землю рядом со злым, перекошенным лицом. И тут раненый капитан опять отчетливо и ясно попросил больше его не трогать и оставить здесь, но его слова только вызвали у Гурьянова новый взрыв досады.

– Замолчи, капитан, к черту! К черту! Духотища-то какая, опупеть можно! Пошли, из оврага выберемся, полегче станет... А то вслепую куда-то прем, берег вот-вот уже должен быть... Жорка, давай его лучше на руки... к черту дверцу, все руки ободрал...

Выбравшись из оврага, они оказались в невысоком, изуродованном березнячке и решили немного перевести дух, но не успели опустить раненого на землю. Весь лесок шевелился и куда-то двигался, – они оказались в самой середине непрерывно ползущей массы солдат, мимо них, набитые до предела ранеными, во тьме, как призраки, проследовали

несколько полуторок, – потянуло запахом старых, гнойных бинтов. Гурьянов бросился к одной из машин, пытаясь остановить ее, вскочил на подножку.

– Стой! Стой! Притормози! – потребовал он, просовываясь в кабину и смутно видя перед собой зло оскалившееся лицо шофера и какую-то, от поясницы до глаз сплошь забинтованную фигуру рядом с водителем на сиденье. Шофер с остервенением выруливал по неровному полю, а сверху из кузова кто-то грубо рванул его за плечо.

– Некуда! Некуда! – высоко взвился женский голос. – Навалили! Один на одном! Пошел, пошел, Федя! – закричала сопровождающая раненых сестра, адресуясь к шоферу. – Гурьянов рванул из кобуры пистолет, сунул в заросший щетиной подбородок водителю.

– Стой, милоч! – рявкнул он и вдохновенно соврал. – По приказанию генерала Лукина! Взять немедленно, один поместится! Герой, капитан!

Машина остановилась, шофер, издерганный мужик с озлобленными, затравленными глазами, поднял руку, отвел пистолет.

– Убери свою дуру, к черту...

Подхватив раненого под мышки, не обращая внимания на обмякшее тело, Вязелев уже тащил его к машине; мимо скрипели повозки, фыркали и хрипели замученные лошади; едко и пряно пахло конским потом; молчаливо и бесконечно шли солдаты, ползли орудия на конной тяге.

– Помоги! – крикнул Гурьянов медсестре, с бешено забившимся от невероятной удачи сердцем. – Ну, ну, ребятки, ребятки... подвинься, подвинься чуток, сюда вот... в угол, – распорядился он, не выпуская из руки пистолета; перебросив ногу через борт, протиснув ее между ранеными, он тотчас, с помощью Вязелева, одним рывком втащил в машину и продолжавшего находиться в беспамятстве капитана, – машина рванулась с места, поползла дальше, переваливаясь по неровному полю, – Гурьянов плюхнулся худым задом на борт. С помощью медсестры, не обращая внимания на ругань, стоны и проклятия, он отодвинул чьи-то ноги в лубках, подтянул кого-то за плечи ближе к кабине и, наконец, кое-как пристроил своего подопечного в угол кузова; рядом закричали, что кто-то умер и мешает другим, но машина уже втянулась в общее непрерывное движение, в медленно стремившийся к переправе поток, и остановиться, чтобы освободиться от умершего, было невозможно. Еще один стал жаловаться, что с ним рядом тоже мертвяк, – давит и не дает дышать. Гурьянов, двигаясь по самому краю борта, рискуя в любой момент сорваться под колеса, подобрался к нужному месту. Жаловавшийся на тяжесть раненый не ошибся; навалившись живому на ноги и на живот, умерший уже законченел, серо проступало его криво запрокинутое лицо, и Гурьянов, изловчившись, перевалил негнущееся, длинное тело умершего через борт; никто ничего не сказал. Машина попала в освещенную полосу и шофер прибавил скорость. Гу-

Гурьянов добрался до второго умершего, подтащил его ближе к борту и стал примериваться, как освободиться и от этого мертвого тела, но кто-то, похожий на большую бесформенную куклу, весь до глаз перетянутый бинтами, зашевелился в середине кузова.

– Стой! Стой! Взводный мой, Васька Петух... не смей, не дам, сволочь! Слышишь, не смей... Что ты их, как последнее дерьмо? Сволочь! Гад! Нацепил наган! Заскочил на ходу и тут же распорядиться! У-у! – Тут последовала звериная матерщина, перешедшая в утробный, больной, бессильный вой; Гурьянов, отдыхая, уронив руки, слушал, затем сам вяло выругался.

– Ну и черт с вами! Везите хоть за Урал... мне что?

– А ты, Кирюхин, что тут за генерал? Заткнись! – грубо закричала медсестра. – Гляди, вон обезноженные ползут пешком, а ты мертвых будешь возить? А-а, прости Господи, давай, давай его... как тебя там, вываливай! – крикнула она Гурьянову. – Лучше двух живых возьмем, глянь по сторонам! Бог простит!

– Ладно, сестричка, – сказал Гурьянов. – Я к вам в грузчики не нанимался... Я его понимаю, товарища потерял. Слышишь, у капитана нашего ранение в грудь, осколочное, и ребра посечены, крови много потерял. Документы при нем, сестричка, а мне пора назад к ребятам, надо...

– Господи, – взмолилась медсестра. – Ты хоть до переправы побудь, с ними с ума сойдешь, – мертвых волокут от са-

мого Смоленска!

Не обращая на ее слова внимания, Гурьянов стал торопливо пробираться к борту; он несколько раз протяжно прокричал в шевелящуюся, стонущую тьму, окликая Вязелева (по его расчетам, они и отъехали метров на сто), но ответа не получил. У Вязелева оставался его автомат, добытый в рукопашной с немцами. Машина резко остановилась, и месиво из раненых и мертвых в кузове со стоном, хрипами, проклятиями дернулось туда-обратно. Гурьянов, уцепившись за борт, и сам с трудом, едва-едва устоял на ногах и не повалился на раненых; от близкой реки тянуло свежестью.

Переправа была недалеко, метрах в трехстах, здесь уже образовалась пробка. Таившиеся днем по близлежащим оврагам, по низинам и березнякам разрозненные остатки отходивших от Смоленска воинских частей, ополченцы, обозы с ранеными, просто беженцы, и еще неисчислимое множество людей самых разных категорий, жаждущих только одного – поскорее прорваться за Днепр, в безопасное, казалось им, место, – все это с наступлением ночи прихлынуло к переправе и теперь неудержимо давило на жиденький заслон, регулирующий движение и пропускающий к наплавному мосту, несколько раз уже разрываемому в течение прошедшего дня немецкими бомбами и снарядами. Теперь как раз саперы закончили чинить настил и мало-помалу через реку уже налаживалось движение, но отступающие войска прибывали и прибывали, Очередь росла. Тут же стали формировать осо-

бый батальон для усиления обороны на правом берегу; переправу нужно было удержать во что бы то ни стало. Через заградительные цепи пропускали лишь раненых, артиллеристов при орудиях, машины, обозы; беженцев пока держали и обещали пропустить сразу после полуночи, но женщин с детьми выталкивали на переправу. Гурьянов тотчас невольно подчинился общему устремлению выбраться за Днепр; своего полка теперь не отыскать, думал он, Вязелев потерялся, неожиданно свалившегося на них раненого капитана удалось пристроить, и большего сделать сейчас было нельзя. Глухой, непрерывный шум висел над рекой, над переправой, над скоплениями солдат и беженцев, машин и лошадей; мелькнула мысль прыгнуть с машины и вплавь перебраться на тот берег. Раненому ничем больше не помочь, в любом санбате сам он принесет больше пользы, – тут же Гурьянов с досадой поморщился. Обмануть себя при желании было легко, еще неизвестно, когда пустят машины с ранеными через переправу, и пустят ли вообще; с минуты на минуту немцы могут начать обстрел, и тогда все здесь превратится в ад, люди и машины начнут расползаться и давить друг друга. По всем правилам, нельзя было допускать такое скопление перед самой переправой, – да ведь о каких правилах можно сейчас говорить? Да что же это такое? – думал Гурьянов с каким-то тупым отчаянием. – Ну, ранен, ну какой то капитан... Что за сила держит его возле этого раненого? Их таких сейчас видимо-невидимо кругом...

– Сестра, сестра, – негромко позвал Гурьянов, стыдясь своих мыслей и страдая. – Слышишь, мой там как?

– Вроде живой пока, – не сразу отозвалась пожилая медсестра, успевшая задремать, пока машина стояла. – Господи, поскорей бы пустили... неужто раненых нельзя пустить?

Ее жалоба осталась без ответа; тут же рядом через реку переправлялся, судя по всему, отряд ополченцев; они раздобыли где-то несколько бревен, соорудили плот, сложили на него оружие и одежду и все пытались устроить на него какого-то Никиту.

– Утону, братцы, утону! – отбиваясь, вопил Никита густым басом. – Воды до смерти боюсь, за сорок лет к речке не подходил! Братцы, помилуйте! Братцы, цыганка нагадала – утонуть мне безвинному!

– Косолапое! – потерял терпение кто-то, очевидно, командир. – Курва! Лезь на плот, пристрелю к... матери! Без цыганки! А ну... у-у, туша, весь плот осел, давай, давай, ребята, держитесь вместе, останемся с голой задницей! Ну...

Каким-то непонятным образом из шевелящейся и стонущей ночной тьмы к машине с ранеными почти вплотную прибилась еще одна полуторка и борт о борт остановилась. Гурьянов присмотрелся и охнул; весь кузов был заполнен сидевшими, тесно прижавшись друг к другу, совсем маленькими детьми; неприятный холодок у сердца усилился. Машина с детьми поползла вперед к переправе, за нею, совершенно вплотную, тронулись машины с ранеными, одна, дру-

гая, третья; именно в тот момент, когда машина с детьми уже втискивалась на зыбкий, хлюпающий помост, Гурьянов, как бывает иногда у сильных, умеющих до конца сдерживать себя людей, кожей почувствовал перемену. Как по мановению всемогущей руки, все словно вздрогнуло, и земля, и небо, и река, и ее берега, усеянные войсками, машинами, орудиями, ранеными; в небе, чуть выше по течению, вспыхнуло несколько осветительных ракет, и мертвенно-бледный свет залил оцепеневшую переправу, – на какие-то доли секунды движение оборвалось и замерло.

В следующую минуту машина с детьми уже ползла, подгребая под себя хлюпающий настил; с каким-то холодным, пристальным любопытством взгляд Гурьянова в один момент охватил и вобрал в себя невероятную, фантастическую картину уродливого скопления людей, припавших к земле, – стала отчетливо видна и рябящая поверхность реки от множества перебирающихся через нее вплавь. Движимый чувством надвигающейся опасности, Гурьянов выпрыгнул из машины, метнулся вперед и одним прыжком оказался рядом с медсестрой и раненым капитаном, – он уже примеривался подхватить его и выволочь из машины.

– Стой! Очумел? – остановила его медсестра, и он, давший ей ранее из-за хриплого, неприятного голоса лет сорок, увидел ее испуганное, почти детское лицо с белесыми замершими глазами и пухлым большим ртом.

– Давай! давай! давай! Мать... мать... мать! – надрывал-

ся регулировщик у самого въезда на переправу и отчаянно крутил рукой; машина, взревев, рванулась и, оказавшись на настиле, поползла дальше. «Ну, как мотор заглохнет?» – в каком-то тупом равнодушии подумал Гурьянов, видя, что на настил вслед за ними уже выбирается еще одна очередная машина с ранеными, и тут весь правый берег пришел в беспорядочное движение...

Неровная, густая цепь солдат, неведь откуда возникшая, разворачиваясь, двигалась от переправы дальше и дальше в темноту; слышались резкие, частые и беспорядочные команды, толпы металась по берегу, и люди горохом сыпались в воду. Между тем, в кажущемся абсолютном хаосе, от переправы разворачивалась и уходила во тьму ночи еще одна цепь; стали густо и часто постреливать прикрывающие переправу пушки. И сразу же распространилось и проникло все пространство и на самой переправе, и вокруг нее слово, вызвавшее у одних полнейшее безразличие, у других густую и жаркую сердечную дрожь, а у третьих застилающий рассудок панический, ни с чем не сравнимый страх.

– Танки! Танки! Прорвались! – прошелестело как леденящее легкое дуновение и над переправой, и над всем вокруг нее; догоравшие ракеты в трепещущем небе сменились новыми, – берег и река все гуще обрастали надвигающейся щетиной взрывов.

– А-а-а! – взметнулся над берегом реки густой человеческий рев, и спрессованная людская масса стала мгновенно

расползаться по правому, утыканному щетинистыми взрывами берегу, обваливаться в реку; настил переправы задержался и заходил ходуном, раненые с тихим воем полезли на борта машины. Медсестра, плача, колотила их по рукам откуда-то взявшейся у нее сумкой из-под противогаза, старалась загнать обезумевших людей обратно; все же трем или четверем удалось вывалиться за борт под колеса и в воду. «Мотор бы не заглох! – с суеверной дрожью стал молить кого-то Гурьянов. – Прямое попадание... лишь бы».

– Помоги, ты! – закричала ему медсестра, остервенело отдирая от борта задеревеневшие в последней хватке чьи-то руки; Гурьянов, безотчетно подчиняясь ее голосу, схватил раненого за костляво напрягшиеся плечи и одним усилием опрокинул его в кузов на место; тот коротко взвыл от боли и, захлебнувшись, затих.

В последние дни Гурьянову не раз приходилось сталкиваться с такими вот безотчетными приступами страха, когда человек забывает все на свете, стремится куда-то бежать и укрыться, и сам он сейчас ощутил в себе вот такое же непреодолимое желание выпрыгнуть через борт куда угодно – под колеса, в воду. Помедлив, Гурьянов заставил себя прыгнуть и, заглянув в лицо раненого капитана, увидел открытые, блестящие и глубокие глаза, живые, умные, совершенно независимые ни от чего вокруг происходящего, – это его поразило и отрезвило окончательно.

– Танки прорвались? – скорее угадал, чем услышал он, и

кивнул в ответ, и стал ту же перетягивать каким-то рваным лоскутом, неизвестно как очутившимся у него в руках, плечо и грудь капитана, прямо поверх повязки, на которой проступила свежая кровь. И опять встретил все тот же проникающий взгляд.

– Что? Уходить? – понял он наконец требование капитана. – Пошел ты! Лежи!

Возмущенно трясая головой, хотел добавить еще кое-что, тут же спохватился, быстро приподнял раненого, закончил перевязку и, уже совершенно успокоенный, с благодарностью похлопал его по руке.

– Ну, нет... кол им в горло! – сказал Гурьянов, хотя капитан и не мог слышать его из-за обвального грохота, свиста, воя, криков, слившихся в один невообразимый шквал. – Мы еще поживем!

Он наклонился к раненому, отыскивая его опять уже налитые мутной болью глаза, стремясь снова и снова удостовериться, что они еще живы, эти глаза, и что машина поэтому еще движется и даже проползла уже больше половины пути до спасительного берега; и капитан почувствовал его взгляд, моргнул, губы у него шевельнулись. «Ну и крепкий мужик! – отметил Гурьянов с некоторой долей надежды. – Я бы давно лапти откинул». Придерживаясь за кабину, он заставил себя привстать и сразу же увидел в неровной, раздираемой всполохами тьме правобережья уродливые, исчезающие и снова вырывающиеся из дымной тьмы вспышками света коробки

немецких танков, – их было штук восемь. Оседлав пригорок метрах в трехстах от берега, они почти прямой наводкой били по переправе, – пригорок часто мерцал вспышками выстрелов. В то же время Гурьянов сразу понял, что и на пригорке что-то происходит, танки на глазах стали перемещаться, пятиться назад, опять появлялись и рвались вперед; сверкнул какой-то особо ослепительный взрыв, и тотчас, выделяясь из общего рева, гулко отдался по всей земле, и даже в реке громыхнуло; из одного танка густо повалил багровый дым, и над ним сразу же заплясали тусклые, в черных потоках смрада, языки пламени. «Ага! – сказал Гурьянов с усталым, почти равнодушным удовлетворением. – Ага!» Он хотел подбодрить своего раненого капитана, но успел лишь осесть рядом с ним и крепко за него схватиться. Режущий взрыв подбросил машину, и она, на мгновение как бы замерев, вновь сильно дернулась, и, вначале медленно, затем все быстрее, проседая одним бортом, стала заваливаться; завыли, поползли, посыпались, цепляясь друг за друга, раненые. Гурьянов успел схватить капитана под мышки и, не обращая внимания на него, рванул вверх, приподнял, изо всех сил оттолкнулся ногами и плюхнулся вместе с раненым в реку, – вода тотчас накрыла их. Судорожно, безостановочно работая одной рукой, Гурьянов стал отгрести в сторону. Он услышал сверху глухой удар, – в голове вертелась одна мысль: придавит машиной или нет. Капитан больше не шевелился, и Гурьянов, задыхаясь, стал выгребать вверх, глотнул воздуха.

Течение, хоть и слабое, едва ощутимое, успело уже отнести их от переправы, разбитой сразу в нескольких местах, река покрылась барахтающимися, тонущими людьми и, в первом бессознательном стремлении, Гурьянов постарался отплыть еще дальше, в то же время не забывая поддерживать повыше то и дело скрывающуюся под водой голову капитана. Низкий левый берег спасительно темнел в каких-нибудь двадцати – сорока метрах, снаряды продолжали рваться. Машина с детьми, шедшая ранее впереди, зацепившись передком за настил переправы, полоскала полуразбитым кузовом в воде, – ее кабина была охвачена пламенем. Дети горохом сыпались в реку, – они били руками, кричали, захлебывались и тонули как-то мгновенно и бесследно – скрылась головенка под водой и уже больше не показывалась. В самой гуще барахтающихся у переправы людей снова ударил взрыв. Гурьянов рванулся вглубь, увлекая за собой бесчувственного капитана, и тут ноги его коснулись дна, и он стал передвигаться к берегу толчками. Он еще смог оттащить непомерно отяжелевшего, словно налившегося свинцом капитана подалее от берега в кусты ивняка и, задыхаясь, свалился рядом. Почти сразу его вырвало желчью, он приказал себе встать и, с трудом удерживая гудящую от боли голову, склонился над раненым, стал осторожно поднимать и опускать его здоровую, нетронутую левую руку. Обстрел начинал стихать, несколько танков горели на пригорке, на правом берегу, остальные отползли во тьму ночи, и переправу опять об-

лепили саперы, как попало и чем придется сращивая ее разорванные звенья, освобождая ее от разбитых машин, орудий, повозок, трупов, спихивая все мешавшее подряд в реку.

С трудом преодолевая желание ткнуться головой в песок и заснуть, Гурьянов продолжал тормошить раненого капитана; нащупав за голенищем сапога у себя ложку, он черенком осторожно разжал его зубы и стал вдвухать в него воздух, – лицо у капитана было холодным, и губы твердыми. Гурьянов припал к его груди ухом, замер, – с трудом он уловил сердце и с облегчением откинулся на спину. «Отойдет, – решил он. – Полежу минутку, а то не справлюсь...» Он не успел закрыть глаза, тоненький детский плач со всхлипами и даже какими-то причитаниями заставил его через силу подняться, – от резкого движения натрудившееся сердце оборвалось. Он подождал, опустив голову, и, чувствуя дрожь в обессиленных руках, осторожно двинулся на звуки плача. Теперь он различал и слова, – кто-то по щенячьи скулил, а в перерыве монотонно повторял: «Колюша-братик... мамочка... Колюша-братик... нету...» И опять прерывающийся безнадежный скулеж. Спустившись к самой воде, при очередном всполохе, озарившем небо и берег, Гурьянов увидел выползшую из воды девочку лет пяти, с двумя короткими обвисшими косичками, мокрое платье облепило ее худенькое тельце, – она сидела лицом к реке и по-старушечьи тоненько и жалобно причитала.

Гурьянов осторожно поднял ее и, невольно пытаясь унять

мелкий непрерывный озноб озябшего тельца, прижал к себе.

– Колюши-братика нету... кричал, ой, кричал, – сообщила она ему покорно. – Залился братик...

– Нет, нет, что ты, – затряс головой Гурьянов. – Его тоже кто-нибудь нашел... Ну как же! Что ты! Обязательно нашел!

Девочка, кажется, не услышала, продолжала всхлипывать и что-то шептать, глядя вверх, в небо; он поднял голову в направлении ее взгляда и в недоумении, близком к обмороку, задержал дыхание. Кто-то гигантскими шагами, отдающимися тупой болью в сердце, шел по небу, шел с востока на запад, и его путь пролегал от горизонта до горизонта. «Туп! туп! туп! туп!» – небо словно прогибалось под непосильной тяжестью идущего, и Гурьянов взглядом проследил до самого конца, – шаги скатились к западу и пропали. Они возобновились вновь, едва Гурьянов шевельнулся, и опять – с востока, и теперь были еще увесистее, и уже не прогибали, а проламывали небо... «Я, кажется, с ума схожу», – решил Гурьянов, в то же время стараясь согреть непрерывно дрожащую девочку и сильнее притискивая к себе ее тщедушное тельце.

Отыскав капитана, он опустился на колени, осторожно положил свою ношу на песок и вздрогнул, – раненый лежал опять с широко открытыми, осмысленными, точно промытыми глазами, теперь уже навсегда обращенными в неведомый для других мир.

И Гурьянов понял. «Что, что это было?» – бессильно и

обреченно спросил он себя, вновь подхватывая на руки дрожащего от холода ребенка и по-отцовски бережно прижимая его всем тельцем к себе.

* * *

Вязелев всей ладонью прихватил стакан, поднял провалившиеся, остро блестящие глаза на Меньшенина, освежил пересохшее горло глотком вина. Затем, ни слова больше ни говоря, выдвинул нижний ящик стола, достал оттуда обыкновенную жестянку из-под леденцов. Коробочка давно не извлекалась на свет Божий, и ее густо тронула ржавая изморозь. Меньшенин, странно протрезвевший, сидел, боясь лишний раз шевельнуться, – в окна рвался рассвет. Сознание двоилось, и затем словно кто взял его душу и вознес в слепящую даль, в откровение всех начал и концов, – жить дальше стало нельзя, и он умер в прежней жизни, вернее, почувствовал полное освобождение от всего прошлого и очнулся в какой-то совершенно другой жизни, отныне ему предстоящей и назначенной. С некоторой неприязнью он видел, как Вязелев, порывшись в жестянке, достал ветхий кожаный кисет, осторожно извлек из него темную цепочку с ромбовидным, граненым небольшим камнем, покрытым, казалось, от времени патиной.

– Что это? – спросил Меньшенин, не в силах оторвать глаз от невзрачного сероватого камня.

– Память тебе от отца, – сказал Вязелев незнакомым, каким-то отчужденным голосом. – Как же я за все эти годы ни разу ничего не вспомнил? У Сашки Гурьянова раза два был, он мне все что-то такое рассказывает, а я как баран... А сегодня... Расстегни ворот... шире, шире... вот так... ну... Алешка... что это? – вскрикнул внезапно он, и казалось, что глаза у него вот-вот выскочат из орбит. Невзрачный камень, едва коснувшись живой кожи, стал малиново светиться, растекая жидким мерцающим огнем по всей груди Меньшенина и пропал – на шее осталась, похожая по тяжести на чугунную, цепочка, и тогда Вязелев осторожно, кончиками пальцев, стал ощупывать грудь Меньшенина, – кожа была сухой и прохладной.

– Этот чертов камень пропал, – неуверенно сказал Вязелев. – Ты же его тоже видел? Мы не столько много уж и выпили...

– Сорвался, пожалуй, куда-нибудь закатился, – предположил Меньшенин. – Старье ведь...

Они стали ползать по полу, заглядывать под стол и стулья, больно стукнулись лбами и ничего не нашли, – сели друг против друга прямо на полу.

– У меня глаза слипаются, сейчас засну, – сказал Меньшенин, отчаянно зевая. – Нет сил подняться.

– У меня тоже, – признался Вязелев, уже с трудом различая лицо своего ночного гостя.

12.

Накоротке заглянув к Одинцову, профессор Коротченко, вроде в ни с того, ни с сего, не спрашивая и не утверждая, в полувопросительных интонациях, сообщил, что по институту пронесся некий странный слух о намечающейся интереснейшей и острой дискуссии по ряду самых актуальных вопросов и что уже среди ученых появились противоборствующие партии и всюду идет подготовка к якобы непременно предстоящей потасовке. И уже под конец сухо и вроде бы совсем безразлично сообщил о необходимости очередного ученого совета, на котором самыми высокими верхами рекомендовано выдвинуть его, Одинцова, кандидатуру на соискание высокого звания академика...

Лицо у директора института не изменилось, и лишь во всей его плотной, вызывающей уважение фигуре появилась некая затаенность, – плечи слегка приподнялись, глаза, наметив точку над сверкающей, гладкой головой профессора Коротченко, озарились изнутри темной вспышкой. И профессор Коротченко, хотя его старый друг всего лишь недоуменно и равнодушно пожал плечами, сразу утвердился в необходимости предстоящей дискуссии и скорейшего созыва ученого совета, – Одинцов, известный ученый, давал бой враждебной партии, и план сражения поручалось разработать именно ему, профессору Коротченко.

– Значит, Вадим, пришел звездный час? – спросил Климентий Яковлевич просто и серьезно. – Давно пора...

– Не нами начато, не нами и окончится, – задумчиво сказал Одинцов. – Все ответственно важные для народа и государства посты должны распределяться на открытом конкурсе талантов, сердца и ума, иначе и народу несладко, и его культура с наукой страдают. Я надеюсь на тебя, Клим, на твою дружбу и опыт, хотя последнее время ты стал каким-то отрешенным, что ли... У тебя все в порядке?

– А у тебя развивается, по-моему; излишняя мнительность, – не остался в долгу и профессор Коротченко. – Вот что значит получить гениального родственничка...

Одинцов глянул как-то по-особому тяжело и даже недовольно.

– А кто сказал, что он такой уж гениальный? Хочешь не хочешь, а цыпят действительно приходится считать по осени.

Слова Одинцова прозвучали веско, профессор Коротченко понял и то, что в самом деле за ними стояло, и с первой же минуты включился в деятельную подготовку к предстоящему, пустив в ход все свои возможности, – сторонников своих еще более укрепляя, несогласных стараясь переубедить или вначале хотя бы заронить в них сомнение, а то и незаметно припугнуть. И в то же время он ни на минуту не упускал из виду своих новых, теперь четко определившихся задач и целей, и от чувства этой своей тайной, сокровенной и мо-

гущественной причастности к окончательному переустройству мира во всем его профессорском облике действительно появилось нечто новое, еще более значительное. И особенно он постарался поработать с теми, кто поддерживал ради формы Меньшенина, этого выскочку, самого себя определившего в гении, – бывает ведь и так, бунтует человек, мутит воду при каждом удобном случае, а на поверку оказывается пустоцветом: на долгом пути у профессора Коротченко встречались и не такие, ничего, утихомиривались потихоньку. Сам профессор с самого начала не сомневался в успехе; помогая крупному, авторитетному ученому подниматься еще выше, он поднимался и сам, и главное, тайное его дело, захватившее его теперь полностью, от этого лишь выигрывало. Вот в такой твердой и ясной уверенности профессор Коротченко находился все время, и лишь после открытия заседания ученого совета он, с благожелательной улыбкой бегло окинув лица собравшихся, ощутил некую, менее всего свойственную ему неуверенность. Проверая себя, он незаметно пробежался взглядом по знакомым лицам вторично и слегка нахмурился. «Ерунда, ерунда, – тут же постарался опровергнуть самого себя профессор. – Он же не самоубийца, в конце концов, не полезет в петлю. Здесь вся фронда от желания показать недовольство, да самим поскорее и побольше урвать. Дождаться своей законной очереди эта публика не желает, они, извольте видеть, торопятся жить... И как же все-таки добраться до подлинной сути этого молодого наха-

ла, как его окончательно выявить?»

Профессор Коротченко повел заседание умело и привычно; отдельно он никого не замечал и в то же время не упускал ни одной мелочи из происходящего и сразу же сам лично выдвинулся на передовой рубеж, Одинцов же, хотя говорили именно о нем, оставался где-то в тени, – обсуждался и решался важный научный, даже государственный вопрос, сам же Одинцов был здесь словно бы и ни при чем. Огласили несколько весомых бумаг, рекомендаций, зачитали безукоризненный, блестящий послужной список и развернутую рецензию прихворнувшего и потому не приехавшего на заседание академика Сколгина Петра Емельяновича, одного из столпов советской исторической науки, на последний фундаментальный научный труд Одинцова, выступили с положительными, поддерживающими отзывами второй, третий, четвертый, записывались еще желающие, – все уважаемые и заслуженные люди.

И опять Климентий Яковлевич почувствовал какой-то не порядок в привычном, строгом конференц-зале с рядом высоких стрельчатых окон, выходящих в тихий институтский двор. Золотисто-темные шторы, умело задрапированные, лишь подчеркивали архитектурную строгость зала, с обшитыми буком панелями и потолком, со старинными хрустальными люстрами. И профессор Коротченко вновь незаметно и рассеянно повел глазами, – нет, нет, сказал он себе, все было обычно и спокойно, и только в самом дальнем окне

мелькнула какая-то широкая тень; обычная ворона, решил он, и усилием воли заставил себя сосредоточиться на главном.

Выступили уже еще несколько человек, и все были единодушны, отмечая научные заслуги и достоинства соискателя, близилось, пожалуй, и благополучное завершение. И вот тут профессор Коротченко и уловил первое неожиданное дуновение крамолы. Слова попросил Меньшенин и, не дожидаясь разрешения, вышел к трибуне, помедлил, пристально и как бы несколько удивленно оглядывая собравшихся, несколько задержал взгляд на Вязелеве, пытаясь понять его тревожные знаки, – выложив правую руку на стол, тот быстро сжимал в кулак и разжимал пальцы. Меньшенина позабавило его волнение, он уставился на профессора Коротченко, вежливо и надменно поклонился ему, и вот в этот момент тревога и неуверенность разрослись в душе у Климентия Яковлевича до неприличных размеров, – шепоты и переглядывания в зале ему активно не понравились.

– Здесь много говорили о заслугах, научных заслугах в том числе, Вадима Анатольевича Одинцова, директора нашего уникального института, говорили о повышении престижа самого института, о роли исторических наук... одним словом, о многом говорили, и правильно говорили, – после столь долгого начала Меньшенин слегка опустил глаза, тотчас опять выхватил из общей массы как бы устремившийся к нему навстречу гладкий, скользящий череп профессора Ко-

ротченко и, дрогнув уголками губ в легкой усмешке, кивнул, как бы подтверждая свои, одному ему ведомые мысли. – Я – солдат, вполне вероятно, что-то еще недопонимаю. Здесь много говорилось о последней книге Вадима Анатольевича Одинцова, но при чем же здесь наука? Ясно одно: перед нами попытка обосновать, если так можно выразиться, некую идею, возможность, по сути дела, мгновенного и бесповоротного изменения исторического развития народа вне влияний и связей с его прошлым, закономерность и даже необходимость расщепления прошлого и настоящего.

Зал замер, лица белели недвижимо и смутно, и затем в образовавшейся паузе кто-то шумно вздохнул.

– Согласен, теоретически работа профессора Одинцова весьма и весьма любопытна, с рядом ее выводов можно и согласиться, можно и спорить, хотя опять-таки, при чем здесь история?

В новой короткой паузе Меньшенин физически, кожей ощутил мертвую тишину зала, но тотчас он уловил и нечто иное. Он или, вернее, кто-то второй в нем успел с явной иронией спросить его, что, собственно, происходит, чем перед ним так уж провинился Вадим Анатольевич Одинцов, что он сделал ему плохого и чего он сам, Меньшенин, хочет добиться. В том, что ему сразу же придется уходить из института, если он сейчас не остановится, он не сомневался, он вспомнил, как несколько дней назад шурин настойчиво искал еще одной дружеской встречи и как он в самый послед-

ний момент увернулся.

На мгновение он замер, – слишком тяжела оказывалась ноша. «Так надо, – прорезался в нем далекий и властный голос. – Нет ничего тайного, что не стало бы явным, перечеркни эту глупую истину – и увидишь конец пути и, увидев, благословишь!»

Меньшенин, как в момент перед атакой, когда уже прогремела команда и нужно отрывать от себя землю и оставаться в сквозящем пространстве смерти, вспомнил сейчас все; вернее, он просто видел сейчас все, что было между ним и Одинцовым, и все это было во имя общего дела. Именно так выпало: выполняя одну задачу, они должны были непременно враждовать и ненавидеть друг друга. Такова была логика беспощадной борьбы, развернувшейся в мире вокруг России; может быть, самые близкие в этом зале люди, они двое, должны оставаться для других непримиримыми врагами; сигнал прогремел, и теперь никакая сила на свете не сможет остановить ход predetermined событий; Вадим, как и сам он, всего лишь солдат, должен остаться на своем месте и пройти свой круг потерь и обретений, – и только затем проклюнется нечто иное, новое. Но это уже для других, еще неведомых.

Меньшенин почему-то вновь различил и выделил из всех узкое и нервное лицо Вязелева, с напряженно застывшими злыми глазами, посылавшего ему какой-то важный сигнал, и тогда у Меньшенина мелькнула его характерная, ле-

тучая усмешка, многим казавшаяся высокомерной и неприятной, – Вязелев, хорошо знавший своего школьного товарища, внутренне похолодел. И не ошибся, именно в этот момент у Меньшенина созрело решение; для других он поступал неразумно, и никто, даже его старый школьный друг, не поймет этого, не одобрит, стучало в мозгу у Меньшенина, происходящее оказывалось сильнее и его самого, и его опасений, его человеческих связей и слабостей; и если бы его спросили, что это такое, он бы не мог определить и выразить свое состояние и чувства словами. Он не мог переступить пролегший в его душе рубеж, как того ждали собравшиеся в этом зале важные, уверенные в себе люди, он просто не имел для этого шага необходимых душевных сил, и он опять-таки не знал, что это такое с ним, но хорошо знал, что ему уже нет ходу назад...

И тогда все та же неприятная усмешка вторично мелькнула у него в глазах, и лица в зале как бы слились, отодвинулись и растаяли, – он вспомнил то, чего раньше никогда не мог вспомнить, и это было скорее не ясное физическое воспоминание, а чувство, ощущение чувства, связанного с собственной смертью, и вот теперь каким-то непостижимым образом он вспомнил, когда и где уже случилась его смерть. Он вспомнил свою смерть на Соловьевой переправе, хотя прекрасно знал, что никогда там не был, и что там умер не он, а его отец, вспомнил то, что его уже давно, вот уже несколько месяцев мучило. Да, он умирал и знал, что умирает, он уже

умер, и, однако, угасавшие чувства в нем еще откликнулись на раздражители жизни, и он даже слышал чьи-то знакомые голоса рядом. Медленная боль, вызывающая отчаяние, безнадежность и подспудное желание скорейшего завершения, затихла и скоро ушла совсем, и пить уже не хотелось, потому что тела уже не было, от него оставалась какая-то словно извне плывущая точка в мозгу, вяло улавливающая и отмечающая запахи, звуки, голоса и даже отдельные слова и фразы, и они всплывали теперь в самые неожиданные моменты, как, например, вот такая, произнесенная неизъяснимо тоненьким, детским, уже утратившим тепло жизни, голоском: «А Колюши-братика больше нету...» Что это, откуда и зачем сейчас вновь чужая и давно забытая боль? Забытая? Чужая?

И тут Меньшенин ощутил на себе какой-то особый, как бы рвущийся ему под черепную коробку взгляд, слегка повернул голову и еще раз встретился взглядом с профессором Коротченко. В следующую секунду глаза у Климентия Яковлевича дрогнули, расширились и вспыхнули каким-то радостным безумием. «Он, он! – простонало у него в душе. – Не надо ничего искать, рядом все, здесь гнездо, здесь! Он, родненький! Теперь только не спугнуть, какую паутину можно расшевелить! Ай да зятек у Вадима!»

Пряча свое торжество и азарт опытного охотника, профессор обезоруживающе открыто улыбнулся Меньшенину, в то же время этой приветливой улыбкой как бы ободряя его

и поощряя продолжать, но и Меньшенин уже уловил четкий сигнал опасности, уже потаенные мысли профессора словно отпечатались у него в сознании, и он, сам себя не узнавая и даже пугаясь, еще и еще раз, чтобы лучше запомнить, раз и второй их перечитал. «Ага, – сказал он себе, в свою очередь, с невольной дрожью открытия и ожидания. – Вот, кажется, это дурацкое болото и кончилось, вот и подступил жданный и пугающий перевал... А – куда? Так, значит, это вы, уважаемый профессор, так искусно устроились рядышком? Восхитительно... Что там еще таится под этой сияющей лысиной? Надо бы сейчас пожать ему руку покрепче, но, пожалуй, этого никто здесь не поймет, и без того все озадачены; ушки на макушке».

Молчание действительно затягивалось, и в зале почти недоуменно, а некоторые и со значением, стали переглядываться; вот две головы, седая и черная, сдвинулись, поплыл сдержанный, приглушенный смешок.

– Простите, – сказал замешкавшийся оратор, – простите, мне пришла в голову одна любопытная мысль. А есть ли вообще смысл во всем том, ради чего мы здесь собрались? Приблизились ли мы со времен того же Геродота к раскрытию тайны человека, ради чего, собственно, и трудились сотни поколений мыслителей, историков, художников? И не все равно, станет ли академиком Вадим Анатольевич Одинцов или вот, допустим, профессор Коротченко?

– Нет, это уж вы простите, уважаемый коллега, – раздался

сердитый надтреснутый голос из зала. – Простите, слишком много беспредметных восклицаний, а мы обсуждаем конкретный вопрос. Лично у меня нет времени и желания заниматься абстрактными умозаключениями.

Меньшенин взглянул на говорившего, согласно кивнул.

– Очевидно, не все равно, если человек с каждым новым усилием, мучительным, трудным, кровавым порой, все-таки приближает и шаг в иное качество знания, – продолжал Меньшенин. – Что означает, на мой взгляд, последняя по времени, так называемая научная работа профессора Одинцова? Это скорее политический трактат с утопическим освещением, попытка философского анализа будущего, только никак не историческое исследование...

Шум в зале возник и стих каким-то несильным всплеском.

– А его основная теория о скором растворении русской нации в некоем новом социуме? Я бы не взял столь тяжкий грех на свою душу, – назначение подлинной исторической науки закреплять результаты, а не прогнозировать их в угоду всякого рода политикам...

Зал опять вздохнул и замер; Меньшенин теперь уже неосознанно старался не видеть отдельных, тем более знакомых лиц; он почувствовал какую-то сквозящую легкость сердца, – в главном он не мог ошибаться. И в то же время в нем продолжало жить и даже разрастаться сомнение. «А вдруг все это с уважаемым Климентием Яковлевичем всего лишь пригрезилось? – думал он. – Так, нервная горячка?»

Он заставил себя сосредоточиться, – теперь зал ждал с нетерпением.

– Я понимаю, от моих слов ничего не зависит, кандидатуру профессора Одинцова скорее всего следует одобрить... я завершаю, – заявил он в ответ на новый взрыв недоумения в зале. – Я хотел бы еще раз вернуться к последней книге профессора Одинцова и подчеркнуть, что намеченный, рассчитанный заранее результат, мне кажется, всегда результат насильственный, а, следовательно, ложный. Рекомендуемые пути достижения результата невольно убивают истинное развитие научной мысли, превращают творчество в догму. Не говоря уже о том, что и сам результат в запланированных заранее качествах недостижим, вызывает к жизни силы зла, темные силы в человеке и обществе. Опять же, на много лет отбрасывает назад истинное знание...

Меньшенин пошел с трибуны, оборвав на полуслове, и тотчас, не дожидаясь никакого приглашения, на его месте уже стоял Вязелев, – многие даже не заметили, как это случилось. Кто-то запротестовал, кто-то громко и возбужденно пожаловался на неслыханное в подобных случаях ведение заседания, и профессор Коротченко, услышав, быстро предложил послушать Вязелева, коль уж он завладел трибуной, а затем прерваться и слегка поразмыслить. Вязелев кивнул и, донельзя сердитый на Меньшенина, еще не зная, что и как можно предпринять, махнул рукой и словно бросился в обжигающе холодную воду.

– Мы школьные друзья с Меньшениным, хотя я здесь и не собираюсь говорить ненужных слов, – слегка наклонившись в сторону зала и крепко, даже угрожающе, схватившись обеими руками за трибуну, начал он. – И я сейчас не могу поддержать его, мне непонятна, если хотите, уважаемые коллеги, его категоричность. И неприятна! Да, в развитии знания не может быть абсолютно конечных выводов, но все мы здесь, простите, не Геродоты, не Карамзины. Где, когда, простите, наблюдал Меньшенин четкую границу между историей и политикой? Возможна ли она, такая немыслимая разграничительная черта? На мой взгляд, коллега Меньшенин опровергает сам себя в своих путаных послылках. Что вообще значит понятие знания и развития знания? На что намекал коллега Меньшенин? На то, что институт не в силах командировать его для работы в архивах Греции и Палестины? Ну, там, дорогие коллеги, где политика тесно взаимодействует с историей, обижаться на весь свет, тем более на своих товарищей, на свой институт, по такому поводу не стоит. И потом я не узнаю Меньшенина. Мы здесь собрались по вполне конкретному вопросу, обсуждаем кандидатуру Вадима Анатольевича Одинцова, об этом надо и говорить, а не забираться в туманные дали. Личные счета, если они имеются, здесь сводить не время, да и некрасиво. Поставлен серьезный, государственный, можно сказать, вопрос. Поставлен прямо и честно, я лично считаю кандидатуру профессора Одинцова вполне достойной, она составит честь нашему институту, а

сама историческая наука только выиграет!

Повернув голову и увидев самого Одинцова, слушавшего с выражением некоторой иронии в лице, оратор не стал ничего больше говорить; тотчас был объявлен перерыв на пятнадцать минут, и профессор Коротченко, перебросившись парой иронических замечаний по поводу зажигательной речи его зятя с Одинцовым и выразив при этом всем своим видом сатирическое недоумение, сослался на необходимость и поспешил навеститься к себе в кабинет. Стараясь ни с кем больше не останавливаться, но каждому встречному приветливо улыбаясь, он скользнул в боковой переходик, затем на узенькую внутреннюю лестницу и стал подниматься на второй этаж. Он был занят своими мыслями и уже на лестничной площадке невольно попятился, – перед ним, широко улыбаясь, стоял Меньшенин. Вглядевшись, профессор едва сдержал суеверную дрожь – это была улыбка убийцы, с сумасшедшим пронизывающим взглядом, сразу вызвавшим у Климентия Яковлевича сильное головокружение, – он даже пошатнулся и судорожно потянулся к стене. В тот же момент Меньшенин подхватил его под локоть, тут же завладел другой, свободной рукой профессора и, не отпуская его глаз, стал сильно пожимать мягкую профессорскую руку.

– Что вам нужно? – слабо запротестовал Климентий Яковлевич, по-прежнему с каким-то паническим ужасом ощущая, что все у него в голове плывет и в глазах троеится, и, как два сатанинских, проникающих, раскаленных лезвия, горят

зрачки Меньшенина; собрав всю свою волю, профессор попытался освободиться, но даже не смог шевельнуть руками, тело ему отказало, и лишь мозг пока воспринимал, правда, весьма туманно, происходящее.

– Я только хотел поблагодарить вас, – донесся до него спокойный и размеренный, словно из какой-то ваты, голос.

– Что такое? Зачем? – с трудом разомкнул деревянные уста Климентий Яковлевич, часто моргая.

– Как же, как же, вы уже все окончательно забыли, – вновь ворвался в него тихий, вкрадчивый голос. – И меня забыли, и моего шурина, Вадима Анатольевича Одинцова, большого советского ученого, забыли, все свои мысли о нас забыли, ничего этого не было, мы ваши лучшие друзья, – никаких ваших видений не было. Так, так, еще немного... Вы прекрасно себя чувствуете, вы все забыли, навсегда забыли, ничего не было. И Вадим, и я – лучшие ваши, самые преданные соратники и друзья. Ну вот, я рад, и вам хорошо и легко. Кстати, вы не боитесь опоздать, – перерыв кончился. Пойдемте? Я тоже думаю, что Вадим Анатольевич Одинцов – самая достойная кандидатура, и наши родственные отношения здесь ни при чем, вы сегодня действительно показали себя принципиальным, государственным человеком.

– Ну, что вы, что вы! – начал приходить в себя Климентий Яковлевич и доверительно потянулся к Меньшенину. – Я, конечно, благодарен вам за поддержку, – вы, молодой ученый, даже не представляете, как велика в нашей среде обык-

новенная человеческая зависть! Вы еще с этим столкнетесь! Что только мне не приходится выслушивать и читать! Нам нужно как-нибудь встретиться, не спеша посидеть, поговорить для обоюдной пользы.

– С готовностью и удовольствием, – подхватил Меньшенин и, пропуская профессора вперед, отступил в сторону от прохода на лестницу; они стали спускаться вниз, и, когда появились в дверях конференц-зала, оживленно разговаривая, на них сразу переключилось всеобщее внимание. Один лишь Одинцов понял смысл происшедшего и в душе благословил зятя.

* * *

Вечером, когда все уже было завершено и определено, Вязелев, дождавшись у выхода из института Меньшенина, окликнул его и пошел рядом.

– Слушай, псих, мне надо с тобой поговорить, пойдём ко мне, – предложил он. – Нужно все обдумать...

– Ничего не надо обдумывать, никуда я не пойду, меня жена ждет.

– Обиделся? Хорошо, давай тогда посидим где-нибудь в другом месте, – тотчас нашелся Вязелев. – Ты хоть можешь объяснить, что это с тобой происходит? И что такое произошло у вас с Коротченко в перерыве? Я его в первый момент просто не узнал...

– Ты так умело прикрыл все мои грехи, Жора, теперь ни о чем и вспоминать не стоит, спасибо, друг, – поблагодарил Меньшенин спокойно, даже равнодушно, в его голосе звучала легкая ирония. – Ты так превознес моего шурина, так убедительно – до самых печенок прохватило. Бывает ведь – сразу все по-другому высветило... Вот я и повинился перед Климентием Яковлевичем, прихватил его в коридоре и повинился. Почему, в самом деле, не Одинцов?

– Ладно, не ерничай, лучше он, чем кто-либо другой, даже ты или я, – подозрительно поглядывая на Меньшенина, проворчал Вязелев. – Может, в твоих сомнениях и есть доля правды, только где ты на данный момент найдешь лучшего кандидата? Нет его – лучшего, я лично не вижу. Вполне уравновешенный человек, не страдает, как некоторые, комплексом неполноценности, – не остался он в долгу. – Вон пойдем под навес, там вроде мороженое продают... И никого...

– Я же сказал, сдаюсь, ты меня, давно убедил.

Они сели за самый дальний столик, – Вязелев принес стаканы и бутылку воды, – она была теплой и пахла дешевым одеколоном.

– Ну, и о чем же мы будем говорить?

– О чем, о чем! Не строй из себя неразумного дитяню! – взорвался Вязелев. – Не посмотрят на твои ордена и рубцы... И никто тебя больше не то что не увидит, но даже и не услышит! Хорошо, что ты вовремя опомнился... Знаешь, ищи ты

себе другую работу, у тебя с твоим шурином явная несовместимость, вы не можете и не должны быть рядом. Бывает, и к этому надо относиться спокойно. Умные люди просто расходятся подальше и преспокойно себе живут.

– Так бывает! – передразнил его Меньшенин. – Я и без тебя знаю, что бывает... Советовать со стороны всегда легко! А ты попробуй, уйди, если кровью... еще чем-то более тяжким связан...

– Зоя ведь тебя любит, – осторожно напомнил Вязелев, – здесь тебе опасаться нечего...

– Я совсем с другой стороны опасуюсь, – не сразу и как бы нехотя признался Меньшенин. – Знаешь, Жора, я последнее время часто вспоминаю мать... Помнишь, у нее были какие-то непостижимо притягивающие глаза? Мне все сильнее хочется съездить в Саратов, найти ее могилу, пока не поздно, и просто молча постоять рядом... Как она умирала в одиночестве?

– Не она одна, – счел нужным довольно жестко напомнить Вязелев. – Для непривычных людей, хлипких горожан, эвакуация стала своим тяжким фронтом...

– Все-таки она была моя мать, – с какой-то несвойственной ему грустью сказал Меньшенин.

– Конечно, – кивнул Вязелев, упрямо сдвигая брови. – Ты теперь сам скоро станешь отцом, – вот о чем не забывай.

– Какой ты зануда, – поморщился Меньшенин. – Помнишь, и учился на одни пятерки; и драться ты не любил...

Черт те что! На одни пятерки, сам знаешь, не прожить...

– Дождь, – уронил Вязелев и поднял голову, подставляя лицо редким прохладным каплям, сеявшимся с неожиданной предвечерней тучки, словно бы случайно летевшей над Москвой. – Дождь, и скоро придет осень... дождь, – повторил он тихо, в то же время с явным интересом поглядывая на друга. – Только Коротченко никогда ничего не забывает и не прощает, – руководит институтом не твой шурин, а именно он.

– Знаю. Следует, правда, уточнить: Одинцов в определенных рамках разрешил ему руководить, – коротко уронил Меньшенин с незнакомой, отстраняющей улыбкой, осветившей его лицо как бы изнутри. – Однако, как говорят сибиряки, никому не дано взглянуть хотя бы на двадцать лет вперед. А это было бы, на мой взгляд, весьма поучительно.

– Ну почему же не дано? – не согласился движимый в этот день каким-то бесом противоречия Вязелев. – Все то же самое и будет, мы с тобой состаримся, а дети вырастут, женятся, выйдут замуж и пойдет новый круг, – только и всего.

– Не нахожу смысла возражать, – склонил голову Меньшенин. – Ты мудрец, да будет по-твоему. Неужели там в буфете ничего, кроме этой тухлой воды, нет?

– Есть, вот у меня нет грошей...

– А-а, так бы и сказал, – повеселел Меньшенин, направляясь к буфетной стойке, над которой возвышалось дородное, с врожденно недовольным лицом существо, мгновен-

но окинувшее подходявшего клиента оценивающим ястребиным взором.

13.

Зябко отхлебывая горячий чай, помолодевшая, с ожившим лицом, Зоя Анатольевна с каким-то ласковым любопытством всматривалась в сына; тот, сразу замкнувшийся, сидел, опустив голову, и его бледное, в одночасье осунувшееся лицо с круто сведенными темными длинными бровями вновь словно отбросило Зою Анатольевну в далекое и, как оказалось, такое близкое, болезненное прошлое. Она незаметно прижала ладонью левый бок – закололо под сердцем. Сын сейчас напоминал отца перед его исчезновением, и даже был, примерно, в том же возрасте. От своей мысли Зоя Анатольевна окончательно расстроилась и, пытаясь взять себя в руки, покончить с рассказами и воспоминаниями, тотчас, как это свойственно женщинам, обратилась к спасительным мелочам.

– Степановна, ты ведь должна помнить старинный чешский фарфор, сизый такой, голубиный, помнишь? – спросила она. – Еще мама его безумно любила... Боже мой, как же давно все началось! Помнишь случай...

– Нет! – неожиданно, с неровной, понимающей улыбкой сказал Роман. – Не то, глупо! Игра в кошки-мышки! Взрослые люди! Тем глупее! Ничего существенного! Ну, что ты темнишь, мама? – спросил он, и Зоя Анатольевна в трудном и радостном смятении оттого, что наконец услышала от него

это долгожданное и трудное «мама», стараясь не расплескать в себе невесть откуда свалившийся на нее дар, тихое тепло жизни, как бы освятила себя некоей торжественной тишиной, – глаза ее сделались влажными. Степановна хотела было кинуться к ней, помочь, но сразу же поняла, что этого не нужно, и тоже благоговейно замерла, а Зою Анатольевну все-таки прошибло. Стыдясь, она всхлипнула, отвернулась. Роман подошел к матери, минуту назад чужой и даже неприятной женщине, положил руку ей на плечо, тихонько погладил. Этого Степановна уже не могла выдержать, вышла, а Роман, оторвавшись от матери, достал сигарету, повертел ее, сломал и швырнул в пепельницу. Зоя Анатольевна следила за ним сияющим, благодарным взглядом.

– Нет, мама, нет, – сказал он, не в силах справиться с мыслями, мешавшими ему окончательно успокоиться. – Нет, у тебя свои соображения, но разве так можно?

– Что, Рома?

– Что! Избираешь меня третейским судьей между отцом и дядей, а сама не хочешь сообщить даже причины... хотя бы косвенно... Боишься дать мне бумаги отца? Почему? Я ведь давно вырос... Я вполне допускаю, тебе неприятно сейчас говорить о прошлом, но мне-то он отец...

– Что ты имеешь в виду?

– Ничего особенного, просто твои отношения с Георгием Платоновичем... я об этом и раньше знал. Я ведь никак тебя не осуждаю, твое личное дело. Мы взрослые люди, в конце

концов, так ведь?

Зоя Анатольевна взглянула на дверь, как бы призывая вышедшую перед тем Степановну на помощь; тут же, сердясь на себя за нерешительность, за постоянное стремление разделить свои трудности с кемнибудь другим, она помолчала, собираясь с силами.

– Когда-нибудь ты все действительно поймешь, – сказала она. – Сейчас ты еще не готов, Рома. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Какие бумаги? – попыталась как можно правдивее солгать она. – Все давно сожгла, уничтожила, боялась – время-то какое было? Да и какие это бумаги? Безумные пророчества, они никогда не сбудутся, ну их! Прошу, ничего мне больше не говори, Рома. – Нечто затаенное, закрытое опять словно смяло ее лицо изнутри. – Не мой же здесь каприз...

– Так что же это?

– Я не хочу идти против людских и божеских законов. Пожалей меня, Рома, я этого не могу. Ты забываешь, твой дядя – мой брат, родной брат. Это сейчас все хорошо и понятно, когда давно уже нет Сталина, кончилось это время ненависти и варварства. Россию оставил Бог, на русский народ было наслано безумие. Наш с Вадимом отец, твой дед, был из старого, правда, сильно обедневшего дворянского рода, мать, твоя бабка, тоже из какой-то захудалой ветви Сабуровых... Но оба они были высокообразованными людьми и смогли продержаться до тридцать восьмого года. Твой дедушка пре-

подавал в какой-то закрытой военной академии немецкий и английский языки, он исчез внезапно уже в конце сорокового года. Исчез и все, – бесследно. Я родилась на двенадцать лет позже брата, видишь, какая у нас большая разница. Мама была так духовно спаяна с отцом, что буквально за несколько месяцев после его исчезновения угасла, – тихо, безропотно... с какой-то даже улыбкой. На руках у Степановны, я все хорошо помню. Мама взяла клятву с Вадима, что он заменит мне отца, и он сдержал слово. Правда, он ни разу не захотел со мной откровенно поговорить об отце, всегда уводил разговор в сторону, – здесь какая-то тайна. Мне кажется, что Вадим что-то скрывает... Почему у него при такой родословной такая стремительная карьера? И Степановна упорно молчит... Мне порой начинает мерещиться, что и отец, и брат продали свои души сатане, за ними чувствуется нечто темное, непостижимое, и нам всем, их близким по крови, придется расплачиваться... И потом, сказать всего никому не дано. Уходи из этого дома, веди самостоятельную жизнь – вот моя просьба. Я умоляю тебя – уходи... Сколько можно держаться за дядю?

Роман, слушавший ее с нарастающим вниманием, пожал плечами и заставил себя улыбнуться.

– Вот так, без всякого на то объяснения, без всякого понимания причины, – чисто женская логика. Знаешь, мама, у тебя просто расстроены нервы...

– Над этим домом тяготеет заклятие, здесь никогда не бу-

дет покоя...

– Ну, а если ты ошибаешься, если все совершенно иначе? И как можно уйти от самого себя?

– Ох, Роман, Роман...

Она замолчала, дверь приоткрылась, и в нее просунулась Степановна; в первое мгновение Зоя Анатольевна не узнала ее, глаза у нее расширились, нездоровая бледность растеклась по лицу, и у Романа опять невольно мелькнула мысль о какой-нибудь скрытой нервной болезни матери, чем все ее страхи и объясняются, и он, в общем-то не любивший обременять и затруднять себя всяческими сложностями, со скрытым раздражением перевел взгляд на свою старую няню.

– Сидит... *сам* все сидит, как ушел к себе, так и сидит, – шепотом, с трагическим лицом, сообщила Степановна. – Сидит, и вот так на меня, вот так. – Она подняла руки, медленно пошевелила ими, словно несколько раз что-нибудь неприятное оттолкнув от себя. – Сидит, и вот так... Господи, что же это такое?

Теперь и у нее в голосе прозвучала растерянность; она перебежала глазами с сына на мать и бросилась к ней.

– Зоинька... Зоя, Зоя, – торопливо заговорила она, заглядывая в остановившиеся и разошедшиеся от знакомого, внезапного сейчас приступа боли, глаза Зои Анатольевны. – Бедная моя, скажи, скажи, болит? Где? «Скорую» вызвать? Роман...

– Сейчас... Не надо, ничего не надо, пройдет, – с трудом

выдохнула Зоя Анатольевна.

– Господи, мучители мои, – не удержалась Степановна, чувствуя начавший окончательно рушиться порядок вещей. – Давно у тебя?

– Успокойся, – попросила Зоя Анатольевна, и в то же время стараясь не упускать из виду сына и ободряюще улыбаясь ему. – Проходит... вот посижу... ерунда, нервы...

Теперь она, все сильнее ощущая какую-то новую, только что возникшую и неприятную зависимость от жизни, озадачилась и другим, – ей показалось, что вокруг все неуловимо переменялось, укрупнилось и отодвинулось; странный, зеленовато-голубой с золотистым оттенком лег на окна, стены, мебель, на лица дорогих и никогда почти не понимающих друг друга людей.

* * *

Продолжая пребывать в отвратительно угнетенном, каком-то беспомощном состоянии, Вадим Анатольевич и хотел бы встать, присоединиться к остальным, но не мог по причинам, от него не зависящим. Ноги у него словно отказали и совершенно не слушались, и, как он ни старался ими шевельнуть, они мертвым неуправляемым грузом покоились одна подле другой; в неодолимом бешенстве он даже ударил по колену правой, а затем и левой ноги тяжелым пресс-папье, – ударил, ничего не почувствовал и швырнул пресс-па-

пье куда-то в угол. И еще он жалел сестру, с ее исковерканной женской судьбой, все время хотел ее как-нибудь утешить и укрепить, только не знал как, и от этого еще больше расстраивался.

Медленно и неуклонно темнело, – Одинцов жалел сейчас и Степановну, время от времени появляющуюся в дверях кабинета и испуганно смотревшую на него, не решаясь переступить порог. Он жалел ее тем более, что не в силах был что-либо сказать ей или крикнуть: «Да перестань ты метаться и смущать других!» Он повторял все это про себя, когда она появлялась в дверях, и, тяжело поднимая руки, махал ими, приказывая ей уходить и больше не показываться, – она же, разумеется, все истолковывала по-своему. И даже упомянула что-то про бумаги Меншенина... или это еще раньше говорил ему Вязелев... Бумаги, какие там еще бумаги, – стучало в его отяжелевшем мозгу, не может ведь быть никаких бумаг, что там еще за пропасти откроются, а, впрочем, если и есть такие бумаги, кто же им поверит?

Никто им не поверит, успокаивал он сам себя, мало ли что мог наколбасить его бывший, полубезумный, полугениальный, как некоторые считали, зятек – кого же это может удивить? Кто знал Меншенина, удивить ничем нельзя, любой подумает, что человек был определенно одержим каким-то бесом, и не было для него исцеления. И не мог он оставить никаких важных бумаг, исключено, – так, какие-нибудь розовые мечтания, для прикрытия. Прав однажды сказавший,

что каждому свое, трудно испытывать скрытую неприязнь родной сестры, все знать и молчать. Да и нужно ли защищаться, и можно ли? Не лучшая ли защита – спокойная уверенность в себе? Не себя ведь, ее жалко... И если что то есть, значит, так нужно, Меньшенин не мог ошибиться... И почему не показывается Роман? Возможно, он сейчас и перебирает пожелтевшие бумаги своего отца, оставленные прежде всего для окончательного сокрытия истины, и здесь сделать ничего нельзя – время не пришло. И никто не знает, когда прозвонит нужный час. И никто никогда не узнает и того, что главный смысл его жизни заключался вначале в ожидании прихода неведомого тогда никому посланца тайного братства... Суровый и высокий жребий выпал Меньшенину, и этого уже тоже нельзя было изменить. А затем для тех же целей пришлось пасти, не спуская с него глаз, племянника, этого длинноногого оболтуса, теперь вот появился и Володька – тоже первенец, и тоже по этой же линии, и никому, даже родной сестре, ничего нельзя сказать. Именно он, Вадим Одинцов, оказался главным хранителем ключей от древнейшей и неприкосновенной славянской тайны, доля не из легких, но он не променяет свою участь ни на какую другую. Сегодня он непростительно сорвался, надо следить за собой. Необходимо стереть эту матрицу даже для себя, как это положено по суровому и беспрекословному уставу, ведь основное – справиться с самим собой: куда годится, маленькая человеческая слабость, лишняя рюмка – и вот результат, воз-

раст-то уже не тот...

Начиная ощущать постепенно теплевающие ноги, хотя ступни оставались почти ледяными, он несколько успокоился, — по крайней мере, он хотя бы чувствовал теперь, что они ледяные. И тяжесть словно бы невероятно разбухшего языка во рту уменьшалась, уходила, и он подумал, что ему еще отпущено и пожить, и побороться и что непростительно вот так срываться и вступать в соревнование с юношами, было и у него на веку немало, недаром говорится, что около святых черти и водятся, Бог дал денежку, а черт дырочку... Какой все-таки несовершенный аппарат — человеческий мозг, память, всплывает прежде всего второстепенное, неприятное, и лет прошло достаточно — ровно двадцать. И самому было чуть за сорок, как все относительно. Именно тогда, в этом, казалось, вполне солидном возрасте, его и посетила настоящая, безумная страсть; жена, вскоре умершая, была исключительно занята своим здоровьем, пропадала у врачей, и вот случилось явление — молодая женщина... Нет, нет, никакое это не безумие, просто последний подарок судьбы, одного ее мимолетного, как бы всегда несколько растерянного взгляда было достаточно, чтобы он мог переступить любую дозволенную границу. Затруднение с братом? Аспирантура? Пожалуйста. Кандидатская подруги? Ну что же, есть ведь Иван Петрович, а там и Захар Ильич, а то еще и вернейший Климентий Яковлевич, для нас все пустяк. Разумеется, он не смог бы стоять с букетом у двери, ждать, метаться

в ревности, обещать луну с неба, но все остальное – пожалуйста... Нина, Ниночка – последний, может быть, бешеный бунт мужской плоти, последний яростный крик предстоящего, – разве она не уходила с ночных благословенных оргий опустошенная и счастливая, и разве не говорила она, что ей не нужно любого юноши? А каково завершение? Ведь если бы ему рассказал кто-либо другой, ни за что бы не поверил. Это поражало, изумляло его вот уже на протяжении двадцати лет, и только в последние два-три года он стал вспоминать об этом с некоторой долей юмора и сарказма в отношении себя, и сейчас, несмотря на остроту положения, он опять не смог удержаться и подверг себя некоему ненужному заушательству, опять прихлынуло такое чувство, словно чужой взгляд внезапно застал его за весьма и весьма неприличным занятием. А в каком веселом, чудесном настроении он подошел тогда к знакомой двери, таким игривым петушком, с дорогим подарком, упакованным в красивую коробку – в день ее рождения он всегда дарил ей что-нибудь исключительное. Дверь открылась, и он увидел грубое мужское лицо с еще не протрезвевшими глазами; он даже не смог скрыть своего потрясения, стоял столбом, и у него что-то предательски подергивалось возле глаза, какой-то дурацкий мускул; сам он, разумеется, не мог видеть этого глупого подергивания, но ясно представлял себя со стороны, и этого он так и не мог потом забыть, вспоминал с отвращением к себе и гадливостью.

– Что тебе? – развязно спросил мужчина, напоминающий своим сложением какого-нибудь военного курсанта. – Ты к кому, уважаемый?

– То есть... я к себе, простите, ведь это квартира тридцать четыре? – обрел наконец голос и Одинцов.

– Не занимайся ерундой, дорогой папаша, – бесцеремонно оборвал незнакомец, и у него в голосе почему-то появился грузинский акцент. – Здесь живу я. – Он сунул руку куда-то себе за спину, и перед глазами Одинцова появился паспорт. – Пожалуйста, дорогой папаша, прошу, – гордо сказал счастливый соперник, и тогда случилось самое ужасное. От растерянности отвергнутый любовник паспорт взял и стал старательно изучать, и беспорочный важный документ бесстрастно поведал ему (вновь задергалась проклятая щека под левым глазом!) о событиях вполне конкретных и весьма жизненных. Незнакомец, по имени Чхеидзе Шалва Иосифович, оказывается, постоянно прописан по данному адресу, именно в квартире тридцать четыре, и прописан по той простой причине, как понял Одинцов, перелистнув еще одну страничку, что неделю назад зарегистрировал свой брак с гражданкой...

У несчастного влюбленного явилось сильнейшее желание швырнуть ничем не виноватый документ наземь и истоптать его, растереть в пыль и прах, и он, судорожно дернув величественными бровями, сунул паспорт в руки вдохновенного от привалившего счастья южанина и, строя самые невероят-

ные планы мести, минувя лифт, молодым галопом покатился вниз по лестнице. Вслед за ним понесся короткий смешок, и торжественно бесповоротно хлопнула дверь.

– Шлюха! шлюха! мерзкая шлюха, – повторял про себя обманутый, давно уже известный ученый и профессор Одинцов, пересчитывая ногами бесконечные, казалось, ступени.

В ту сумасшедшую пору все началось лихо, также с вывертом и закончилось, а затем накатило нечто темное, с непроглядных, пещерных времен, когда двое сходились и схватывались с глухим рычанием и когда некому было разделить эту беспробудную тьму хотя бы обыкновенным крестом, – до Христа еще оставались миллионы лет, а история отлагалась на дне океанов хрупкими известковыми отпечатками навсегда исчезнувших безымянных существ. А впрочем, были ли они, эти жалкие кусочки протоплазмы? И есть ли они вообще? И не игра ли это неведомых космических сил? Кто выставил перед ним этот барьер, эту пленительную улыбку, а затем пожалел? Один удар – и ничего нет, все рассыпалось, и опять бесконечная тьма, хаос, и опять...

Даже утешиться какой-нибудь замысловатой пакостью было нельзя, уж очень аккуратно все было разыграно. Кандидатская милой Ниночки уже была утверждена, ее же книга, почти полностью написанная в любовном рвении самим Одинцовым, уже печаталась главами под ее именем... Да и какое он имел право на что-либо другое претендовать? Не мог же он серьезно думать о мужском единоборстве с два-

дцатилетним соперником, да еще с южным темпераментом. Но все-таки, это было необыкновенно и чертовски обидно, думал он, запершись у себя дома в кабинете и валяясь на любимом старом диване, все еще в каком-то удивительном, почти полубредовом состоянии; стоило ему чуть ослабить волю, и счастливый кавказец тотчас начинал подмигивать ему из каждого угла. И даже сейчас, когда прошло столько времени, Вадима Анатольевича покорило; именно в моменты душевного разлада, подумал он, и всплывает самое неприятное. Ну к чему выпятился из тьмы прошлого этот жгучий джигит? Что за капризы психики? У каждого ведь в жизни не без греха, у каждого свои пропасти, под белыми одеждами праведника – ад прошлого. Поистине, кто из нас без греха, пусть первым бросит камень, и не порок страшен, а безверие...

Сколько ни старался, Одинцов не мог остановить хлынувший на него размывающий поток; и тогда пришло и окрепло предчувствие скорого завершения. Он некрасиво покривил губы, мысль эта была нелепа, – смерти в их братстве не было и не могло быть. Оставались еще и незавершенные дела, покой человеку был всегда чужд и ненужен, и поэты всегда просто лицемерили. Вот оно, вновь подкатывает, опять его старый неразрешимый спор с судьбою, с самим собой, с Богом – все свершившееся ведь переиначить нельзя, а вот смирения по-прежнему не хватает.

А потом началось и вовсе Бог знает что.

14.

Началось действительно черт знает что.

Прежде чем двигаться дальше в неизвестность, следует заметить, что у Одинцова с некоторых пор развилась одна особенность, можно сказать, научного характера; в своих бессонных ночах и трудах он любил и, главное, мог, в затруднении перед какой-либо загадкой прошлого, как бы вызвать в свидетели то или иное необходимое ему лицо, давно уже пребывающее в ином мире, и не только заинтересованно побеседовать с ним о нужном предмете или повороте истории, но, при случае, и поспорить. Сам профессор не знал, с чего это началось; он никогда и никому о такой своей ущербинке не говорил, и лишь как-то в досадную минуту откровенности намекнул на это странное обстоятельство своему племяннику Роману. Намекнул, а затем и почувствовал неловкость, да и племянник из-за своей очередной сердечной увлеченности не придал признанию дяди значения, – он тут же все и забыл, но сам-то Вадим Анатольевич ничего не забывал. Вот и теперь, в самом унижительном и бесправном положении из-за отказавших ног, он никак не мог понять, почему это лето перескочило в зиму, – он даже точно знал, что в Москву пришел белый и веселый февральский день, и происходит вовсе уж непредвиденное. Хотя не было туч, непрерывно, редко и торжественно падал снег, – дети с визгом и сме-

хом ловили в ладошки ослепительно белые в синеве воздуха непорочные звездочки и слизывали их языком. Снежинки тут же исчезали от детского теплого возбужденного дыхания. Были горки, саночки, молодые румяные мамы, самая современная Москва с ее гудящими от нескончаемых машин улицами и площадями, с потоками вечно куда-то бегущих людей, с ее обновляющимися вокзалами, аэродромами, с ее бесконечными, пугающе одинаковыми новостройками, с ее станциями метро, похожими на марсианские кратеры, втягивающие и выбрасывающие обратно неисчислимы людские скопища, и через всю эту мешанину, словно ничего не замечая, вроде бы этого ничего и не было, шел своей стремительной походкой император Петр Великий, топорща усы, выпятив подбородок и уверенно втыкая в окружающее месиво толстую темную палку, разбрызгивая целые кварталы и человеческие муравейники, стряхивая их с палки, словно грязь или воду. Видимо, он так и не смог полюбить однажды и навсегда тайно возненавидимый им город; сердито расталкивая дома и переулки, он давил целые толпы, автобусы под его могучими необъятными ступнями мгновенно сплющивались. Из-под развевающихся фалд его сюртука из солдатского сукна сверкало золотое шитье камзола заграничного покроя, – маститый ученый отметил это про себя. Он больше чем изумился от невероятного зрелища, император стремился именно в его сторону, становился ближе и ближе, и зрачки его глаз, сузившиеся, как у рассерженного кота, напра-

вилились прямо в душу Вадима Анатольевича, сильно струхнувшего именно в последнюю минуту. Император, с презрительным раздражением, как показалось Одинцову, поглядывая кругом, к его окончательному изумлению, поднял свою огромную, вытянутую вперед ногу (профессор увидел изношенную, грубую подошву ботфорта императора), пнул в стену, опрокинул ее и тотчас, определенно в допустимых человеческих размерах, очутившись на третьем этаже, прямо перед Одинцовым, устался на хозяина, стремглав выскочившего из своего удобного кресла. Император Петр сосредоточенно повертел палку, все так же хмурясь и не обращая внимания на освободившееся кресло, верхом сел на крепкий дубовый стул, повернув его спинку к себе, и, опершись на нее локтями, хозяину концом палки повелительно указал стать перед собою, да так, что знаменитый ученый и историк, не мешкая ни мгновения, даже как-то подобострастно взбрыкнув на старости лет, выполнил требуемое и выжидательно взглянул в грозные кошачьи глаза императора: а не нужно ли чего еще, государь батюшка? И как нарочно кто подстроил, ноздри у профессора зашевелились, мучительно полезли куда то вверх, он успел перехватить своевольный нос, стиснуть его в кулаке, но неожиданный чох все таки прорвался по-бабьи тоненько-тоненько. Одинцов побелел. Поглядев на него, император соизволил махнуть рукой и как-то странно засмеяться – вздернутой правой стороной рта и половиной лица, – один ус воинственно вверх, другой – утвердительно

в сторону. Одинцов приготовился по профессорски основательно чихнуть вторично и не посмел, – какой-то раздражительный, йодистый запах слабел, и тут ученый заметил на ботфорте у императора клочок морских водорослей, и радостно, от разъяснения загадки, улыбнулся. Петр качнулся в его сторону, и профессор замер, он постарался сдержать даже стук собственного сердца. И дальнейшее он воспринимал в совершенном недоумении и изумлении; император молчал, лицо у него словно окаменело, и в то же время профессор слышал его голос, возникающий как бы само собой и разносившийся под низкими кирпичными сводами; казалось, что голос исходил именно из самих сводов, рождался в их вековечной толще, а сам император Петр был всего лишь фантомом без плоти и голоса. И тогда профессор двинулся проверить свое предположение; сделав в лице своем благочестивое выражение, он стал тихонько подкрадываться стороной к месту, где устроился император.

«Что?» – тотчас, казалось, не размыкая рта, спросил грозный гость, и Одинцов невольно выставил вперед ладони, как бы ограждаясь и защищаясь от неминуемой грозы.

«Ничего, ничего, я – ничего» – поспешил заверить он и, на всякий случай, слегка отступил, примериваясь взглядом – достанет, коли что, палкой или нет. Император заметил в это время зацепившийся за ботфорт клочок сизовато-бурых водорослей, откинул их от себя концом палки, достал коротенькую, с обкусанным чубуком трубочку, любовно и милостиво

погрел ее в своей вместительной царской длани, набил табачком и с видимым наслаждением разжег, – ароматный дымок приятно защекотал ноздри профессора, переминавшегося с ноги на ногу и не знавшего, что ему делать дальше, – отойти в сторону или постараться незаметно выскользнуть в недалекую дверь. Почему-то присесть в кресло на глазах у императора ему даже в голову не приходило, и он лишь досадливо покосился на это дурацкое кресло; с хитровой мужицкой усмешкой покосился в ту же сторону и сам император, затем непонятно хмыкнул, еще пососал свою, каждый раз норовисто всхрапывающую трубочку, деловито выколотил ее о каблук ботфорта, шумно продул и сунул в карман.

«Ну, муж, зело ученый, молчать нечего, говори, раз хотел меня видеть» – все так же не размыкая губ, приказал он.

«О чем же, государь?» – спросил Одинцов.

«Ну, это ты сам должен знать, ты меня потревожил... Должно быть, у тебя государево дело, раз ты осмелился на такое. Говори же! – приказал Петр, все пристальней и зорче, словно окончательно прицеливаясь, всматриваясь в Одинцова. – Запетлял, что ли, в своих мудрствованиях лукавых? Знамо, перо – оно легче сохи. Как ты в своих многописаниях ернических перед всем миром многославное чело народа русского поганишь? В добре ли речешь, в подлинности природы или в бумажном тщеславии, от своей прихоти и корысти? Или ты по иному делу хотел меня видеть?»

«Да я, государь... я» – профессор бросился было к столу

с горами рукописей, летописей, книг, больших тетрадей и справочников, гранок, но император Петр властно остановил его.

«Стой, дьяк! Раз ты такой зело ученый и многомудрый, ты мне без всяких бумаг ответствуй, дабы я сразу уразуметь мог и глупость, и мудрость твою... Ишь, – совсем уже подомашнему проворчал Петр, – привыкли, – как что, соску в рот. Не было тут за вами доброго присмотру. Ну, что ногами-то сучишь, говори!»

«Говорить-то что, государь? – спросил Одинцов даже профессорски спокойно от сознания собственной правоты. – Все просто, вопрос передо мною выскочил, а ты, государь, в самом корне этого вопроса. Я твой последователь и союзник, – как ты и предугадал, кончился русский народ. Надо ему, для его же спасения раствориться в разных других породах да племенах окончательно. Страшно мне становится от такой мысли, да делать нечего, ты, как первый пророк этого дела, укрепи в душевном ознобе ученика своего».

«Ох, чешешь языком-то, ох, чешешь! – от великого желания понять император вновь полез за трубочкой и табаком. – Говори, что ты измыслил, дьяк? С кем у тебя такой сговор? Со мной, говоришь?»

«А ты на меня всего не вали, государь, – обозлился профессор. – Какой сговор? Ты выслушай, вдумайся, здесь совсем другое. А то голову отрубишь, а потом к ответу не призовешь! То-то!»

«Говоришь, не достану?» – не поверил император. – Оттуда ходу вроде нет? Загорится у тебя, сам придешь...»

«Нет, государь, не приду» – заупрямился профессор и покашлял в кулак.

«Не придешь?» – переспросил император, а у самого, как у озябшего кота, стали топорщиться усы.

«Не приду, не то классовое общество, – довольно нелюбезно оскалился профессор. – В твое, государь, мне не попасть, не положено мне по реестру...»

«А-а! Вот ты как завилюжил! – потянулся к нему Петр, резко выбросив вперед руку с зажатым в ней чубуком и черенком едва не вышиб профессором глаз, – ученый муж ошалело отдернул голову. – Ишь, завилял! Ты мне свои воровские речи не талдычь... Как смел ты замыслить вровень со мною подниматься? То-то я припоминаю про твой московский род... все своей родовой кичились, вшивые бородачи, все по углам шептались, от свежего ветра тараканами шарачались!»

«Ты, государь, не так меня понял, – закачался из стороны в сторону Одинцов. – Уразумей меня правильно, жизнь взяла и повернула – был русский народ, да весь вышел... Государь! Государь! – опять увернулся он от карающей державной палки. – Истину же говорю, не первый, не последний раз, когда от великого народа оставался один язык, какие-нибудь мертвые памятники да литература... вот как сейчас – социалистический реализм...»

«А ну размысли свое блудословие!» – повысил голос Петр, и у него опять дернулись усы.

«Книги, государь, книги, – поторопился объяснить профессор. – Ничего иного не осталось... какая уж тут наука история!»

«Стой! Стой, дьяк! – потребовал Петр. – Как смеешь ты моих указов не блюсти? Говори!»

«Каких же, государь, указов?»

«А ты читай!» – приказал Петр, и профессор с изумлением увидел, что держит в руках старый плотный лист. Сомнений никаких быть не могло, – и сама бумага, и герб, и печать, и подпись не вызывали сомнений, и ученый муж тотчас и уткнулся в государственную бумагу носом. «Поелико, – читал он негромко, и все еще с некоторым тайным недоверием, – в России считают новый год по разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать новый год повсеместно с первого января. А в знак того доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает. Петр I. 15 декабря 1699 года».

Оторвав глаза от указа, Одинцов хотел спросить, что все это значит, но пришедший в явное беспокойство и возбуждение гость не дал ему говорить.

«Дядя! дядя! князь!» – внезапно потребовал он, и виски у него молниями перечеркнули лиловатые неровные жилы; тотчас дверь, за спиной у хозяина распахнулась, и ему в затылок кто-то громко и душно засопел; профессор оглянулся, обмер. Перед ним стоял страшный князь-кесарь Ромодановский в тяжелой шубе и зло поблескивал маленьким мутным глазом.

«На дыбу! – сдерживая голос, приказал Петр, словно через силу тыча в сторону Одинцова концом палки... – Сечь нещадно, железами тронуть, ломать... допытаться, с кем из недругов России снесся сей мерзопакостный дьяк... На дыбу!»

Профессор хотел закричать, протестуя, вскочить, чтобы всякое наваждение рассыпалось, растаяло – и не смог; горло перехватило, и лишь тонкой, свистящей струйкой прорывался в грудь воздух, а князь-кесарь, не желая никуда исчезать, наоборот, по-медвежьи надвигаясь, сопя, с недоверчивой досадой прицениваяще оглядывал строптивного, взерошенного супостата и царева злоумышленника.

«Слаб, государь Петр Алексеевич, не сдюжит, – покачал он головой в сомнении. – Слова из него не успеешь выхлопотать, только себе в убыток нянчиться...»

«На дыбу! – оборвал его император, и глаза его потянули в себя ослабевшего Одинцова. – Это есть один из величайших злодеев земли Русской... Ты родом не из Москвы ли?» – вновь озадачился Петр вопросом, и профессор утвердительно-

но и судорожно затряс головою, – из Москвы, мол, из нее, родимой...

«Ага, видишь! – повел Петр крутым плечом в сторону князя-кесаря. – Все они оттуда, сверчки запечные, – стрекочут, стрекочут по углам... От меня Карла через всю Европу бежал, я стрельцам головы рубил, воевод за лихоимство и корысть вешал, – такого же лютого злодея не попадалось. Пытать нещадно! С предостережением, дабы сразу языка не лишился!»

Тут князь-кесарь что-то вполголоса сказал императору, – тот дернул головой.

«Вот оно что, – процедил он, и усы у него взлетели вверх, сверкнули плотные влажные зубы. – Вор какой, всех родных, говорят, загубил? Ах, зверь...»

«А ты, государь, не зверь?» – тоненько-тоненько спросил профессор, и сразу же спохватившись, побледнел и даже прихватил ладонью прыгающие от незаслуженной обиды губы.

«Говори дальше...»

«Не скажу! Ничего не скажу!»

Петр свел брови, шевельнул плечом и тут же, невесть откуда, ворвались двое меднорожих молодцов в нательных длинных рубахах – тонкий ремешок по поясу, и Одинцов не успел перекреститься, хотя очень хотел, не успел ахнуть. Ему заломили руки и повлекли по каменным стертým ступеням, полукружьями уходящим вниз, – от одного из молодцов

в меру молодо попахивало сивухой. Сзади грузно топал Ромодановский; не успел профессор опомниться, как очутился в обширном подвале с затейливыми сводами, – подвал был глух, без единого окошечка, и тотчас сердце у него оборвалось и покатилося. Вероятно, это и была последняя минута перед смертью, и он бессильно обвис в руках своих безжалостных влачителей, – его опустили на грязный, затоптанный пол на колени, и один из палачей сорвал с него сорочку, ту самую, что недавно привез из Италии профессору один из самых его талантливых учеников. Оглянувшись на князя-кесаря, оба заплечных дел молодца отошли к стене, одинаково крестом сложили руки у себя на груди и застыли в ожидании.

«Пустая твоя затея, Петр Алексеевич, – недовольно сказал Ромодановский. – Хлипкий народ пошел... видишь... Что зря время-то точить? Отрубить ему голову, и все дела!»

Раздвинув душные полы шубы, князь-кесарь с кряхтением опустился на скамеечку, услужливо пододвинутую ему одним из писцов, а Петр затащил себе в рот прокуренный кончик уса и пожевал.

«Эка пес... притворяется, небось...»

«Нет, Петр Алексеевич, – слаб, стар...»

«Стар да зол. Смрад от него зловонный и непотребный для нашего дела, – решил Петр. – На дыбу!»

«Да он, может, без уязвления отверзнет поганые уста свои», – предположил князь-кесарь, с неудовольствием принюхиваясь к каменной подвальной сырости, – поворчав о

возможивших костях, о дурной погоде (и она стала несносной в первопрестольной!), он приказал затопить камелек; подъячий тотчас и ринулся исполнять приказание, а Петр недовольно выкатил круглый глаз, покосился.

«Медлителен ты стал, дядя, кровь тебя не греет, – посетовал он. – Россия не ждет, ее предначертания весьма велики, дядя! Кости! Сырость! – фыркнул он. – Эй! – возвысил он голос, и перед ним тотчас появился денщик с двумя чарками огненной перцовой водки на круглом серебряном подносе. – Выпей, дядя, – хмуро кивнул Петр, сам одним махом опрокинул чарку, крикнул, вытер усы. – Ну, что там?»

«Глядит!» – весело отозвался один из молодцов у стены.

«А-а, глядит! – обрадовался Петр. – Волоки сюда... так... допросить со всем стережением – кто, откуда, как», – приказал он и, усевшись на низкую, тяжелую скамью у стены, чуть в тень, нетерпеливо вытянул длинные, как у цапли, ноги и, достав трубку, выражая предельное, жадное любопытство, приготовился внимательно слушать. Ромодановский, по-прежнему с недовольным лицом, дал знак, и к профессору тотчас приступил, словно явился из смутной тьмы одного из углов подвала, широкоскулый, с горячими и косыми монгольскими глазами, – он сразу как-то даже любовно и заинтересованно ощупал взглядом все нелепое от нездоровой сидячей жизни тело известного ученого, и у того мерзкой гусиной изморозью свело кожу на спине и по всему подбрюшью. Невыносимая азиатская рожа в дополнение ко всему

по-заговорщически, как своему, подмигнула, сверкнув белыми зубами.

«Говори, кто таков, откуда, из какого сословия» – приказал азиатец, а старый дьяк, согнувшись еще больше, приготовился писать. Скорехонько вышмыгнул перо из-за уха, тщательно вытер его, деловито потыкав себе в лохматый затылок, и нацелился на чернильницу, – в его лице тоже проступило что-то хищное, птичье, – узнику показалось унижительным разговаривать лежа, и он, тихонько подобрав ноги, сел.

«Доктор исторических наук, профессор Вадим Анатольевич Одинцов, – довольно бойко начал отвечать он. – По социальному происхождению – служащий. Лауреат Государственной премии, академик...»

«Родился, родился где?» – с кривой усмешкой перебил его азиатец, почему-то опять по-свойски подмигивая.

«Здесь, в Москве, на Селезневке, – упрямо мотнул головой Одинцов, окончательно приходя в себя. – Где же мне еще родиться?»

«Молчи, не тщеславь, – оборвал его Ромодановский, повеселевший после внушительной чарки царской перцовки. – Где и когда вступил ты, вор, в сговор с погубителями государства Русского? Ответствуй!»

«Такого не было... гнусный навет. Не так меня понял государь, – каменея сердцем, ответил профессор. – Я...»

«Как не было? – загудел из своего угла Петр. – А твои мерзкие словеса про гибель народа русского?»

«Ты не так меня понял, государь, – начиная терять над собою контроль, повысил голос Одинцов. – История сложилась так, что...»

«Стой! Что за история? Говори» – приказал Петр.

«История как наука, государь, предполагает...»

«Ты мне это брось! – вознегодовал Петр. – Геродоты нам и без твоих подсказок ведомы. Ты ответствуй, что ты и твои застольники замыслили в погубление народу и государству Русскому?»

«Государь! Да все ведь не так, как тебе представляется, я ведь только констатировал факт, записал в книги то, что случилось задолго до меня и помимо меня. Ни я, ни кто иной, даже ты, государь Петр Великий, ничего в истории изменить не волен. История это то, что уже свершилось».

«Врешь! – сказал Петр почти спокойно, лишь сверкая глазами. – Ты себя со мной не моги равнять, я и после смерти – Петр, и делаю историю!»

«Истинно так, государь, и однако...»

«Что там еще врешь?»

«Почему ты со мной так плохо говоришь? – окончательно возмутился Одинцов. – Я тебе повторяю, я – доктор, профессор, лауреат, академик, у меня – кафедра, институт, у меня сам товарищ Суслов Михаил Андреевич постоянно консультировался, и никогда... Впрочем, ладно, государь, хотел что-то сказать, теперь же хоть убей, не скажу», – злонамеренно обрадовался профессор, а также и академик, и неожидан-

но совсем по-детски состроил князю-кесарю оскорбительную рожу. Тот озадаченно пошевелил бровями и посмотрел на Петра.

«Скажешь, скажешь! – сдерживая голос, пообещал Петр. – На дыбу, – кнутов! Скажешь, вспомнишь все до тринадцатого колена...»

В гулком подвале не стих еще хрипловатый голос Петра, как Одинцов уже был вздернут, бледные, интеллигентски дряблые его руки с противно обвисшими старческими мускулами податливо вывернулись, затрещали в суставах, отчаянно хрустнули в плечах, и в тот же миг жгучий, почти стонущий удар кнута косо ожег ему спину, казалось, проник до сердца, отдался в мозгу и, теряя сознание, он увидел мерзопакостную, сладострастную рожу азиатца, с косым ярко сияющим глазом. И тут же рухнул второй удар, еще безжалостнее и нестерпимее; профессор и академик хотел протестовать, не успел, потому что последовал еще удар, и еще, еще; Одинцов трагически прошептал: «Деспот!» и закатил глаза. Очнулся он от невероятно гадливого ощущения, что на нем плотной коркой шевелятся живые, холодные мышцы, с мокрыми проворными лапками, – он стал сгребать их с себя, закричал и открыл глаза.

Он вновь лежал на полу подвала, и азиатец лил ему на голову воду из медного кувшина. Он жалобно фыркнул, сел. Князь Ромодановский, наскучив происходящим, тихонько дремал, сам Петр с хрипотцой посасывал свою трубочку и

ждал, и когда профессор, помогая себе дрожащими, хлипкими руками, сел, все сразу оживилось; князь-кесарь приоткрыл один глаз, Петр потопал ногой и подался вперед.

«Ну, теперь скажешь?» – спросил он с некоторым любопытством.

«Теперь совсем ничего не скажу, государь, – дерзко ответил Одинцов. – Твой гений, государь, не избавил тебя от постыдных замашек деспота и палача...»

«Молчи, молчи! – почему-то весело прикрикнул Петр. – Ты своим судом судить меня не моги, не волен. Я паче всего другого – царь, от того и все остальные размыслы! Надо мной един суд – судьба России».

«Какая непозволительная демагогия!»

«Что? Опять поганая ересь? Будешь говорить?»

«Не буду! – решительно отрезал Одинцов. – Расшумелся-то... Сказано, не буду – значит, не буду».

«На крюк его, – ну-у!» – приказал Петр, и узник увидел, как азиатец, подмигивая всей своей рожей, растянув рот до ушей, приближается к нему по-кошачьи неслышно с непонятным предметом в руках. Профессор опасно прищелкнул, – азиатец держал перед собою большой железный крюк с острым, хищно загнутым концом, – смертная тоска облила душу Одинцова. Все равно ничего больше не скажу, подумал он. Лучше десять раз умру, а потешать его невежество не стану, пусть он хоть трижды великий царь, вот не скажу ничего – и все, пусть хоть лопнет со своими сатрапами.

Меднорожий азиатец уже стоял рядом и примеривался, – одним ловким движением он опрокинул профессора и академика лицом вниз, прыжком уселся ему на голову, так что тот едва тут же и не задохся от ужасного плотского запаха давно не мытого тела. Второй палач вскочил Одинцову на ноги, и в тот же миг азиатец вонзил крюк ему под ребра, – несчастный мученик тоненько и длинно взвыл. Но азиатец уже сноровисто натягивал веревку; еще не пришедший в себя от зверской боли профессор почувствовал, что его выламывает и влечет какая-то адская сила вверх, ребра его потрескивали, позвоночник выгнулся под тяжестью тела дугой, мерзкая горячая боль залепила, казалось, даже глаза. Он хотел закричать, из отверстого рта потекла какая-то противная теплая жидкость, – он всегда не выносил крови, и тут, изломанный, с огненным жалом в спине, достающим время от времени и до мозга, он не выдержал.

«Отпустите, – прохрипел он, с ненавистью уставившись слепыми от боли глазами в плоскую рожу; азиатца. – Скажу...»

Выхватив трубочку изо рта, Петр радостно оскалился, – профессору даже почудилась у царя в лице одобрительная усмешка, – мученика сразу же опустили на пол, с привычной ловкостью вынули у него из-под ребра согретый скользкий крюк, и окончательно оглушенный происходящим профессор, дернувшись, с облегчением закрыл глаза и, еще опасаясь вдохнуть полной грудью, уже наслаждался освобожде-

нием и покоем. Он понимал, что теперь нельзя заставлять императора ждать, но не мог отказать себе в удовольствии помедлить; шевельнувшись, сделав над собой усилие, он сел, зажимая изорванный бок ладонью и укоризненно глядя на ждущего Петра.

«Сам, государь, виноват, – упрямо заявил он, – сам, своей волей погубил Россию. Подожди, подожди, – заторопился он, – я тебя, государь, всегда считал величайшим человеком нашей истории, только с завязанными глазами махающим державной кувалдой... Прости, забыл, ты ведь совершенно не знаком с диалектикой, мало что поймешь...»

У Петра застрял дым в горле, и он, тараща глаза, стал надрывно кашлять, при этом лицо у него сделалось совсем детским, обиженным, и князь-кесарь обеспокоенно зашевелился на своем сиденье.

«Хорош сказочник, ну, а дальше-то, дальше?» – смог наконец выговорить император с заметным любопытством.

«Если уж переходить на твой язык, то ты, государь, и есть самый срединный губитель России. Погубил ты и державу русскую, и свою царскую фамилию, так что теперь все надо начинать сызнова. А силы-то в народе уже не те. Утешься только тем, что ты не виноват, бывали в истории и величайшие слепцы-строители, на то были объективные причины. Не ты, так был бы кто-либо другой, и тоже бы разрушал русскую душу, пытался бы строить ее на привозном сыпучем песке, а этого ни у кого и никогда не получалось и не полу-

чится, – душа народа может расти в благополучии только из самой себя» – завершил профессор свое заветное слово, бесстрашно и даже с каким-то болезненным наслаждением глядя в подрагивающее от внутреннего неистовства лицо императора Петра.

И потом случилось непредвиденное, – обжигающая искра пробежала между двумя людьми, столь далеко отстоящими друг от друга; у Петра интерес вспыхнул от никогда не испытанного ранее изумления и даже потрясения, а у профессора и академика от собственной дерзости, – как он, действительно Петр Великий, отреагирует, какой будет его следующий шаг? Тут даже у человека умеренного, рассудительного, умеющего держать себя в любых обстоятельствах, каким был Вадим Анатольевич, ретивое, что говорится, сорвалось и понеслось во весь дух. Далекое не каждому в жизни выпадает удача испытать чувство полета над бездонной пропастью, да еще под безжалостным прицелом, – в любой момент мог грянуть роковой выстрел. Но если сердце остановилось, не все ли равно, с какой высоты падать, в пропасти или на ровном месте расшибиться?

Одним словом, Одинцов, со свойственным ему в критические моменты бесстрашием, принял вызов, и Петр потребовал еще перцовой водки, покосился испытывающе на строптивного и забавного ослушника и приказал, для утоления печалей, поднести и ему. Тот взял, твердо поглядел Петру в глаза, выпил, остаток вылил на ладонь и, морщась, прижал

рваную, с вывороченными кусками мяса, рану на боку.

«Жить, небось, еще хочется?» – поинтересовался Петр, расправляя усы и цепко присматриваясь к языкастому, зело ученому вору, открывая в нем все новое и новое для себя.

«Нет, государь, уже не хочется...»

«Что ж тогда?»

«Правды хочется, государь...»

«Эк, несет, – хмыкнул Петр, понимая, что оба они топчутся на месте, набираясь сил для главного. – Правда – зелье гремучее, в ней всего намешано, не разберешь на трезвую башку».

«Может, оно и так, государь, – кивнул, соглашаясь, допрашиваемый. – Только разобрать охота, – от любопытства и человек в мире явился и пошел».

«Мудрено, мудрено закручиваешь, – задумчиво заметил Петр. – А у тебя, может, и жизни осталось с вершок. Что топчешься?»

«Никак разбег не возьму, государь».

«Та» давай, бери» – милостиво разрешил Петр.

«Значит, можно?»

«Валяй, дьяк...»

«Ты, государь, родными меня корил, – трудно вздохнул Одинцов, чувствуя набухающую больной глыбой развороченную грудь. – А сам? Обрек на смерть сына своего наследного – Алексея Петровича и тем подрубил державу Русскую... Знаю, знаю, – частил профессор, пользуясь всеоб-

щим замешательством. – Ты многое сказать можешь! Действовал в укрепление, в защиту государства Русского, в защиту своих титанических зачинаний! А вон как откликнулось ныне, – все распалось и разваливается, значит, несправедный у тебя зачин был... Вон какой многой кровью приходится ныне расплачиваться! Лютая беда пришла в Русскую землю, она теперь все с самых начал перевернет и заново высветит! Вот что ты на это своим потомкам ответишь, государь? – со страстью в голосе, как это у него бывало в минуту совершеннейшего забвения, спросил профессор, и тут же спохватился, что перехлестнул через край, – даже и здесь, в столь небывалом происшествии, его подвела собственная слабость оставлять последнее слово за собой, та слабость, осознав однажды каковую, он в былые лучшие времена умел успешно бороться и преодолевать свое тщеславие. Но сейчас накал был таков, что он, даже явно осознав свой губительный промах, не мог удержаться и продолжал нестись на самом высоком гребне души, осознающей свою правоту и необходимость в мире. – Да, да, государь! – продолжал он высоким, звенящим и молодым голосом. – И царь – человек, и раб – человек, у каждого из них своя мера, вот только конец – един! Ты, государь, ты, ты, ты начало русской гибели!»

Петр вскочил на ноги, дергая маленькой головой где-то высоко над профессором, лицо у него изуродовала гримаса гнева, и Одинцов, наслаждаясь своим могуществом судьи, не дрогнул, он лишь самодовольно, как-то пренебрежитель-

но кивнул в сторону князя-кесаря, словно всю вину взвалил на него. У Петра лицо то багровело, то становилось белым, и все встревожились, как бы императора не хватил удар. Даже профессор обеспокоился мыслью не успеть высказаться о самом сокровенном и заторопился, – это было для него самым главным сейчас. В одну секунду словно живительный огонь вспыхнул в его жилах, и он, теперь уже совсем по-молодому, приободрился, он всем своим существом ощутил, как непереносим удар для Петра, – в широкой царской ладони жалобно хрустнула любимая трубочка, и самодержец, взглянув на нее, с неожиданной яростью швырнул ее прочь, и затем, окончательно нагоняя страх на всех, топнул ногой.

«И не было больше в России ни одного истинного русско-го правителя после сыноубийства твоего, – заторопился профессор, понимая, что времени может и не хватить, и, однако, чувствуя ни с чем не сравнимое блаженство души. – Все немцы да немцы пошли, государь. А им до России ли, до ее забот? А твой указ не жениться русским царям на русских девушках? Ведь он и в нашу советскую эпоху оборотился, что ни правитель, то иноземец, а жену себе берет только из племени иудейского... Коли на твой лад мыслить, ты самый великий злодей у России и есть...»

«Врешь, врешь» – неожиданно тихо засмеялся Петр, оправляя на себе растерзанный ранее ворот камзола, и уже роковые слова готовы были как бы ненароком сорваться с царских губ, но Одинцов словно угадал их и опередил. В

один момент подскочив с каменного пола и воспользовавшись растерянностью и всеобщим ужасом, он метнулся из подвала наверх в свой кабинет, а уже в следующую минуту был с резвостью необыкновенной опять перед императором Петром, протягивая ему трубочку плотной бумаги, – тот молча и недвижно глядел перед собой мертвыми глазами. И тогда профессор, мимоходом и с удовлетворением отметив растерянность императора, рывком развернул бумагу и поднес ее ближе к лицу Петра, – это было собственноручно вычерченное ученым генеалогическое древо династии дома Романовых, с дотошным указанием хотя бы мельчайшей примеси инородной крови. Торжествующая и бесстрашная от чувства собственной правоты улыбка дрожала на лице у Одинцова – у него в руках была сама неопровержимость, само предначертание судьбы, и теперь не император Петр, а сам он судил.

Петр спокойно взял бумагу, зашелестел ею, разладывая на коленях, и его задумчивая и тайная улыбка заставила профессора замереть.

«Ну, что, государь? – осведомился наконец Одинцов, стараясь ничем не выказать своего страха. – Так одни немцы и получились после тебя... Что им до России-то, государь?»

«А-а, зело старо, старо, дяк! – окончательно развеселился Петр, смял и отбросил от себя бумагу с причудливо ветвящимся в веках генеалогическим древом своей фамилии, и непонятно как в один момент оказался на середине подвала

возле Одинцова, сгреб его за грудки и, отрывая от пола, притянул к себе, – профессор видел его брызжущий огнем зеленоватый глаз. – Кто сейчас правит, говори, все говори, ты ныне самый дорогой гость, и уж я тебя на славу отпотчую...»

«Ты, государь, о другом вспомни, как сына своего засек собственноручно до смерти из-за волчьего своего норову, – прижмурившись, стараясь не глянуть Петру в глаза и не оробеть от этого, ответил Одинцов. – Волк ты, волк – не человек!»

«Дурак, царевич сам помер!»

«Сам! Сам! А разве не твоя развратная немка послала вскрыть ему вены? – от нового приступа отчаяния закричал ученый муж. – А чего ты добился? Чтобы судьбой России играла похотливая баба? Какой ты великий государь, если не видел собственного...» – Тут профессор выразил свою мысль в весьма нелитературном обобщении, и самозабвенно обрадовался, оскалился, с наслаждением захохотал прямо в безумные глаза Петра, и тот с силой швырнул дерзкого узника от себя; отлетев к стене подвала, профессор ударился об нее головой, – был мрак и покой, и он хотел с благодарностью погрузиться в него, но император, рывком оторвав от своего кафтана кусок полы, смочив его в водке, приблизился к Одинцову и вытер ему лицо, затем подsunул холодный клок сукна к ране на боку. Профессору, и в беспамятстве все это видевшему, пришлось застонать и очнуться. Усы Петра, вздрагивая от гнева, поползли вверх, и показались тесные

влажные зубы.

«Я тебе долго помирать не дам. – Профессор скорее угадал, чем услышал слова императора. – Я тебя на кусочки сечь буду, а снизу прикажу останки самых лютых ворогов земли Русской подставить, – с червями могильными! Чтоб твоя мерзопакостная кровь с этим воровским тленом смешалась! И Алешку туда же... У меня не было третьего: или Алешка, или Россия! Я, как царь, выбрал!» – Петр отвернулся к стене, пережидая; в следующий момент глаза его опять вспыхнули, опалили, – Одинцов задохнулся, но выдержал и сознания не потерял. Каким-то глубоко шевельнувшимся чувством он понимал, что сейчас исход в ту или иную сторону зависит от нерассуждающей звериной цепкости жизни, – теперь им окончательно овладел бес противоречия, и он не мог умереть, не высказав всего, в первый раз в жизни, безоглядно, в беспощадном откровении истины и знания. Сейчас это было важнее жизни, и собственная решимость пьянила, быть может, только теперь он начинал ощущать бьющую в голову и в сердце силу неоглядности. Его внутреннюю убежденность и почувствовал Петр – и это озадачило его окончательно, помешало поставить точку. Любопытный до неприличия, император, подергав усом, еще раз отхлебнул любимой перцовой и коротко приказал:

«Говори...»

«О чем, государь?»

«Про то говори, откуда у тебя сила самому царю прямо в

очи напраслину нести» – сказал Петр.

«Я правду говорю» – не стал отступаться от своего убеждения профессор и отшатнулся от неистового рыка Петра.

«А-а... опять! Алешке надобно было помереть, другого не выходило, как ни раскладывай! Ради России, чтобы она в веках исполином, столпом нерушимым стояла, пошел я на сие страшное дело! По закону, слышишь, по закону! Мне и ответ держать! – чуть поспешил добавить император, все пытаюсь поймать ускользающие зрачки своего ненавистника. – В глаза, в глаза мне гляди! – внезапно потребовал Петр, и голос его ударился в своды подвала. – Не моги в пустоту пялиться, блядин сын!»

«Каждый, государь, может ошибиться. – Одинцов, наконец пересилив себя, решившись окончательно взойти на крест, уставился прямо в дикие, брызжущие искрами глаза царя. – Вот коли такие, как ты, впадают в ошибку, так за это потом и расплачиваются народы... Государь...»

«Уж не тебе ли, вор, заказано решать участь России? – спросил Петр с мертвым оскалом, должным изображать усмешку. – Кому это дано знать? Не молчи, говори! Кому? Если у тебя сила провидеть тьму времен, говори смело!»

«Ты, государь, Россию к европейским меркам тянул, – медленно заговорил Одинцов, стараясь обдумывать каждое слово. – А Россию-то за равную так до сих пор в Европе и не признали, – невыгодно такое расфуфыренной за чужой счет Европе, погрязла навеки в торгашеском расчете! Нет,

государь, невыгодно! Да и не в том грех, сила свое возьмет. Самое главное, Россия по твоей милости, государь, потеряла лицо свое истинное, все корни свои в истории обрубилa, вот теперь ни то ни се, ни два ни полтора... А все потому, что в свой час ты не решился исполнить святую заповедь русского племени – не пришел на поклон к душе России, не испил глотка из родникового начала самой Волги. До тебя-то каждый, кто державу под свою руку получал, тайно исполнял сие по вечному завету... да ты, государь, про это, поди, и не знаешь, хоть и удостоен был в свой час высшего промысла, да забыл, из души выветрилось! Вот от России скоро и совсем ничего не останется, один язык русский, да и тот в качестве северной латыни, эскимосам рецепты в аптеку выписывать... А мне все это дело приходится узаконивать в истории и доказывать, что по-другому и быть не могло. Я тебе честно скажу, не знаю, чего больше во мне – восхищения твоим гением или ненависти к тебе...»

Он замолчал, хотя ему еще много чего оставалась сказать, – замолчал он, заметив перемену в глазах императора, какую-то глубокую усмешку, сразу поразившую и озадачившую.

«Что умолк? – спросил Петр почти миролюбиво. – Уж куда как заврался – дальше некуда! Какой глоток, какая такая заповедь? Вот какова корысть! А? – глянул он на дремавшего князя-кесаря. – Ох, куда хватил, а? А про то и не подумал, что гибель России – всему миру гибель, потому что Россия

– срединный столп, на своих плечах и Европу, и Азию держит. Так с испокон веков было, и не тебе Божье уложение менять. Хотел бы я видеть, рухни сия опора, какая бы кровища хлынула в мир – потоп бы кровавый поднялся выше горы Арарат! – Указывая на своего супротивника, император Петр громко и радостно захохотал. – Ты всю жизнь, дяк шелудивый, блудил с завязанными глазами, мнил себя зело ученым мужем, и принимал свой блуд за историю. Зря меня из такой дали призвал – уж я-то тебя не пожалею. Это тебя, вор, не было и никогда не будет, а Россия – она до скончания земли! И я вместе с нею, – был и буду, слышишь ты, червь чернильный? Тебе голову отсечь мало!» – Голос Петра неожиданно притих, только глаза как бы ожили окончательно, и он на мгновение застыл, озаренный какой-то силой, и тотчас на лице у него появилась величавость и даже торжественность, хотя где-то в усах вновь затеплилась хитроватая усмешка. И тут от императора в душу Одинцова потекла леденящая вечность, и профессор заметался, затосковал, он почувствовал, что дыхание у него вот-вот пресечется.

«Нет же, нет, отрубить тебе голову слишком просто. Другая казнь ждет тебя. Повелеваем...»

Кровь еще больше замедлилась в жилах у профессора, он хотел протолкнуть воздух в грудь – и не смог, он лишь видел, как откуда-то возник писец, осторожно шмыгнул красным носом и приготовился увековечить на гербовой бумаге грозные слова императора.

«Повелеваем, – повторил Петр непререкаемо, – явиться сему ученому вору в свет Божий еще раз через два столетия в граде Москве, дабы мог он убедиться в своей гнусности к Русской державе, дабы мог узреть, как все его дела и замыслы бесплодно рушатся, и дабы все его родичи и потомки проклинали час, когда явились в мир от его подлого семени...

Указ сей выполнить с великим тщанием... а теперь вон его!» – приказал император, уже не глядя в сторону Одинцова и сразу же забывая его, как нечто ненужное.

«Постой! Постой! – рванулся было к неумолимому императору Одинцов в темной тоске души, чувствуя завершение самого захватывающего и великого в своей тайной жизни. – Одно слово, государь, а ты... уверен? Только одно слово, ведь сейчас тебе нельзя солгать... последнее слово...»

В надежде услышать ответ, в дерзости, а больше в отчаянии, он хотел ухватить Петра за полу кафтана, но руки его скользнули по пустоте; в голове у него окончательно замутилось; усатое лицо императора заострилось, вытянулось, на Одинцова уставились жуткие нечеловеческие глаза, – в них таилась древняя тоска по теплой, живой крови и больше не было никакого императора, ни князя, ни раскосых молодцов в подпоясанных длинных рубахах, обрызганных кровью; из стен вышли серые остроухие звери, сели вокруг и горячо и зловонно дышали профессору в лицо. Один из зверей стал слизывать горячим языком кровь с изорванного крючьями бока Одинцова, а другой, задирая длинную острую морду к

потолку, завыл на одной, до жуткости бесконечной ноте, – рядом же, словно одобрительно прислушиваясь к вою сотоварища по стае, уселся еще один, совершенно особый волк, самый большой, лобастый, глядел круглыми, желтовато мерцающими глазами страшного царя.

Одинцов закричал и потерял сознание, – круг его жизни замкнулся.

15.

Очнувшись, Вадим Анатольевич Одинцов с трудом поднял тяжелую, свинцовую голову, – оглядываясь и помогая себе руками, он попытался выбраться из кресла. Сразу не осилив, он обиженно обрушился обратно и, уже несколько приходя в себя, с видимым усилием провел ладонями по груди, по ребрам и, поднеся ладони к глазам, долго их рассматривал, даже бережно втянул в себя воздух оголенными, хищно запавшими ноздрями. Запаха крови не ощущалось, и тогда он заставил себя усмехнуться; вспомнилось что-то невыносимо дикое и с полчаса прошло в более чем странном состоянии, – и на руках никакой крови не оказалось, и ребра были целы. И лишь в ушах по-прежнему шумело и ныло; он вновь повел глазами – вокруг было пусто, а на столе красовалась недопитая бутылка коньяку. Задержавшись на ней взглядом, он недоверчиво хмыкнул, – очевидно, был какой-то повод распивать старый коньяк, но какой? Сколько он ни пытался, ничего определенного вспомнить не мог, и постепенно опять прихлынуло и разрослось чувство подавленности и совершеннейшего одиночества. «Надо же, какой фантастический кошмар! – отметил он, уже начиная анализировать и отыскивать смысл случившегося. – Неужели я просто спал? Невероятно, невысказано...»

Из-под двери в коридор густо пробивался свет; позвать,

тем более встать и сделать хотя бы несколько шагов сил пока не хватало. Он знал, что развязывался еще один тугой, для него, вероятно, уже последний узел, и необходимо встретить предстоящее спокойно, как это и предопределено русскому солдату, – правда, еще оберегая себя, он невольно отдалял самую неприятную минуту. Он уже вспомнил, почему на столе стоит бутылка, рядом никого нет, и почему за много-много лет впервые здесь, у него в доме, была сестра, и почему ему так странно живо представился давний, но, оказывается, совсем не забытый спор с зятем о Петре Первом, – и даже не это было самое неприятное. Что такое эта потеря сознания: обморок или просто галлюцинация? Комплекс неполноценности, несуществующей вины? Несуществующей? Откуда же такой душевный кавардак, раздавленность? Точно бесхребетное насекомое, наступили, перетерли пополам, вот и лежит, шевелится, а сдвинуться с места не в силах... А может, все-таки, какой-то временный недуг, что-то вроде обморока, и скоро все пройдет?

Он рассердился на себя, на свою непростительную слабость, тут же напомнил себе, что случившееся с ним не может быть лишь болезнью и что это нечто совершенно иное, пока неразгаданное. И в тот же момент он увидел племянника, тихонько устроившегося в стороне в старом, низеньком кресле возле стеллажей. Некоторое время они смотрели друг на друга – дядя с недоумением и недовольством, племянник с явной тревогой.

– Что ты здесь делаешь? – спросил Одинцов. – Где все остальные? Кажется...

– Как ты себя чувствуешь? – остановил его Роман, придвигаясь ближе вместе с креслом. – Ты зачем нас пугаешь, а, Вадим? Давай я схожусь за врачом, за нашим Трофимычем – машина на ходу, я мигом...

– Никакого Трофимыча не надо, – решительно отказался Одинцов. – Со мной и не такое случается, здесь любой Трофимыч – мертвому припарка. О деле давай, Роман, и, пожалуйста, перестань валять Ваньку, – мне ведь известно буквально все. Пора и тебе кое-что узнать, только никаких вопросов. И перестань забивать мне мозги своими невестами. У тебя в воскресенье встреча с Тереховым, – слушай внимательно и не делай страшные глаза. Ждать нельзя, поедешь к нему сейчас. Передай ему, что у Сусякова состоялось закрытое совещание, в самых-самых верхах. Слушай внимательно. Было принято решение о самом беспощадном подавлении русского национального самосознания, любое проявление русской национальной идеи решено приравнять к фашизму и решительно пресекать. Надвигается последняя схватка, в обществе медленно и неуклонно формируются две потенциально исключают друг друга силы, – через несколько лет они взорвут державу, и может сгореть все...

– Вадим...

– Я просил тебя помочь и выслушать до конца, – резко оборвал Одинцов, с неожиданной легкостью и даже с ка-

ким-то изяществом встал, словно сам того не замечая, и под зверовато настороженным взглядом племянника налил большую рюмку коньяку, выпил, залихватски выдохнул из себя воздух и вызывающе дёрнул подбородком. – Вот так-то, племяш, гусь ты мой лапчатый! Вот так то, гусь пролетел, говорится в народе, крылом не задел...

– Но, Вадим, погоди...

– Ты слушай, что тебе старшие говорят, – с несвойственной ему властностью и даже резкостью вновь оборвал племянника Одинцов. – Сейчас же, немедленно поезжай на дачу к Терехову, он там сейчас, и скажи ему, что необходимо сейчас же, не медля, привести в действие инструкцию о нолевой готовности. Можешь назвать меня. И еще отдельно... Пусть обязательно позаботится о сохранении всего, созданного русским гением, ты знаешь, о чем я говорю. Когда-нибудь Россия вновь должна очнуться и воскреснуть, вот всему миру и будет явлено еще раз величие и всеобъемлющее значение русского духа! Иди, Роман...

В лице племянника, смотревшего на дядю не отрываясь, появилось вначале ироническое, затем явно растерянное и обиженное выражение; был момент, когда у него голова пошла кругом, но он усилием воли заставил себя слегка улыбнуться.

– Ну, ладно, ладно, – проворчал Одинцов, опережая племянника и тем самым как бы еще раз предупреждая его молодую горячность. – Ступай, нельзя терять ни минуты.

– Странно, – все-таки не удержался Роман. – Весь вечер пробалагурили – и на тебе! Откуда? Потом, кто такой Сусяков? Да он давно должен...

– Сусяков бессмертен! – Голос Одинцова заставил Романа внутренне сжаться. – Делай свое дело, придет час – поймешь. Будь предельно осторожен.

– Иду, – коротко бросил Роман и, не прощаясь, лишь одавав дядю еще одним быстрым и красноречивым взглядом, повернулся и вышел.

Глядя на закрывшуюся дверь, Одинцов попытался предельно сосредоточиться; некоторое время он стоял у стола и отдыхал. Затем, преодолевая невольный страх, шагнул к креслу, опустился в него, и тотчас горячая, сухая дымка поползла перед глазами...

* * *

Его опять словно рывком отбросило на четверть с лишним века назад, в другую совершенно эпоху, хотя и связанную нерасторжимой пуповиной с нынешними событиями и людьми, с ним самим, с Романом, в эпоху, подготовившую и породившую начало нынешнего хаоса в людях и в России. Но делать было нечего, и он, сдерживая бешенство, прежде, чем постучать, придиричиво оглядел старую, безобразно обшарпанную дверь, – он должен был остыть, успокоиться от быстрой ходьбы и появиться перед зятем в своем обычном

ровном состоянии и с достоинством. Он вспомнил, как сестра с мужем переезжали на эту квартиру, полученную с его же помощью, переезжали в самый неподходящий момент, и, стараясь окончательно успокоиться, еще помедлил. Увидев перед собой бледное лицо Меньшенина, его улыбку, выражающую черт знает что, только уж не радость или хотя бы элементарное уважение, Одинцов едва сдержал себя, – зять слегка поклонился и молча пригласил входить. Густые запахи коммунального коридора заставили профессора поморщиться, и дверей было слишком много, все они тоже вызывали ощущение какой-то неопрятности. Когда удалось миновать запущенный, нелепо широкий и длинный коридор, ранее, очевидно, адвокатской или докторской квартиры, ныне вобравшей в себя самый разный человеческий конгломерат, Одинцов почувствовал облегчение. От такой вот неопрятной людской скученности его всегда охватывала тоска, казалось, что именно в подобных условиях рождается все тяжелое и в жизни, и в отношениях между людьми, и поэтому, оказавшись в просторной и светлой комнате, наедине с зятем, профессор почувствовал некоторое облегчение.

– Давайте плащ, Вадим, – сказал хозяин устало, с таившими усмешку глазами. – Зоя с Ромкой еще не вернулись из Крыма. Задерживаются, нравится им парное море, едят...

– Знаю, – кивнул профессор, устремляясь к дивану и бросаясь в его удобное чрево. – Я знаю... поэтому и пришел. Нам надо серьезно поговорить, коллега, серьезно и незамед-

лительно...

– Слушаю вас, Вадим, слушаю с большим вниманием.

– Хорошо, ежели так, – сказал, остро глянув, Одинцов, вернее, он как бы вслух осторожно высказал свою потаенную мысль, но вызывало это ощущение недоверчивости и даже досады. – Скажи, пожалуйста, какая тебя муха укусила на ученом совете? Давай хоть сейчас скажем друг другу откровенно все... Хорошо, тебе не понравилась моя последняя работа – вполне допускаю. Она и не должна была тебе понравиться. Твои идеи и концепции, скажу откровенно, во мне тоже не вызывают восторга, но ведь именно в борьбе мнений, часто диаметрально противоположных, и заключается плодотворность поиска! Чем же вы недовольны, Алексей? – спросил он задушевно дрогнувшим голосом и, видя, что зять выжидательно молчит, стоя к нему спиной и заинтересованно рассматривая что-то в окно, невольно улыбнулся. – Понимаю, коллега, вы зашли слишком далеко, успели в академию свое мнение сообщить, а я вам еще раз предлагаю мир, спокойную и плодотворную работу. Мы нужны друг другу, ничего непоправимого не произошло...

Меньшенин взглянул на гостя через плечо и встретил открытый, спокойный взгляд человека, вполне осознающего свою силу.

– Я говорю, Алексей, совершенно откровенно, – подтвердил Одинцов. – Просто мне пришлось задержать свое представление, вот войдет все в спокойные берега, посмотрим...

Сам еще раз продумаю ситуацию, и другие успокоятся. В некоторых вопросах необходимо холодное сердце. Я жду, – хорошо бы именно теперь прийти к решению, мой дорогой родственник и продолжатель.

– Что вы обо мне заботиться решили? Признателен, конечно... однако, проживу и без ваших забот, благодарю, Вадим, и очень прошу оставить меня в покое, – быстро сказал Меньшенин и сразу же оборвал; в один момент все неясное, запутанное проступило понятно и зримо; все то, что он, со свойственной всем восприимчивым людям обостренностью замечал и на что не обращал внимания, укрупнилось, приобрело неуловимые ранее конкретности: и любопытно-настороженные взгляды в коридорах института, и смущенная поспешность товарищей в разговорах, и преувеличенное внимание студентов, какое-то ощущение пустоты даже в присутствии множества людей вокруг, – он теперь все время словно бы чувствовал какое-то разреженное поле, и, самое главное, оно передвигалось как бы вместе с ним. – Вот что, Вадим, – сказал он после продолжительной паузы, – признаюсь, я не предполагал, что моя записка о монастырских архивах заведет столь далеко. Но что случилось, то случилось, хорошо, не будем больше ворошить старую труху. Вопрос исчерпан, вы согласны? Вот и Сталина давно нет, ушел, отчего же так все кругом напуганы? – жестко спросил он, в то же время думая о том, что хорошо бы попасть куда-нибудь в геологическую партию, в Кара-Кумы, допустим, или в Гоби, в про-

стор, ветер и солнце... он любил солнце и сейчас подумал о нем почти с детской нежностью.

Его вернул из прекрасного далека тихий и размеренный голос шурина:

– Зачем вы пытаетесь обмануть самого себя? Ведь вы лучше любого другого знаете, что Сталин никогда не уходил и никогда не уйдет.

Глянув в отсутствующие и страдающие глаза шурина, Меньшенин пожалел его, и тут какое-то новое ожесточение сжало в груди, глаза его сузились, в них как бы плеснулся голубоватый огонь.

– А-а! – протянул от откровенно насмешливо, с той же бесовски обжигающей тоской души. – Лобзание свершилось... правда, не на тайной вечере... петух пропел. Ну что ж, не в первый, не в последний раз на земле. Вам, Вадим, и разговор наш нужен лишь для отвода глаз, все уже раньше было решено. Вы далеко не оригинальны, дорогой шурин. – Он широко заулыбался, даже как-то дурашливо хохотнул, достал откуда-то из-за шкафчика бутылку шампанского, хлопнул пробкой, налил в два фужера и протянул один изумленно наблюдавшему за ним шурина.

– Да вы что, Алексей? Ради чего – шампанское?

– Причин много, Вадим. Во-первых, чем нам хуже, тем мы должны быть веселей, во-вторых, если уж другим плохо, мы вообще должны плясать...

– Ну что ж...

Одинцов сделал глоток из фужера, поставил его на край стола, скользнул по лицу зятя каким-то невидящим взглядом и двинулся к двери. Он шел словно на ощупь, как-то боком, стараясь не выдать своего нетерпения поскорее вырваться на свободу, – глаза застилала муть обиды. Точен был последний удар, и все-таки Меньшенин был не совсем прав – многое зависело именно от их последнего разговора, даже сейчас еще можно было избежать непоправимого. Что-то остановило его, – перед самой дверью он понял, вернее, почувствовал, что ему нельзя вот так бесповоротно уйти. Ему представилась непроглядная, бесконечная тьма за дверью и ни одного близкого человека, ни одного единомышленника, – стоит только ступить за порог, и бесследно, навсегда исчезнешь, растворишься. «За что же такая судьба и такой суд?» – спросил он себя и, подчиняясь неожиданному сердечно-порыву, круто повернулся, шагнул к Меньшенину, взял его за плечи и крепко прижал к себе, и тот, ощутив чужой, неприятный запах какого-то незнакомого одеколona и мужского тела, вздрогнул. Первым чувством Меньшенина было желание оттолкнуть от себя расчувствовавшегося шурина, но это невольное движение переборола какая-то другая сила, и он остался расслабленно стоять, – горячие руки шурина продолжали тискать ему плечи.

– Ну, Алексей, ну, кто же, кто виноват, так распорядилась жизнь, – говорил Одинцов в каком-то нервном, расслабляющем порыве, теперь отпустив зятя. – Вы всяко меня обозва-

ли, ну, хорошо, несдержан, горяч, молод – да разве я не понимаю? Не хотите отойти в сторону, переждать, выступить с заявлением? Можно все просто объяснить – заблуждался, мол, до сих пор... С кем не бывает? И разве в этом дело? Зачем так по-безумному? Я же вас люблю, я вас после Романа как-то особенно люблю, зачем же нам не понимать друг друга? Где логика? Да и кто осмелится утверждать, в чем точно истина?

– Вы правы, логики нет, хотя вот вы сами осмеливаетесь же претендовать на бесспорную истину...

– В такой форме я всего лишь выражаю свои взгляды, Алексей, – устало сказал Одинцов. – Так делают все, и вы в том числе... Я же не идиот, чтобы тешить себя детскими забавами. Я просто служу, зарабатываю свой хлеб.

– Справедливо, Вадим...

– Слушайте, Алексей, вы же любите жену, сына, я знаю. Давайте устрою вас на хорошую должность? В другую сферу, пусть все оботрется. И вы сами, простите, перебеситесь, да и остепенитесь, и другие забудут, а? – Говоря, Одинцов почти просительно заглядывал в глаза зятю, но тот, опустив голову, молчал. Он понимал, что это последняя попытка шурина найти выход, хотя понимал и другое – брат жены, маститый ученый, достигший почетных степеней и регалий, всего лишь хочет представиться даже сейчас слабым человеком, хотя на нем во многом держится смертельно опасное, вечное дело русского сопротивления; втайне он восхищался шури-

ном, но правила игры требовали отдавать всего себя. Наряду с профессором Коротченко, разумеется, были и другие доброхоты, беспощадный враг всевидящ и всепроникающ, и Вадим, конечно же, находится под неусыпным контролем. Братство не погибнет в любом случае, хотя на карту поставлено слишком многое. Необходимо продолжать этот пустой, никчемный разговор, пусть сатана слушает, его присутствие явно ощущается, и нельзя допустить ни одной фальшивой ноты. И Вадим правильно сделал, что пришел и вот теперь горячится, доказывает, спорит. А с Коротченко все развяжется само собой, теперь он сам вышел на него и нужно продвинуться по этому маститому указателю как можно дальше. Давно известно: убежденные – безжалостны, верующие – фанатичны, здесь же в случае с шурином нечто другое. Проснулись родственные чувства, наконец? Призраки? Больная совесть? Впрочем, сейчас нужно думать о другом. Ведь Вадим и не подозревает, что враждебные силы каким-то образом вышли именно на него, а попутно зацепили и его новоявленного родственника, и теперь каждый их шаг контролируется и просчитывается, и даже их разговор сейчас фиксируется за глухой, якобы, стеной, в соседней квартире, и необходимо заставить их поверить в непререкаемое и никому не подвластное – в безумие, в таинство зазеркального мира, границы и силы которого беспредельны. Должен поверить в это и сам профессор, а вскоре и академик со всем своим окружением, иначе ничто не поможет, и опять будет

долгий и тягостный разрыв во времени. Не надо переоценивать своих возможностей, если даже профессор Коротченко, преданный им душою и телом, непрерывно и постоянно контролируется ими, вот тебе и *орден алмущих истины*, прослуживший во все поры государства сверху и донизу, попробуй справишься...

– Каковы основы вашей проповеди в новой работе? – нарушая затянувшееся молчание, вновь подал голос Одинцов. – История не терпит суеты. А у вас, Алексей? Какие-то намеки... Подлинный историк мыслит эпохами!

– Намеки? Ясно же все...

– Что же ясно?

– Я вам скажу, Вадим, что там под строчками, – принужденно улыбнулся Меньшенин. – Вас ведь больше всего это интересует. Нет, нет, прошу вас, – решительно остановил он шурина, взглянувшего в сторону двери. – Это необходимо. Под строчками все просто и стройно. Дорогой шурина, только не падайте в обморок – решительно ничего у нас не изменилось со времен Византии, модель повторяется, тот же метод. Иван Третий, Петр Великий, теперь – наши дни... А метод один – византийский, и только. Один Петр попытался, и то скорее интуитивно, организовать в нем два встречных потока, попытался пробить окно (нет, нет, не в Европу, чепуха!), попытался вызвать ураган и впустить в заколдованное царство догм и оцепенения свежий поток из самого космоса, вызвать живительный ураган, но и ему, слышите, Вадим –

ему! – ничего не удалось. Византия оказалась сильнее, мертвое победило – оно удобнее. Так же, как победила мертвечина иудаизма и в русской революции. Удушающая изолированность, догма! Одно рабство, все – рабство! Взгляните же вокруг – тоже двенадцать языков, тоже новая общность, и тоже не диалектика, а ритуал, топтание на месте, заполнение пустоты... Всеобщее оцепенение – вот задача, вот надежная, нерушимая до самоуничтожения византийская модель, вот именно, припудренная еще более косным иудаизмом, и тем самым окончательно обреченная!

– Хватит, Алексей, хватит! – На лице профессора отразилась мука. – Молчите, вы – сумасшедший, молчите! У вас что-то похожее в лекциях проскальзывало, вы обязаны публично, понимаете, публично отказаться от своей зауми. Бред, бред, понимаете, бред! Так не может быть, чтобы ничего не менялось! Боже мой, чем все это я заслужил?

Скрывая свои чувства, Меньшенин опустил глаза; на него впервые повеяло дружеским, даже родственным теплом; сейчас он знал, что лучше и вернее всего поступить по совету шурина, при первом удобном случае взять слово и...

– Нет, не могу, – тотчас холодно сказал он. – Не могу я *этого*, Вадим, понимаю, а не могу... Знаете, есть такой недуг – менингит? Плохо знаете? Ну, дорогой шурин, я сейчас объясню. От менингита два исхода – смерть или потом дурак. Вы должны, очевидно, знать, у меня был старший брат, всего на год старше, и мы оба болели этой гадостью. И вот брата –

нет, а я – видите... – Пытаясь придать своим словам убедительность, он развел руками, и профессор не выдержал, побледнел, отвернулся.

– Почему я должен знать о старшем брате? – невнятно пробормотал он и, пересиливая себя, вновь взглянул на зятя приветливо и дружелюбно. – Что же вы будете в жизни делать? Что? Вы ничего не умеете...

– Зато я понял, пожалуй, основной закон жизни, – возразил Меньшенин. – Нельзя быть слишком умным в среде господствующей посредственности, нельзя ничем выделяться. Нельзя даже отделяться. Иначе среда попросту сожрет. И будет права – золотая середина главное, именно она – равновесие жизни и мира. Вы опять так смотрите, Вадим, будто я несусветную ересь несу, а ведь вы меня поняли отлично и согласны со мной. Но что это такое?

Они заметили, что едва различают лица друг друга, словно неожиданно оказались в густом тумане, и странный и безжалостный город вокруг тоже – в белесых клочьях, – город слепых, натыкающихся друг на друга, на стены, на машины, и это болезненное ощущение пришло к ним одновременно.

– Ну, тогда прощайте. – Хотя голос Одинцова звучал спокойно, почти равнодушно, в самом воздухе что-то дрогнуло. – Я хотел поговорить совершенно откровенно, очевидно, это несбыточная мечта, недозволенная в наших отношениях роскошь. Теперь надо быть готовым ко всему, я теперь ничего не могу, лишь одно обещаю – о семье не беспокойтесь,

ни о Романе, ни о Зое...

– Прежде, чем мы разойдемся, Вадим, мне необходимо рассказать вам об одной встрече, давно... сразу после войны, – тихо сказал Меньшенин. – В Дрездене – тогда я в комендатуре на правах советника работал. До сих пор помню, мне кажется, что именно он, тот человек порой приходит ко мне и сейчас, правда, больше во сне. А глаза открою, всякий раз исчезает. Остается какой-то след, излучение, что ли, особое... Вы слушаете?

– Что за человек такой? Продолжайте, – попросил Одинцов.

– В этом и загадка, и вопрос... Наши солдаты наткнулись на него в сплошных развалинах. Представляете, сидит и разбирает какие-то лохмотья рукописей. Сам в полосатой арестантской хламиде, совершенно высохший, даже высушенный, – пергамент и только. Несомненно, азиат, в глазах так и светилась Азия, хотя в чертах лица классическая арийская порода, вполне мог сойти и за европейца, можно было принять и за итальянца, и за француза, а тем более – за испанца. Но – глаза, глаза! И – санскритские свитки! Однако главное глубже, я и сам до сих пор не могу понять, что же было главное...

– Вероятно, вы все-таки определились, – слегка прищурился Одинцов, стараясь стряхнуть с себя искренний, доверительный тон зятя, почему-то действующий на него расслабляюще и даже как-то подчиняющий его чужой воле.

– У этого феномена не было никаких документов, назвался он непривычным для меня индийским именем, – я не записал и скоро забыл, – продолжал Меньшенин все с той же, несколько удивляющей профессора внутренней сосредоточенностью, и в то же время с несвойственной ему мягкостью. – Услышанного от этого человека я уже никогда не мог забыть, да, кажется, здесь дело и не только в его рассказе. Да, да, необычна была сама сила его внушения, которой он, несомненно, был наделен в избытке. Он говорил на немецком, но я уверен, он понимал и русский, и любой другой язык. В Германии он находился с сорок первого года, заметьте себе, – по его словам, он был послан неким братством. И мне показалось, это «братство» следовало понимать как сообщество очень, даже исключительно одаренных людей, сплоченных одной грандиозной задачей и поставивших перед собой невероятные, в общем-то, благородные цели. Этот человек утверждал, что для глубинного понимания породы человеческой он побывал во всех больших немецких концлагерях. По его утверждению, члены их братства уже владеют многими тайными знаниями, которые обыкновенным людям кажутся сверхъестественным чудом, например, они, якобы, могут свободно появляться и исчезать в любом месте, для них не существует языковых или национальных барьеров, их объединяет одно – высшее знание природы и ее законов, – одним словом, мы проговорили с ним несколько дней. Их, этих людей, не устраивала ни одна из социальных моде-

лей, существовавших когда-либо на земле, они считали правильным только свой путь – приобщение человека к *высшему* знанию. Они изучали любой социальный опыт, фашизм тоже являлся для них всего лишь материалом для постижения... Они все осмысливали и строили свою, неведомую мне и непонятную пирамиду. Вижу, вы иронически улыбаетесь, Вадим, а зря...

– Война породила и новые человеческие аномалии, – сказал Одинцов, стараясь скрыть свой остро вспыхнувший интерес к неожиданному повороту в разговоре; фантастические моменты придавали жизни некий пьянящий привкус, и к нему вернулось беспокойство и неуверенность, – он пытливым взглядом взглянул в лицо зятя. – Слушайте, Алексей, почему этот странный тип выбрал для своих бесед именно вас? Посреди дикого разгрома, войны, смерти? Это ведь так говорили, что война окончилась...

– Сам пытаюсь понять, – ответил Меньшенин, не отводя от шурина пристального взгляда. – Какая-то причина здесь, несомненно, была. Потом он исчез, вот только что был – и нет его, исчез... испарился. Ну, подумал я, посмеялся, а сейчас все чаще и чаще вспоминаю. И опять ничего не пойму. В последний момент он как-то по-особому взглянул на меня, – тяжкий, пронизывающий взгляд. «Я гляжу в лицо человека, а вижу крону дерева, – сказал он мне, уже исчезая. – Гляжу на дерево – и вижу душу воды. Сажу на берегу реки – и передо мной струится душа огня, – я поднимаю глаза к небу,

к солнцу, и глаза мне застилает черная, клубящаяся тайна космоса. Я тебе, русский человек, предрекаю жизнь огня». И затем его не стало. К чему он так сказал?

– Погодите, Алексей, вновь намеки? – спросил профессор и нервно потер лоб.

– Ну, зачем, Вадим, просто мы всего лишь на первой, подготовительной ступеньке перед подлинным открытием неизвестного. Очевидно, творческие, созидательные начала пытаются нащупать друг друга, – ответил Меньшенин со своей детской, простоватой улыбкой. – У человечества пока еще есть выход...

– Боюсь, что, отыскивая свою особую дверь, совсем забредешь в непроходимые дебри... Вот сейчас, Алексей, я вас окончательно не понимаю...

– Отлично вы все понимаете, – возразил Меньшенин. – Просто вы из тех, кому нельзя признаваться. Мне порой кажется, что вы даже знаете весь мой дальнейший путь, что вы вовсе не тот, за кого себя выдаете...

И тут пришла минута, которую ждали оба, ждали и боялись. В глазах у Меньшенина что-то дрогнуло, обрушилось, и душу сжала глухая и в то же время какая-то светлая тоска, вот-вот – и на глаза навернутся слезы. Все обретенное им и до боли любимое, все самое дорогое и необходимое, то, без чего жизнь теряла смысл, все уходило от него, и он оставался в необозримой и враждебной тьме мира, в потоках зла и ненависти один. Его глаза, ставшие бездонными, словно

вбирали, втягивали в себя, именно одним взглядом он говорил сейчас, что он любил и любит их всех, вот пришел срок, и он уходит, и ему тяжело и страшно, и он просит ободрить его и благословить. И тогда Одинцов как-то нелепо замахал руками, пробормотал:

– Какая ерунда! Какая ерунда, Алексей...

И в следующую минуту не выдержал, широко и свободно шагнул, обнял зятя и, страдая и стыдясь этого светлого своего страдания, трижды поцеловал его.

Глаза у Меньшенина стали спокойнее и сосредоточенней.

– Ну, вот, ну, вот, – сказал он. – Теперь только одно – ничему не удивляться и другим не давать молоть отсебятину. Особенно, Вадим, вашему верному другу – Климентию Яковлевичу...

– О чем вы сейчас! Это потом, потом, я – знаю. – Профессор предостерегающе взглянул куда-то на потолок, и хозяин понял. – Вот когда мы теперь встретимся? Нам бы так надо не отрываться, не терять...

– Нельзя хотеть невозможного, – еле приметно вздохнул Меньшенин, – этого нам с вами никогда и нигде нельзя. Прощайте, Вадим, я благодарен судьбе за нашу встречу, за Зою, Ромку. Я вас всех очень люблю, – все так же почти неслышно говорил он. – В путь, Вадим, в путь...

Одинцов чуть вздрогнул, страдающе дернул щеками – был момент какого-то потрясения, полного столбняка, – приходя в себя, он еще раз молча и быстро обнял зятя и тотчас вышел

и, словно что отрывая от себя, захлопнул тяжелую дверь, а затем привалился к ней с обратной стороны спиной и некоторое время стоял, набираясь сил и успокаиваясь.

16.

Затем маститый профессор медленно и бесцельно вначале шел по улице Чехова и на углу в киоске неожиданно купил папирос и спичек, хотя не курил уже лет десять, тут же разорвал пачку и стал закуривать. Из окошечка на него глянула хмурая, недовольная киоскерша с толстым, разлапистым носом, – она ничем не отличалась от большинства московских работников прилавка и считала всех, подходивших к ее цитадели, своими личными врагами.

– Отойди, гражданин хороший, – услышал профессор хрипловатый не то от простуды, не то, судя по сизому носу, от более прозаических причин голос киоскерши. – Ты, дядя, не стеклянный...

– Простите, – скорее по привычке, вежливо сказал озадаченный ученый муж, повернул за угол, пробрался, с какой-то поспешной готовностью уступая дорогу шумным юнцам, к памятнику Пушкина, и долго сидел на скамеечке возле возносившейся в небо, но и не отрывавшейся от земли бронзовой фигуры поэта. Он сидел сбоку и видел поэта в профиль, – над мрачно-эпическим домом «Известий» в низких рваных тучах проносилось небо. Далекий и странный, возникал в сердце и катился гул. Все так, тяжело и беспокойно думал Одинцов, обращаясь к поэту, вот ты стоишь уже сколько лет и еще сколько простоишь, а разве смысл

в этом есть? Никакого смысла, так, одна глупая претензия. Ах, как людям хочется бессмертия, а, впрочем, что это я? Ты свое, разумеется, сделал, опять обратил он свои мысли к Пушкину, и можешь теперь спокойно стоять, мокнуть под дождем, мерзнуть зимой, тебе все теперь можно... А мне что делать? Мне даже нельзя с кем-либо поделиться самым сокровенным, ради чего живу и дышу, а ведь я тоже человек, хотя и не такой знаменитый, и мне тоже нужно ободряющее слово. Только ведь никто не может заранее определить критической черты, один лишний шаг и...

Разговор с зятем, вероятно, довольно сумбурный, не шел из головы; профессор вновь и вновь возвращался к нему, стараясь не упустить малейших оттенков и вновь все проанализировать, но какая то, несвойственная ему ранее глубокая тоска мешала. Но что он мог сделать и что он знал? Ничего. Всего лишь передаточное звено, ни начал, ни завершения он не мог знать – таков эффект зазеркалья, и только так можно выстоять против мировой силы зла и отстоять самое дорогое – землю и память отцов и дедов. Меньшенин – предвестие новой и, быть может, последней схватки в абсолютном безмолвии и тайне, в заповедных глубинах этого безмерно разлившегося человеческого океана, – никто ничего не видит, на поверхности сонная, почти одуряющая, мертвая тишь.

Профессор прикрыл глаза, – случилось нечто туманное, у поэта закачалась кудрявая голова. Помедлив, Одинцов вновь взглянул вверх, на бежавшее, отбрасывающее на Москву

скользящую тень низкое облако, и сердце его уравнилось, – тайна была в мире, и все равно неведомого не осилить, хотя бы потому, что не хватит времени, его уже совсем не оставалось. И профессор даже обрадовался – все сразу и оборвется, и закончится. Вот и настал итог, и очень хорошо, – человек даже и не подозревает вначале о результатах, иначе нельзя было бы жить, но у всех ли так мерзко и мрачно? Не присутствует ли здесь особый смысл?

Глядя на людей вокруг и не видя их, он как-то попытался притушить остроту момента, ведь есть же кто-то, думал он, кто знает все и видит сейчас и путь Меншенина, и его самого, сидящего вот здесь в центре Москвы. Что же дальше?

Случайно взглянув в сторону, Одинцов увидел ярко освещенный вход в ресторан, и сразу почувствовал голод. Он не решился заходить в людный ресторан в сравнительно поздний час, – здесь можно было встретить кого угодно. Недовольно нахмурившись и поворчав, он вспомнил наконец нужный номер телефона, позвонил, и через час с небольшим они уже сидели с Климентием Яковлевичем Коротченко за уютным столиком в небольшом загородном ресторанчике, и знакомый официант, со странным именем и отчеством Фаддей Плутархович, с белоснежной салфеткой в руке, внимательно выслушав всегда щедрого клиента, казалось, тут же, словно по шучьему веленью, стал закидывать столик тарелками, вазочками, бутылками, графинчиками; они мгновенно и точно находили свои места на белоснежной скатерти, и

профессор Коротченко одарил старого друга поощряющим взглядом и многозначительно сказал:

– Чудеса, коллега!

– Я здесь давний клиент, ничего особенного. Самое главное, надо начинать с горячих закусок, вон как парит грибная селяночка, вот мы ее сейчас и пожалуем, – с готовностью пояснил Одинцов, повеселевшим глазом косясь на запотевший бок нарзанной бутылки, на явно в меру прохладный графинчик, на призывно блестящие средиземноморским румянцем черные, крупные маслины; еще больше оживили ученого мужа крепкие, все как на подбор, попавшие в засол в самом беспорочном, младенческом возрасте боровички, сочившаяся янтарным жирком семужка с лимончиком, крупная, зернистая икорка в круглой хрустальной вазочке, – одним словом, многое явилось на сравнительно небольшом столике, и было из-за чего двум уставшим от жизненных бурь путникам прийти в хорошее расположение духа.

Одобрительно кивнув официанту, Одинцов поощрил его еще и многообещающей улыбкой, и тот, с достоинством наполнив из графина две усаdistых рюмки, растаял.

– Клим, Клим, прочувствуем момент, – поднимая свою рюмку и пристально глядя на дрожавшую у самых краев рубиновую от света влагу, значительно сказал Одинцов. – Мир горек, да жизнь сладка, не будем забывать сей тривиальной истины. Сегодня у нас вечер покоя, никаких раздражающих

нюансов. Только удовольствие! Слышишь? Отдых души и тела! Никакой оглядки, никакой диеты, дорогой Клим!

И сам любивший хорошо и вкусно поесть, профессор Коротченко с готовностью кивнул; легким наклоном голого черепа он еще раз выразил свое одобрение, – приоткрывался совершенно неизвестный, до сих пор заповедный даже для него мир шефа.

Они выпили и стали закусывать; горячая грибная селянка с огненными маслинами оказалась бесподобной; превосходный вкус, неповторимый аромат любимого блюда привели друзей в благодушное настроение. Климентий Яковлевич, охотно взявший на себя роль виночерпия, вновь налил из прохладного графинчика; после очередной рюмки и шипящей на сковородке осетровой поджарки в белом вине глаза у Одинцова окончательно оживились и просветлели, и он стал глядеть перед собой явно вопросительно, как будто чему удивляясь.

– Что, Вадим? – тотчас поинтересовался внимательный профессор Коротченко и придвинулся над столом ближе, – на его щеках уже проступила здоровая испарина, и он то и дело доставал и пускал в ход большой скомканный платок. И опять, шумно откидываясь в кресле в одну сторону, совал его почему-то именно в карман брюк.

– Кажется, чего-то нам не хватает, – подумал вслух Одинцов, обернувшись к сотрапезнику, словно ища сочувствия.

– Не хватает? – засопел Климентий Яковлевич. – Не ду-

рачься, не кощунствуй, Вадим. Если уж только еще по одной не хватает? – спросил он, широко улыбаясь и показывая два золотых зуба. – Или вот чего? – неожиданно кивнул он на молодую компанию по соседству за двумя сдвинутыми столиками. – Так здесь ничего невозможно поправить... стоп... стоп...

Он оборвал, и лицо его таинственно переменилось, – Одинцов проследил за его взглядом.

– Ого! – шепотом сказал Климентий Яковлевич, возбужденно привстав и качнувшись к старому другу через весь столик. – Слушай, Вадим... видишь, вот тот, молодой, совсем горяченький... ну, да! Растрепанный... знаешь, чей сынок? – Все более возбуждаясь, почтенный профессор, каким-то удивительным образом по-молодому перегнувшись, шептал теперь шефу в самое ухо, и тот от этого морщился, но новости были настолько невероятными, что уха он не убирал, хотя ему и было довольно неприятно. – Да, да, да! – шептал Климентий Яковлевич. – Самого Сусякова... средний сынок... хе, хе, хе, не правда ли, какой скромный, благовоспитанный мальчик?

Тут он почти неслышно вновь назвал известное и значительное лицо, настолько известное и значительное, что у Одинцова опять дернулись и поползли вверх брови, как бы сами по себе выражая сомнение.

– Ну, немножко шумят... молодые! Отчего и не побеситься? Ну их к черту! – подвел черту уже жалевший о своей

осведомленности профессор Коротченко и иронически повел глазами. – Давай, Вадим, займемся более приятным, – пусть молодежь веселится, что же ей еще делать?

Но дальше началось совсем уж нечто фантастическое, – привлекая внимание уважаемых ученых черноволосый и растрепанный молодой человек вошел, как говорится, в раж, и, не желая останавливаться, смахнув со стола несколько бутылок и приборов, нырнул вниз и пропал за краем стола. Остальная компания на время притихла, затем, по закону природы, зашумела еще громче, – весь ресторан замер и оборотился к ней.

– Вот безобразники, схватить бы да хорошенько высечь! – пробурчал Одинцов, и тут же от изумления откинулся на спинку кресла, – из-под стола у беспокойных соседей появился натурально голый, все тот же растрепанный, волосатый и тонконогий молодой человек, схватил бутылку, отскочил в сторону и, монотонно раскачивая тощим задом, стал лить себе на голову темную в ярком свете хрустальных люстр жидкость. Замерший было ресторан загудел, под ироническим взглядом Одинцова, бросившего к тому же колкую реплику насчет скромности и благовоспитанности сынков высокопоставленных лиц, щеки Климентия Яковлевича приобрели кирпичный оттенок, и он нервно выложил на край стола пухлые ладони.

Молодой человек, на виду у всех выливший себе на голову бутылку красного вина, швырнул пустую посудину в сто-

рону, высоко подпрыгнул, сверкнув белыми крепкими ягодицами, и, демонстрируя свои незаурядные гимнастические способности, не останавливаясь, с разбегу перелетел через подвернувшееся кресло с весело завизжавшей в нем, пригнувшей голову женщиной, и тут весь ресторан еще раз ахнул, – молодой человек в своей откровенной наготе и бесстыдной разгоряченности был хорош, больше, чем хорош; и Одинцову показалось, что у него над головой зашумели пальмы, в ноздри ударил пряный запах тропической ночи, и прямо в душу из мрака, задышающегося от сладострастия, впился чей-то алчный, горящий зрак – заслуженный ученый глубоко вздохнул, жалея себя.

Вокруг приглушенно зашумели.

– На спор, на спор...

– Какой спор! Допился негодяй!

– Белая горячка! Вот вам и культурное место! Яд, везде яд!

– Боже мой... какой срам!

– Костя, идем прочь из вертепа! Уводи меня вон!

Голый молодой человек, поводя бессмысленными глазами, в ответ на возмущенные возгласы еще раз высоко прыгнул вверх, пытаясь ухватиться за люстру, и стал, возбужденно хохоча, бегать в проходах между столиками. Шум, дамский визг и крики усилились, – появились решительного вида люди и стали ловить бузотера, скользкого от вылитого на себя вина, – всякий раз, когда его хватали, он ловко вывора-

чивался.

Тогда вперед выступили несколько бесстрастных официантов, на ходу разворачивающих длинное полотнище, очевидно, приготовленное для написания какого-нибудь лозунга к ближайшему празднику. Безупречно лавируя между столиками, составив одну неразнимаемую цепь и в то же время никого не задевая, служители ресторана с подобострастными, даже извиняющимися улыбочками вежливо загнали нарушителя спокойствия в самый дальний угол и по вдохновенной команде «Р-раз!» вместе бросились на него и одолели. Послышался полузадушенный вопль, какой-то треск, и все затихло, – и, самое главное, невольные загонщики в одинаково темных форменных костюмах со своей жертвой в дальнем углу тут же словно испарились или, на худой конец, провалились под пол.

И уже кто-то с безукоризненно ослепительной белой грудью, в бабочке, вошел в зал с другого конца и стал самым ровным и вежливым голосом предлагать несколько шокированным посетителям успокоиться, не портить чудесный вечер и продолжить отдых, не обращая внимания на небольшую неприятность.

Разрумянившийся Одинцов засопел, искоса взглянул в сторону притихших соседей, – видение исчезло, чад и дым рассеялись, один из посетителей, полнокровный и гневный, тянул за руку к выходу свою веселую, расшалившуюся спутницу, тщательно пытавшуюся убедить его остаться; стал выво-

дить нежные рулады неизвестно откуда появившийся скрипач.

Ученые мужи больше ничего не стали друг другу говорить, но просидели они в этот вечер долго, до самого закрытия, и настроение у Одинцова все время было превосходное, и лишь перед самым расставанием, когда Климентий Яковлевич вспомнил нехоти о вновь разнесшемся слухе, что нынче в ночь *старик* якобы опять появится и будет светиться одно из подвальных институтских окон, Одинцов, смущая своего друга, как-то по-особому долго и поощрительно смотрел на него.

– Надо обязательно заняться слухами, – сказал наконец Одинцов. – Это же весьма любопытно.

Бокон, исподлобья взглянув, и даже не на шефа, а куда-то мимо, Климентий Яковлевич решил подумать.

– Ты что-нибудь предполагаешь, Вадим? – спросил он не сразу, по-прежнему пытаясь проникнуть в тайные извивы мысли своего старого друга.

– Уверен, все далеко не просто, – отозвался Одинцов. – Думаю, зреет очередная интрига против руководства, пожалуй, опять мой драгоценный зятек правду матку ищет.

– Вот удивил! – сказал окончательно раскрепощенный Климентий Яковлевич, сразу успокаиваясь. – Новость! – сделав вид, что энергично засучивает рукава, он, остро сузив глаза, прицелился, нанес сокрушительный удар, и на лице у него появилось глубочайшее удовлетворение, – друзья шум-

но и весело рассмеялись, Одинцов – редко и гулко, а Климентий Яковлевич – частым, мелким бисером, почти серебром, но оба несколько громче, чем того позволяло их солидное положение в жизни и в обществе, а затем у профессора Коротченко в горле что-то дернулось и булькнуло. Он помял возле кадыка пальцами и выжидательно сощурился. Одинцов, не упуская ни малейшей тени в его лице, дружески улыбался.

– Прошло, Клим? Давай на посошок, а то у тебя что-то нехорошо на душе. Пожалуй, выпьем коньяку, как?

– С удовольствием, – продолжая прокашливаться, стал объяснять профессор Коротченко. – Просто подумал, куда это все вывернет?

– Что – вывернет? – все так же благожелательно и размягченно глянул, подбадривая, Одинцов. – Не долга оглобля, а до Москвы достанет, да и стегай, говорится, не по оглобле, а по мерину...

– Ведь зять твой – талантливейший молодой человек...

– А-а! – На дородном лице Одинцова вновь появилось выражение благодушия и довольства жизнью. – Если и вывернет куда, так куда-нибудь в психушку. Конечно, многие прошли фронт, а это не фунт изюму... Жалко сестру, я ее, можно сказать, вынянчил... Тьфу, вот привязалось, договорились ведь только о приятном...

– Сам ты думаешь что-либо предпринимать?

– С какой стати? Упаси Бог! Сестра и без того на меня

волком смотрит, заел ее драгоценного. Давай, Клим, – поднял он свой приземистый фужер. – За нашу дружбу! Долгую, давнюю, верную дружбу, Клим!

Какое-то легкое облачко набежало на лицо Климентия Яковлевича, какое-то усилие почувствовалось в глазах, тихая, внутренняя борьба отразилась в них – словно он хотел что-то вспомнить и не мог. Он даже что-то прошептал про себя раз и другой. И тогда Одинцов, помогая ему вернуться к делу, потянулся к нему чокнуться, и они размашисто, даже с каким-то молодчеством, словно разгулявшиеся студенты, выпили; Климентий Яковлевич поморгал, расслабленно откинулся в кресле и, впадая в очередной приступ откровенности, доверительно сообщил:

– Знаешь, Вадим, а я тебя люблю! И зятя твоего люблю. Я неравнодушен к талантливым людям... Что это я такое говорю? Опять в голове провал – ничего не могу вспомнить, словно я тебя и не знаю, вроде бы мы и не работали столько лет рядом – туман и туман. Гляжу на тебя, а вспомнить ничего не могу...

– Бывает, у меня тоже бывает, – стал успокаивать его Одинцов, и оба обрадовались этому новому открытию и решили еще выпить и за него.

Разъехались они довольные друг другом и теплым, сердечным вечером, правда, с легким, забавным происшествием, пощекотавшим нервы. И все-таки через час, отперев железную калитку собственным ключом, Одинцов, уже совер-

шенно трезвый и сосредоточенный, стараясь не шуметь, проскользнул в институтский двор и, отступив в сумрак больших старых каштанов, прислушался. Он сейчас физически ощущал тяжесть затаившегося за деревьями массивного здания института, связанного с ним, с уже пожилым и уставшим человеком, бесчисленным множеством живых нитей. Держась в тени, он подошел ближе и оторопел: в одном из окон нижнего, полуподвального этажа горел свет, – именно там, в этом этаже, размещался богатейший институтский архив. Сжав зубы, Одинцов вздрогнул – до того ему захотелось увидеть все происходящее за освещенным окном. Усилием воли он заставил себя опомниться, припал спиной к какому-то корявому толстому стволу и, выждав минуту, поднял глаза. Никакого освещенного окна уже, разумеется, не было; заставив себя усмехнуться, он опустился на большую чугунную скамью возле клумбы, сильно пахнувшей ночным горошком.

Некая новая неустроенность овладела мыслями ученого, и он с пугающей зоркостью души увидел завершение. Пришла странная раздвоенность чувств, – он почти болезненно ощущал текущие через него и бесполезно уходящие драгоценные минуты, предназначенные (он был убежден в этом) для самой важной цели в его жизни, и он досадовал на себя за свою расслабленность и медлительность. В то же время некий внутренний трезвый голос пытался вразумить его уже совершенно в ином – в его серьезном нездоровье и в необходимости поскорее вернуться домой, раздеться, вы-

пить чаю и снотворного, лечь в постель и не забыть попросить Степановну наутро вызвать врача. Несколько раз порываясь встать, он никак не мог решиться на последний шаг, хотя продолжал жить исключительно собой и окончательно овладевшей им жадной предстоящего и близкого духовного обновления, – теперь только оно, это странное и всеильное чувство, владело и двигало им, ведь именно оно и привело его в столь неурочный час во двор института. Слегка шумели вершинами древние деревья, ветер, гулявший над Москвою, обрывал с них остатки листвы. Четкие ряды окон здания института темнели внушительно и строго, и Одинцов, скользя по ним взглядом, еле приметно перевел дух.

«Вот перед тобой истина, – опять прозвучал в нем внутренний трезвый голос. – Просто приближается срок, последняя черта, и твое тайное смятение всего лишь приготовление к последнему шагу, – вот откуда возмущение и протест, желание что-то последнее найти и открыть...»

Старинное здание по-прежнему не отпускало – в одно мгновение его сердца коснулись слабость и трепет живого существа перед вечностью; перед ним возвышалось старое, с лепными фронтонами и карнизами здание, с необычайной толщины массивными стенами, с лабиринтом сухих и прохладных подземных хранилищ, с тупиками и закоулками, годами, возможно, десятилетиями не слышавшими человеческого голоса – сюда не заглядывали даже самые ревностные служители архива, – именно в таких местах всегда

присутствовало, таилось и развивалось нечто особое, нечто свое от собранных здесь неисчислимых и бесстрастных свидетельств прошлого, от тесного соседства самых различных эпох, цепящихся мозг и душу даже при беглом знакомстве со злодействами и примерами божественных озарений человеческого гения, бескорыстного подвига, никогда не отмывающейся грязью доноса и наивным лепетом, отчаянием, оправданиями...

У Одинцова закружилась голова, – в таких местах, как вот этот мистический дом, законы бытия принимали иные формы, начинали течь по не подвластному даже времени руслу, и вырабатывался некий таинственный отпечаток, призрак, символ, призванный неустанно находиться у каждого вступающего в жизнь за спиной, дышать ему в затылок. Давнее назойливое желание обойти и осмотреть здание института ночью, в одиночестве, сверху донизу, заглянуть в каждый потаенный уголок теперь уже нельзя было подавить, – он иронически вздохнул и решился.

Дежурный вахтер, разбуженный звонком, включил дополнительное наружное освещение, приплюснул широкое, припухшее лицо к стеклу и, увидев самого директора, заморгал, – Одинцов, хорошо знавший его и в свое время настоявший на выделении ему с дочерью-инвалидом отдельной однокомнатной квартиры, успокаивающе кивнул.

– Впусти, Павлович, – глухо сказал он, и лицо вахтера исчезло, застучали запоры, высокая дверь приоткрылась, и

нежданный ночной посетитель протиснулся внутрь.

– Здравствуй, Павлович... Поработать надо, забыл нужные бумаги в кабинете, а завтра срочно докладывать в верхах, надо успеть подготовиться. Как здесь дела?

– Порядок, Вадим Анатольевич, – оживился вахтер. – Какие ночью заботы? Сидишь – думаешь, думаешь...

Одинцов взял ключ, испытывающе и пристально глядя в лицо вахтеру, и тот, чувствуя некоторую неловкость, кашлянул, переступил с ноги на ногу.

– Значит, порядок, – глухо уточнил ночной гость. – В такие долгие дежурства по ночам что хочешь может представиться – одиночество, пустота, мысли...

– Я старый фронтовик, ни Бога, ни черта не боюсь, – взбодрился вахтер. – Кой год сижу – ничего. Хоть бы и прикидывалось что на потеху – да нет, не случилось. В первый, год трудно было привыкать, вроде за спиной кто дышит. А теперь – сам как домовый...

– Так-таки, никогда никого и ничего? – счел нужным еще раз уточнить Одинцов, чувствуя душевный подъем.

– Ничего, Вадим Анатольевич, – твердо заверил вахтер, и глянул как-то искоса, с неуловимой насмешкой. – На прошлом дежурстве крысу прибил, а теперь жалею, – она, шельма, уже с полгода являлась, этакая сумрачная, сядет вдали и глядит, все осторожничала. А тут... нечистый под руку толкнул...

Одинцов хотел было идти, но последние слова вахтера за-

ставили его еще задержаться.

– С дочкой как, Павлович? – негромко спросил он и, хотя его все сильнее томило желание поскорее заняться нужным делом, сел в одно из вместительных кресел у стены просторного и высокого вестибюля, с угадывающимися в сумраке копиями старых мраморов по обе стороны широкой лестницы на верхние этажи, – именно оттуда потянуло на него пронзительным сквознячком.

– В больнице вторую неделю дочка, – сказал вахтер, с признаками нового оживления в лице. – Сказали, ногу ей будут на машине вытягивать, – даже не знаю, как так...

– Ты не бойся, Павлович, хуже не будет, а ей надежда – молодая женщина, жить хочется.

Вахтер вздохнул, и Одинцов, помедлив, укрепляясь сердцем для предстоящего, встал и двинулся по лестнице на второй этаж, где располагался его кабинет. Вахтер зажег верхний свет, и тогда некая невидимая завеса опустилась между одинокой фигуркой человека на широкой мраморной лестнице и всем остальным миром, – теперь он был предоставлен самому себе. С площадки первого пролета он оглянулся на вахтера, провожающего его снизу взглядом, успокоительно улыбнулся, – еще оставалась возможность плюнуть, засмеяться и повернуть обратно. И опять, издеваясь над своей нерешительностью, он двинулся вперед, в своем просторном кабинете взял из сейфа дубликаты ключей и, нахмурившись, остановился, раздумывая, откуда начать осмотр, и в то

же время продолжая подшучивать над собою и своим диким поступком.

Одним из внутренних проходов, нащупывая выключатели и щелкая ими, он не спеша, часто останавливаясь и к чему-то прислушиваясь, обошел все помещения второго этажа, задержался в конференц-зале. Глаза привыкли, и хватало беспокойно таившегося везде полумрака, проникавшего в многочисленные большие окна. Выше он подниматься не стал, так же обстоятельно обошел и осмотрел и первый этаж, затем спустился вниз, в архив. Здесь в длинном, теряющемся во тьме проходе, тускло светилось несколько лампочек, одетых в проволочную сетку, – они почти не давали света и слабо обозначались в устоявшемся мраке.

Постояв, привыкая к новому ощущению, Одинцов медленно двинулся дальше – как бы нелепо и фантастически ни выглядела его ночная затея, ее необходимо было довести до конца. Завершения задуманного требовали его внутреннее состояние и чувство; он двинулся дальше и сразу ощутил кожей лица раздвинувшийся перед ним особый, плотный воздух, свойственный многим старым, редко посещаемым архивным хранилищам. Задержись он еще на несколько минут на одном месте, он, возможно, и повернул бы назад, хотя потом и стал бы опять мучиться и думать о неистребимой легенде о старике, постоянно живущем и работающем в институте по ночам, когда последний человек покидал здание и все двери запирались.

«Ах, какая чушь! – говорил себе сейчас Одинцов, испытывая странное, ни с чем не сравнимое чувство наслаждения своей властью и над собой, и над прошлым, рождавшимся когда-то в муках и надеждах; оно расцветало, страдало и боролось, а теперь вот рассыпалось пылью, а в определенный момент вновь зашумит неведомой жизнью. – Могут сказать, что я здесь от страха или от больной, нечистой совести... но какое мне дело сейчас до людского злословия. Ум человеческий извращен, ищет смысл там, где его нет и никогда не было – вот вечная трагедия человека. Миф? Чепуха! Я здесь от боязни самого себя, из-за той подленькой и жалкой, выработанной веками рабства привычки скрывать самую суть, – а вдруг? Так уж устроен человек и погибнет он от любопытства, от стремления проникнуть за черту разумного и дозволенного...»

Дыхание у него прервалось, остановилось, затем участилось и стало горячим, – совершенно случайно глянув в небольшой коридорчик, отходивший в сторону от основного прохода и кончавшийся железной дверью в специальное помещение для работы с документами, запрещенными для выноса из архива, он увидел пробивающуюся из-под этой двери узкую полоску света. «Забыли, вероятно, выключить», – сказал он себе, ощущая странную и сладкую пустоту в груди, – заставив себя сделать последние три или четыре шага, он толкнул дверь. Оказавшись, вопреки всем инструкциям, неопечатанной и даже незапертой, она сразу же подда-

лась, и Одинцов заворуженно протиснулся в секретную комнату. *Старик* сидел в самом дальнем углу за одним из столов, сосредоточенно перебирая пухлую грудку каких-то старых бумаг. Одинцов потер лоб ладонью – *старик* не исчезал, лишь его большая седая голова с отросшей чуть ли не до плеч гривой, взъерошенная борода, насупленные кустистые брови, морщины, глубоко иссекающие весь его лик, узкая ладонь с длинными сухими пальцами на ворохе, очевидно, уже просмотренных бумаг, сутулые плечи, обтянутые какой-то незнакомой Одинцову мешковатой одеждой, – весь чудный облик таинственного летописца приобрел зримую конкретность и достоверность.

«Такого не может быть, – сказал себе зачарованный ученый муж. – Бред, галлюцинация, переутомление последних недель – все что угодно...»

Он не успел додумать до конца и хоть как-нибудь объяснить происходящее – свет в просторном помещении, с тремя каменными столбами, поддерживающими шатровые своды, как бы сам собой усилился, и *старик* поднял голову.

«Проходи, – внятно и значительно сказал он. – Давно жду...»

И тогда страх, неуверенность, сомнения – все исчезло, и наступило душевное облегчение и просветление; пристально вглядываясь в лицо *старика* и начиная различать в нем какие-то давно знакомые черты, уже почти вспоминая их и проникаясь к *старик*у беспредельным доверием и теплотой,

Одинцов кивнул. Предоставлялась возможность высказаться о самом сокровенном, без малейшей утайки, – открыто и прямо встретив взгляд *старика*, приблизившись к нему, Одинцов спросил: «Кто ты и откуда ты меня знаешь?»

Старик прищурился, и Одинцов, внутренне вздрогнув, собрал всю свою волю, стараясь выдержать; незнакомый, нездешний, какой-то потусторонний взгляд *старика* проникал сквозь него, устремляясь куда-то дальше, в неведомое, и Одинцов чувствовал разгоравшееся желание освободиться, подступиться к *старика* и опрокинуть его в прах.

«Ты пришел в смятении, – сказал *старик*, почесывая у себя за ухом длинной палочкой, оказавшейся в его руке. – Не там ищешь... Я всего лишь легенда, и если ты уж разыскал меня, тебе совсем скверно. Не знаю, чем я могу помочь... Вглядишься, разве ты не узнаешь себя?»

«Я не за помощью, – стал оправдываться Одинцов в сильном расстройстве – так поразили его последние слова *старика*. – Да, мне плохо, ты прав... Я лишь хочу понять – почему? Хотя что я говорю... Ничего нельзя понять окончательно. В борьбе живого с мертвым нет смысла».

«Допустим, но ты ведь пришел сюда глухой ночью, – напомнил *старик*. – Ты думаешь найти невозможное, в мире нет только правых или только виноватых, так не бывает – возьми самого себя...»

«Согласен, – обрадовался Одинцов. – Но так, как ты утверждаешь, тоже не бывает – кто-то должен идти впер-

ди...»

«Ты озлоблен сейчас, – сказал *старик*, – обиделся на близкого человека, ты, по твоему убеждению, сделал ему много хорошего... Ты его полюбил, в нем ты нашел свою вторую тайную половину души, неосуществленную, задавленную и оттого особенно дорогую. Ты не должен обижаться, твое добро для его души опустошение и гибель. Ты проводил его надолго, и ему предстоит мученическая судьба, но без этого он был бы несчастным человеком. Он из высших посвященных в братстве, и зря ты не проводил его напутственным словом...»

«Ты бредишь, *старик*, – сильно побледнев, с угрозой сказал Одинцов. – Какое братство? Какое напутствие?»

«Не кощунствуй даже перед своей собственной душой, ты лучше других знаешь – какое» – остановил его *старик*, повелительно вскидывая голову.

«Кто же прав? – тихо спросил Одинцов. – По другому мне нельзя, и ты это тоже хорошо знаешь...»

«Я уже говорил, в жизни нет правых, – вздохнул *старик*. – Забуди и делай свое. Дашь разрастись обиде, погубишь дело. Стало много пророков, а пахарей, упорно и мерно ведущих свою борозду во тьме жизни, все меньше, – хлеба же и счастья требуют все. А пророки больше всего... Успокойся, веди свою борозду, она целительнее разрушительных и бесплодных слов пророков».

«Спасибо, – поклонился Одинцов с больным, беспокой-

ным блеском в глазах. – Кто помнит о земляных червях, хотя они и полезны? Или все бессмысленно? Тяжкий, безгласный труд и высокий подвиг – все в конце концов обращается в прах и нет смысла искать, страдать и жалеть? Так тоже не бывает... Или я оступился – где, когда?» – забормотал он, стараясь встряхнуть и пробудить в себе все прошлое.

«Человек торопится успеть, – пояснил *старик*, и его брови нависли еще ниже и теперь почти совсем скрыли глаза. – И однако всему свое время, жди! То, что сегодня темно и запутанно, завтра станет ясно малому ребенку, такова жизнь человека, ее закон. Ничто не исчезает бесследно, ни тайное злодейство, ни безымянный подвиг, все в свой срок обретает голос. Не торопи судьбу».

«Но кто же ты, кто? Мне это очень важно, – затосковал Одинцов – странные и темные речи *старика* вызвали в его душе опустошительную и бесполезную жажду, и хотя он все время знал, что именно об этом нельзя спрашивать, но удержаться не мог. – Зачем ты позвал меня?»

И *старик* задумался, от бессмысленного и ненужного вопроса его лицо преобразилось, приобрело твердость и определенность, и Одинцов, заслоняясь, отступил. Он даже самому себе не мог признаться в происшедшем дальше. В руках у *старика* появился большой старый мешок, он сгреб в него груды бумаг со стола, встав и шагнув назад, оглянулся, шевельнул седыми усами, изображая улыбку, и в мозгу профессора вспыхнули слова: «Все забудь, слышишь?» Затем *ста-*

рик встряхнул мешком и исчез в стене, – перед глазами у Одинцова поплыла непроницаемая темень. Очнувшись, постепенно приходя в себя и с трудом встав с пола, он узнал свой просторный кабинет на втором этаже. Он помнил единственное – проступившие в самый последний момент в лице *старика* свои собственные глаза.

17.

На следующей неделе после трудного, в чем-то даже мучительного разговора с шурином, Меньшенин отправил в отдел кадров института заявление на имя директора с просьбой об увольнении. Зоя с мальчиком по-прежнему находилась в Крыму, и ее возвращения ждали только через несколько дней, – Одинцов послал сестре спокойную телеграмму, с пожеланием не волноваться, отдыхать и набираться сил, а сам еще дважды наведывался к зятю, – душевное напряжение у него нарастало. Однажды, прогуливаясь по Пушкинской площади, он остановился и быстро оглянулся, – перед ним словно бы мелькнуло лицо зятя, заросшее, с провалившимися глазами, безумными от веселой дерзости; кажется, эти сумасшедшие глаза даже подмигнули. Одинцов застыл столбом, мешая прохожим, не зная, что делать, – его опалило неизвестной ему досель нечистой жизнью.

– Алексей! – крикнул он, бросаясь к переходу, но там уже ползли по улице машины, и само собой явилось сомнение, – так, померещилось от волнения последних дней, подумал он, мелькнуло из марева жизни.

Успокоившись, он отправился дальше, хотя что-то заставило его раз и другой оглянуться – себя нельзя было обмануть, он видел именно зятя и узнал его. И Меньшенин заметил шурина, оттого и шарахнулся прочь, успел перебе-

жать через улицу, нырнул в первую же низкую арку, и долго стоял между деревянным мусорным ящиком и полуразвалившейся кирпичной стеной, вдыхая вонь разлагающихся отходов. Он вспомнил шатнувшееся назад лицо профессора, опустил голову, стараясь понять и объяснить и свою неожиданную резвость. Затем он легкомысленно пожал плечами, – вверх светилось несколько окон, как бы очерчивая тесное пространство старого московского двора, и Меньшинин долго глядел в темное небо, пытаясь нащупать в нем хотя бы малейший просвет – в небе ничего не менялось, в глазах сквозила одна непроницаемая тьма. Он выбрался из своего убежища, что то внезапно вспомнив, похлопал себя по карманам и сразу успокоился. Деньги пока были, можно еще успеть зайти в Елисейевский, вот чуть-чуть приободриться и зайти. Отчего не покуражиться, с прошлым покончено, кое-какие бумаги он отнес вчера единственному, пожалуй, искренне переживающему за него человеку, Жорке Вязелеву, пребывающему, естественно, в полном недоумении, посидел у него, выпил чашку чая, с удовольствием выслушал скучнейшую проповедь о добродетели и пороке. Почти не отвечая на расспросы, он лишь с нежностью, словно прощаясь навсегда, украдкой всматривался в лицо школьного друга; он любил этого человека, хотел на прощанье сказать ему нечто серьезное и теплое, и не смог. Он задержал дыхание, стараясь успокоить сильнее забившееся сердце и ничем не выдать себя, – ему стало весело от тяжелой озабоченно-

сти хозяина, в голове мелькнула довольно забористая шутка. Зная характер старого товарища и ни за что не желая его обидеть, он удержался – что он мог сказать честному и правильному человеку, всю жизнь боявшемуся неудовольствия и кары власть предержащих? И лицо его окончательно прояснилось, – колесо крутанулось и выбросило именно такой билет, больше никаких скидок ждать не приходилось. История, весьма и весьма изворотливая дама, приспособилась обеспечивать сразу трех любовников – прошлое, будущее и настоящее, даже если они почти несовместимы, и хороший человек Жора Вязелев сам отлично все знает, остальное же его не касается. Остальное или слишком личное, или же обжигающее, неподвластное никому постороннему, а значит, и не нужное ему.

Меньшенин медленно брел тем же путем, даже тем же тротуаром, которым минут пятнадцать назад прошествовал и его ученый шурин, после их неожиданной встречи, – другого, более удобного пути к Елисеевскому не было. Он не обращал внимания на встречных, еще довольно многочисленных, но скоро стал с интересом поглядывать на мелькавшие лица, пытаясь угадать, как живут, что думают эти люди, ну, хотя бы вот та пожилая женщина в черном старомодном платье или вот тот, явно навеселе, парень в офицерском, вероятно, отцовском кителе. Все они заняты своим, никто из них не чувствует, как ему плохо и что он стоит уже на последней черте. Единственным человеком, способным его понять

сейчас, была Зоя, ее нет рядом, толкуй после этого о прозрении любви, о вещем сердце. Непостижимо устроен человек, тут же усмехнулся он, была Зоя рядом, то и дело вспыхивало раздражение от ее внимания, от ее стремления все предугадать и предусмотреть, а теперь, когда ее нет рядом, она больше всего и нужна. Впрочем, это и есть самая щедрая милость судьбы, слепая удача – ничего не нужно объяснять, изворачиваться, лгать. Она бы, конечно, поняла, смирилась, она бы в конце-концов даже стала гордиться, у нее ведь жертвенность и романтизм в крови, в характере, но он был обречен, он ничего не мог сказать ей даже в мыслях и, думая сейчас об этом, переступал черту дозволенного, нарушал святость тайны, хотя кто бы мог из идущих с ним рядом и тоже обреченных на тьму неизвестности бросить в него камень?

И еще он знал, что любые рассуждения сейчас глупы и наивны, отдают пошлостью, но он был всего лишь человеком и подобные мысли приятно грели, он сегодня уже разрешил себе достаточно много выпить, – теперь нить должна была размотаться до конца. «А зря я нюни-то распустил, к чему? – стал подбадривать он сам себя. – Совсем ни к чему, даже если на тебя рухнет потолок!» Он тут же попытался залихватски улыбнуться бежавшей навстречу, дробно стуча каблучками, девушке, – от неожиданности она оглянулась, придерживая шаг, и уже ответная улыбка у нее готова была прорваться, но момент – и девушка, вздернув носик, вновь неуловимо изменилась в лице и поспешила дальше. Что то

испугало ее; не теряя присутствия духа, подчиняясь охватившему его желанию не портить настроение другим, Меньшенин двинулся дальше. Днем, перед тем, как идти и передать свои бумаги Вязелеву, он зашел в парикмахерскую и побрился, ему вымыли голову, и теперь, в вернувшемся ощущении своей молодости, ему были приятны взгляды молодых женщин – какой-то будоражащий мотив появился и бродил в нем в этот вечер.

В Елисеевском он взял две бутылки водки; и опять продавщица за стойкой, уже в среднем, критическом возрасте, оценивающе скользнула по его лицу взглядом, и как-то ласково-безнадежно улыбнувшись, тотчас рассердилась, раздраженно повысила голос: «Ну, проходи, проходи! Дальше!» Поняв и пожалев ее, он пробрался к выходу – над Москвой светился редкий звездный вечер. Как и его шурин до этого, постояв у Пушкина и наслаждаясь чувством тишины и покоя, исходившим или от безмолвного и гордого поэта, или откуда-то из глубин самого себя, слабого человека, существа, уже стоявшего на вневременной черте, он долго не решался тронуться с места. «А что вечность? – с неожиданной неприязнью подумал он. – И что такое вечность? Вот такая похожесть бронзы на формы теплого когда-то, искрометного, жаждущего наслаждений и творчества тела? Стоит, дразнит – сделано на потребу бесцеремонной толпе, давно одураченной, ничего совершенно не понимающей в высоком... Нет, что же? – спросил он себя. – Откуда такой снобизм и

к кому? Они-то, эти люди, в чем виноваты, их пожалеть надо...» Бросив прощальный взгляд на сумеречную голову поэта, он пошел по Садовому к Никитским, затем почему-то вернулся и побрел в обратную сторону. Надвинулась глухая ночь, под деревьями бульвара стало совсем темно – на скамейках редко угадывались прижавшиеся друг к другу пары. Еще ему встретилась пожилая дама с громадным догом на поводке; у дога светились глаза, дама же, очевидно, была актрисой. Проходя мимо и косясь на пса, Меньшенин услышал шекспировский монолог, произносимый трагическим шепотом: «Вы, быстрые, как мысли, стрелы молний, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову!» Он приостановился, готовясь послушать дальше, но громадный зверь, натягивая поводок, резво повлек трагическую даму дальше, – Меньшенин подумал, что перед ним мелькнула даже не жизнь, а ее отражение, какое-то размытое видение ночного города, мелькнуло и пропало, и опять темнели таинственные вершины старых деревьев над головой; их слабый живой шум не мог заглушить остальные звуки бессонного и кем-то давно проклятого и обреченного города. Теперь и Меньшенина охватило другое чувство – что-то случилось со временем, его ход словно оборвался, вечерой колокол прозвонил, и все замерло в пугающей неподвижности. Начался обратный отсчет, время поползло вспять, и теперь уже ничего нельзя было сделать, ничего остановить.

Наткнувшись на свободную скамейку, он открыл бутылку

водки и выпил прямо из горлышка, – вначале стало скверно, толчками поднялась мутная тошнота, затем прошло. «Ну, вот, – сказал он себе равнодушно. – Теперь пошла в ход отравы, чем же ты отличаешься от остальных, послушных и оболваненных человеческих скотов? Зачем тебе водка, ты же знаешь, она тебе не поможет и не успокоит».

Он не опьянел, лишь в голове несколько очистилось, – словно мгновенный, ослепительный взблеск луча рассекает темноту и вырвал из мрака летучие моменты чьей-то до крайности нелепой жизни. Он вначале растерялся, затем улыбнулся – это была его жизнь, он узнавал и не узнавал ее и придиричиво досматривая еще какие-то отдельные моменты, старался не упустить даже пустяка, даже мелочи. Именно в этот момент и прозвучал предостерегающий сигнал, словно глухой удар, и потух в цепеневшем мозгу. Времени оставалось мало, оно шло теперь вспять, и медлить было невозможно. С отвращением и брезгливостью к самому себе, он выпил водки еще, и опять – никакого воздействия, голова оставалась пугающе ясной и свободной, ни мыслей, ни воспоминаний. В теле появилась особая, как бы искрящаяся легкость; он свернул с бульвара и углубился в какие-то улочки и переулки, долго плутал в них, – со стороны могло показаться, что он что-то отыскивает. Наконец он забрел в подъезд небольшого двухэтажного дома, поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, и, равнодушно взглянув на обитую рваной клеенкой дверь с почтовым ящиком на ней

и номером квартиры, опустился на ступеньку. И опять молча усмехнулся, – продолжалась все та же попытка прервать или хотя бы затормозить обратный отсчет...

Пахло мышами, кошками, старинной рухлядью, тускло мерцавшая сквозь густой налет пыли лампочка под потолком освещала лари с огромными висячими замками, над ними красовался детский сломанный велосипед, водруженный на стену на большой погнутый гвоздь, рядом прилепилась какая-то лирическая картина в осыпавшейся позолоченной раме – лысый старик с безумными глазами и девушка с растерзанным воротом платья в оборках.

Меньшенин не успел всего обозреть, – инстинктивно оглянувшись, он увидел довольно молодую одутловатую рожу с заплывшими глазами в стеганом восточном халате, – каким-то образом унюхавший о появлении в своих владениях непрошеного гостя, несомненно, хозяин жилья схватил Меньшенина за ворот, поднял, поставил на ноги, подтащил к себе, лениво глянул в глаза и сильно стукнул затылком о дощатую, сооруженную наспех, на живую нитку, стенку, и поломанный детский велосипед задребезжал. Меньшенин посмотрел и укоризненно покачал головой.

– Шатается всякая рвань, дышать становится нечем! Что, еще добавить? – спросил гражданин в халате, намереваясь тут же привести свои слова в исполнение, и у него запухшие глаза приоткрылись от вожделения; на Меньшенина откуда-то из мрака глянула сама душа безжалостного, фантасти-

ческого города, закурилась голова. Почти невольно он привычным приемом, казалось, невесомо, лишь слегка коснулся туловища и шеи гражданина в халате, и тот подломился, болезненно всхлипнул и стал изумленно оседать на пол; из-за приоткрытой двери раздался пронзительный визг: «Уби-или!» Но для самого Меньшенина этот неожиданный эпизод был всего лишь случайным недоразумением – и все эти крики, и заплывшее жиром лицо гражданина в экзотическом халате, и город вокруг, отходивший от дневной суеты и жары, и все больше затихавший к полуночи. Спустившись с лестницы, не оглядываясь, он пошел дальше, не обращая внимания на резкий, продолжавший приывать на помощь голос.

Новый, еще более резкий удар какого-то сторожевого колокола в душе напомнил, что обратный отсчет времени убыстряется, и что сам он сейчас всего лишь выполняет заложенную в нем с самого начала суровую и беспощадную волю, и что ни о чем не стоит больше думать, – любой его шаг просчитан и обеспечен.

Небо по-прежнему было в частых звездах, и он всей грудью вобрал в себя уже очищенный ночной прохладой воздух. Показалось, что на него кто-то смотрит в упор, беззастенчиво и безжалостно; он подобрался, его словно выхватили из привычной среды и поставили в перекрестье многих прожекторов на всеобщее обозрение, и тысячи, десятки тысяч жадных, изнемогающих от похотливого любопытства глаз словно всасывались в него, – это сам город, до сих пор безмолв-

ный и безучастный, повел с ним захватывающую, сумасшедшую игру, и его существо в ответ на вызов отозвалось легкой дрожью восторга. Он постоял, покачиваясь и крепко зажмурившись, и быстро двинулся дальше, пошел наугад, лишь бы идти, стараясь не смотреть по сторонам, – любой дом, каждое окно пялилось на него. Удары колокола учащались, разламывали мозг, и город, как нечто живое, подвижное, окружал и теснил его со всех сторон, обдавал его жарким жадным дыханием. Он уже куда-то, задыхаясь, бежал и, заметив это, насильно заставил себя остановиться, перешел на медленный шаг. Чувство опасности продолжало усиливаться. Кто-то окликнул его, он отступил в сторону, к спасительной стене, и тут же отступил от нее. Ему показалось, что это все тот же ожесточившийся, неотступно преследующий его город, его обманный, коварный зов, ловушка, но перед ним стояли всего лишь две совсем молоденьких девушки, – вдвоем они, очевидно, не боялись. Он извиняюще улыбнулся им, жмущимся друг к другу.

– Я вас напугал? Проходите, проходите, я – добрый...

– Бедненький... что такое с тобой? Пойдем лучше с нами, а? Молчишь? Ты, может, немой? – спросила одна из них, пониже, в приплюснутом беретике, – из-под него влажно сверкали глаза.

– С вами? А куда? – чистосердечно поинтересовался Меньшенин и совсем по-детски поморгал.

– Слушай, добрый наш, прохладно становится, – сказала

опять девушка пониже ростом, в беретике. – Пойдем... На две пары чулок у тебя есть? Ну и – баста! – Она почему-то кивнула на подругу, тихо рассмеялась, – слабый жар тронул лицо Меньшенина.

– А куда мы пойдем, все-таки? – спросил он, начиная догадываться – теперь тихая и робкая надежда затеплилась в нем.

– Недалеко. Десятку еще хозяйке подкинешь и порядок – комната отдельная. Ну...

– Пойдем, – согласился Меньшенин. Судьба бросала ему прощальный теплый блик, и он про себя усмехнулся своей готовности.

– А я – Нина, – сказала в беретике приятным низким голосом. – Подружку Зарой зовут, у нее отец не то цыган, не то армянин, сама не знает. Понимаешь, очень застенчивая уродилась. А тебя как?

– Алексей, – ответил Меньшенин, радуясь, что его сразу же приняли за своего, запросто и по свойски, и от этого окончательно обретая недостающую уверенность.

– У нас там выпить есть, правда, совсем немножко, – с детским сожалением сообщила Нина, заботливо подтыкая под беретик выбившуюся прядку. – У нас там все как дома, Алеша, хозяйка ничего нашего не трогает...

– У меня тоже выпить найдется, – сообщил Меньшенин, хлопая себя по карману – в простеньких домашних рассуждениях Нины в беретике было что-то совсем невыносимое,

хотелось броситься плашмя на асфальт и светло разрыдаться. – Целая бутылка водки, а вот еще половина... Мы сегодня богатые!

Они, миновав низкую арку, каким-то двором вышли в тихий, темный переулок, словно по дну высокого ущелья прошли вглубь, и Нина в беретике, оглянувшись и приложив палец к губам, прошептала: «Тш-ш-ш!» Она на цыпочках прокралась на крыльцо небольшого, отдельно стоявшего домика, своим ключом открыла дверь и жестом пригласила входить. По деревянной лестнице, замирая от малейшего скрипа, они поднялись наверх – здесь, очевидно, была всего лишь одна квартира, и вскоре все они уже были в небольшой передней, тускло освещенной слабосильной лампочкой под потолком, украшенной картинками из журналов и заставленной какой-то старой, вычурной рухлядью, – Меньшенин увидел пузатый шкаф, вероятно, еще екатерининских времен, со сломанными дверцами. Тотчас что-то скрипнуло, и в переднюю, Меньшенину показалось, что откуда-то из-за пузатого красного шкафа, выскользнула крохотная старушка в чепце и в какой-то совершенно необычайной одежде, в чем то среднем между русской купеческой кофтой и греческим хитоном; у старушки было плоское личико, и уши плоские, и рот плоский, и глаза плоские, и даже остро торчавший маленький носик не разрушал этого впечатления и тоже казался плоским.

, – Проходите, проходите, детки... Ох, как же я рада, –

почти неслышно проворковала старушка. – Я уже и не ждала сегодня, спать собиралась...

– Здравствуйте, Ефимия Петровна, – весело и понимающе глядя на нее, ответила Нина в беретике. – У нас выпить есть... Алеша, отдай десятку – у нас такой порядок, – хозяйке плату вперед...

Понимающе кивая, Меньшенин сунулся в один карман, в другой, отыскивая деньги, отдал их Нине в беретике, а та уже вручила хозяйке. Старушка, беззастенчиво и подробно оглядев ночного гостя, привычно улыбнулась ему, – рот у нее приоткрылся и показался один кривой и плоский зуб.

– Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, пока молоды, – сказала старушка, скрываясь за своей дверью, но тотчас высунула голову в переднюю и опять улыбнулась Меньшенину. – А водочки я выпью, коли дадите... ах, уважаю! Давно известно, черт в каждую бабу да девку ложку меду кладет, а в силу жить – Богу служить! Так-то, – добавила она с весьма игривым выражением и в лице, и в голосе, и теперь уже окончательно испарилась. Сдерживая легкую дрожь, Меньшенин дурашливо протер глаза, – уж не приснилась ли ему эта жанровая картинка, подумал он, или просто в самый невероятный момент жизнь преподносит ему нечто сокровенное, от чего ему предстоит многое понять? Ведь не может так быть, что все случайно – и худые бледные девочки, и екатерининский шкаф, и плоская старушка со своей глуповатой обещающей улыбочкой, и все случившееся с ним в последние дни,

и все еще должно произойти. Все просто, не надо ждать каких-то высоких категорий, чистоты, истины, неподкупности, сама жизнь свидетельствует, что так не бывает, под демагогией велеречивых лозунгов – теплое, все поглощающее болото, и здесь каждый за себя и только за себя, а значит, его ученый шурин прав, необходимы разумные компромиссы и со своей совестью, и со всем этим отвратительным миром ханжества и лицемерия. Иначе нельзя жить, тем более надеяться на победу. А впрочем...

Он не успел додумать свою путаную мысль, – Нина взяла его за руку и с тихим смешком втянула за собой в комнату, соседнюю с хозяйской. Он увидел стол, широкую деревянную кровать в беспорядке, такой же огромный кожаный диван с вензелями на спинке и с продавленным сиденьем. У него взяли бутылки, поставили на стол и вслед за тем Зара хотела снять с него пиджак, – почувствовав у себя на плечах ее теплые, осторожные руки, он перехватил их, осторожно отвел.

– Я сам, – сказал он, стряхивая с себя пиджак, и, оглянувшись, повесил его на торчавший из стены возле двери гвоздь.

– Не бойся, – засмеялась Нина. – У нас честно, никто ничего не тронет.

– Я не боюсь, – заверил Меньшенин, подошел к столу, сел, поправил волосы. Нина принесла стопки, большой стакан, налила водки в него.

– Надо хозяйшечке отнести, любит, ой как! Культурная,

бывшая мамзель француженка, а любит! – сказала она с улыбкой и, накрыв стакан кусочком хлеба, вышла в коридор; Зара, сидя на диване, неотрывно, как большое и странное насекомое, смотрела на Меньшенина большими влажными глазами. И он услышал, почувствовал, впервые за много лет, благодатную тишину в себе и в то же время, потешаясь над собой же за глупую, не к месту сентиментальность, он слепо улыбнулся девушке, – ему сейчас ничего, кроме тишины и покоя, не хотелось.

Вернулась Нина, оживленно захлопотала вокруг стола.

– Обрадовалась! – сообщила она в какой-то детской просветленности. – Вот уж, говорит, сегодня и не ждала такой благодати, уж как благодарила! Ну, Зара, Алеша, давайте, я огурцов нарезала, хлеб да соль, чем не ресторан? Гуляем! Надо выпить, поздно, гостю выспаться надо, завтра рабочий день.

И у Меньшенина опять сдавило горло, он молча подо двинулся, молча взял стопку и, глядя на девушек блестящими пристальными глазами, чокнулся и проглотил водку. Нина тотчас налила еще – Меньшенин взял стопку, поднял ее.

– За вас, девочки, за то, что вы такие есть, – сказал он. – Рядом с вами хорошо и тепло, я даже не знал... Ах, милые мои, чудесные...

– Пей, пей, пей! – потребовала Нина, и ее детский носик шаловливо сморщился, а Зара, пожалуй, не произнесшая еще ни слова, тоже заулыбалась, отчего стала совсем юной,

тихо захлопала в ладоши и тоже потребовала:

– Пей, пей, пей!

Выпив, он потянулся к Заре, и она сочно и с удовольствием поцеловала его в губы.

– А мы тебя сейчас разденем, баиньки-баю... а? – сказала Нина, и у него закружилась голова, у него по-прежнему сохранялось и еще больше усиливалось чувство какой-то чистоты, первичности происходящего, – он только никак не мог взять в толк, что он будет делать сразу с двумя, но и думать особенно было некогда. Его подхватили под руки, подвели к кровати, усадили. Зара, опустившись на колени, сняла с него туфли и носки, а Нина все с той же шаловливой улыбкой развязала ему галстук, расстегнула и сняла рубашку, стащила с него майку и тотчас слегка отступила, затем опустилась рядом с Зарой на колени и осторожно, кончиками пальцев, провела по извилистому бледноватому шраму на груди Меньшенина.

– Ой, страшно-то как! – сказала она шепотом. – Цепочка железная...

– Фронт, – тихо уронил Меньшенин, – просто война, Ниночка, ничего особенного. Мне повезло – живой. А цепочка – тоже память.

Нина, подняв на него застывшие, расширившиеся глаза, помедлив, упала головой на край кровати и расплакалась, нервно и часто вздрагивая узенькими плечиками. Меньшенин опустил ей на спину ладонь, ощущая беспомощность ху-

деньского тела.

– Не надо, – попросил он. – Ты так не переживай, ты еще встретишь хорошего человека, будет у тебя семья, нормальная жизнь...

– У меня два брата и папа не вернулись. А мама в эвакуации, под Читой, умерла. – Всхлипывая, Нина маленьким кулачком размазывала по лицу слезы. – У Зары отец тоже на фронте... не вернулся.

Наклонившись, он осторожно поцеловал ее, и Нина, еще раз всхлипнув, сразу успокоилась.

– Вот уж бабье! – сказала она. – Разнюнились!

Она стала расстегивать ремень на брюках у Меньшенина, опять свалилась головой ему в колени и разревелась.

– Нет, – сказала она немного погодя. – Я сегодня, дура такая, совсем одурела. Зара, давай ты, а то я что-то...

– Ничего не надо, – стал горячо уверять Меньшенин, сам глотая неожиданные и сладкие, облегчающие слезы. – Девочки, дорогие! Ах вы, лапушки московские! Я и без того получил все, даже больше, чем надо, – спасибо! Деньги оставлю, – на чулки хватит, на туфли хватит...

Он говорил, охваченный каким-то приступом вдохновения, – Зара, заглянув ему в глаза, тихонько отодвинулась, и лицо у нее потухло, а души коснулся неведомый, первобытный страх.

– Не трогай его, – строго сказала она подруге, окончательно раскисшей. – Не надо его трогать, он сейчас далеко... Не

хочу этого! Не хочу! Слышишь, не хочу! Так далеко нельзя! – закричала она и стала срывать с себя одежду, – смугленькая, маленькая, с полудетскими полуокружиями груди, она была сейчас словно из иного, непонятного и влекущего мира. – Не раскисай! – весело и задорно крикнула она Меньшенину, и в это время Нина, глядя на нее не отрываясь, оторопев, даже полуоткрыла рот. – Я хоть и в Москве, я – цыганка! Знаю, как лечить тоску!

Медленно, завораживающе извиваясь бедрами, всем телом, она стала плавно кружиться по комнате, и, в каком бы положении ни оказывалась, ее глаза, ставшие еще больше, пристальнее, не отрывались от Меньшенина. Из ее тела еще не ушло полудетское звучание, но именно в замедленном ритме танца проступали, как бы переходя одна в другую тихими волнами, юность и зрелость; пожалуй, это не было мольбой или страстью, это было надеждой, чем-то напоминающим предвестие рассвета, приветом восходящему солнцу, когда первый румянец зари уже лег на лицо, – он еще не грел, но уже проникал в самую тайную глубину души...

И Меньшенин бросился к девушке, прижал ее к себе, останавливая – он больше не мог и не хотел видеть этого нечеловеческого откровения. Он стал быстро и горячо целовать ее лицо, плечи, а затем руки, и она стояла и ждала, прислушиваясь и к нему, и к себе.

– Дай мне выпить, – попросила она, и он растерянно и обиженно улыбнулся.

– Нехорошо закончилось, зачем ты только сказала, – с трудом выговорил он, возвращаясь к столу, и, выливая в стопку остаток из бутылки, вернулся к Заре, – помедлив, девушка вышибла у него из рук стопку и рывком повисла у него на шее.

– Нет, нет, не думай, – говорила она ему в каком-то горячем бреду, целуя его в подбородок, в губы, в глаза. – Все забудь... или сюда... иди, иди ко мне... Зачем такой мрак? Освободи душу... не смей... такой молодой, красивый... не смей! Я тебя спрячу, пылинки не дам сесть...

У самых его глаз сияли ее бездонные, затягивающие во мрак глаза, и он ринулся навстречу. И тогда вспыхнула и пролилась иная волна, окутала дурманящей тьмой, и затем от ненужного понимания, что это лишь минутная отсрочка, был какой-то черный, все растворяющий в себе и окончательно обессиливающий порыв.

* * *

На рассвете Меньшенин, опустошенный и легкий, оказался в глухом дворе, недалеко от Новослободского метро. Над Москвой едва-едва начинало светать, гора пустых ящиков, уложенных высоким штабелем, проступала из густого мрака яснее. Он сидел на земле, привалившись к ящикам спиной, и на лице у него блуждала отсутствующая улыбка. Полузакрыв глаза и обхватив одно колено руками, он слегка раскачивал-

ся, – ему не к месту вспомнилась смуглая девичья грудь, вспотевшая в ложбинке. Что-то заставило его поднять голову, и он сразу вскочил, – со всех сторон к нему приближались молчаливые серые фигуры. «Все-таки выследили, – мелькнула короткая мысль. – Сработало, Вадим молодец, сам бы Коротченко еще долго бы раскачивался после их дружеской беседы в коридоре института. Ну что ж, как бы там ни было, действительно пора... В путь!»

Он выпрямился, стараясь предельно сосредоточиться, он принимал вызов, – игра будет продолжена до конца. Стрелять в него они не станут, он нужен им живой. Он рванулся в одну сторону, в другую, затем стремительным броском сшиб одного из преследователей. Тотчас перед ним выросло еще двое, – сдвинувшись, они медленно приближались.

Беспомощно озираясь, он отскочил к груде пустых ящиков.

– Ну ты, псих, не дури, – услышал он негромкий, хриловатый голос. – Не вырвешься, гляди, намнем шею, пожалеешь! Слышишь?

И опять к нему со всех сторон, проступая из мрака, стали приближаться люди в халатах – молча, привычно и настороженно.

– Не трогать меня! Я – координатор мира! Слышите? – воинственно закричал он. – Я вас всех в труху превращу! Не трогать!

Приглядываясь, он повел головой, – размытые фигуры

продолжали с профессиональной методичностью надвигаться. И тогда он, еще раз злобно выругавшись и закричав, полез на груды ящиков. Раздался чей-то властный голос, и он вместе с ящиками куда-то обрушился.

18.

Бог был необъятен, большие и малые события нанизывались на один стержень, проникающий пространство сферы отражения, – такова истина сущего. «Пустяки, – сказал он себе. – Нарушив заповедь посвященного, необходимо очиститься, это непреложный закон». Глаза у него стали далекими, отстраняющими, – ни на один миг он больше не оставался наедине с самим собою, и каждое движение, любое его слово выверялось самыми разнополюсными силами. В свое время последует окончательный приговор, и он, вполне вероятно, перешагнет порог небытия – легко, свободно, ни на мгновение не задумываясь. Да и что такое смерть? так сложилось, – его двадцать восемь земных лет уравнились с вечностью, для него почти не осталось тайн в этом мире, уже по своему рождению он должен взойти на высшую ступень почти абсолютного знания. Хочешь ты или нет, в душе проступило клеймо проклятия – плата за уход от естественной жизни среди здоровых, простых людей с их куцым и безграничным счастьем, с их детскими заботами и горестями, никогда не возвышающимися до трагедии, людей наивных, бесконечно дорогих, придающих смысл и самому космосу.

Он проникал в тайные центры – адские кухни зла и разрушения, всемирных войн и сопутствующих им революций – одни и те же наследственные силы заботливо пестовали бу-

душных смертельных противников и затем безжалостно бросали их друг на друга, отвлекая внимание от себя и своих вечных планов, зародившихся еще в душном мраке весны человечества, – эпохи, господства влажной и жадной плоти. Безымянные тьмы и тьмы человеческие исчезали с лица земли в мученичестве, зато сохранялся баланс верховной власти тайных архитекторов мира, пытавшихся удержать развитие человечества в строго ограниченных пределах, на границе света и тьмы, – для этого трудом десятков поколений возводились гигантские храмы и жертвенники, изобретались лучи смерти и высвобождались космические силы распада, способные в любой момент уничтожить непокорные миры; после ряда основополагающих исследований страх смерти был положен в основу власти, как чувство совершенно универсальное, способное даже с помощью нехитрых технических приспособлений приобрести гипнотическую власть над душой целых народов. Высшие жрецы правящей элиты в недоступных для простых смертных местах копили и обобщали знания и вели летописи времен, – от их внимания не ускользало малейшее изменение в мире, они ощущали зреющий протест, и их тайные щупальца пронизывали всю атмосферу жизни от рождения человека вплоть до его ухода. Интеллект человечества, взятый в их оковы, медленно и неотвратимо деградировал – и в самом организме тайно правящей миром элиты зарождались очаги вырождения и распада – единый закон космоса творил слепо и не знал исключений.

Прислушиваясь к глухой тишине палаты, Меньшенин не шевелился, любое его движение, малейшее изменение в выражении лица, даже ритмы дыхания фиксировались. Отсчет начался, впереди – самое важное, ради чего он, собственно, и явился в мир. Тела не ощущалось, во рту стоял свинцовый привкус, и только мозг оставался ясным и стремительным. Было похоже на проникающий луч, пробивающий мрак в самом неожиданном направлении, выхватывающий из прошлого забытые и с трудом узнаваемые картины. Отсчет начался, и неважно, если ему так и не суждено проникнуть в двойную тайну сознания – в тайну смерти, в силу, управляющую миром зла в самом человеке. Вот и еще вопрос, сформировалась ли она именно здесь, на маленькой и беспомощной планете, или привнесена извне, из холодных и безжалостных глубин космоса, и ее неиссякающий источник именно где-то там, среди всесокрушающих звезд и миров?

Многое проносилось перед мысленным взором Меньшенина в первые дни пребывания в закрытом специальном лечебном учреждении, затерянном в подмосковной глуши, в старом сосновом бору, всегда пахнущем смолой и солнцем, что многое в этом скорбном заведении скрашивало, и хотя Меньшенина сразу же поместили в отдельную палату, он, любуясь из своего зарешеченного окна высокими медно-

ствольными деревьями, был настоroje, – он знал, что в его распоряжении всего три-четыре спокойных дня, затем...

Он обрывал себя, он не имел права расслабляться – нужно было подчинить себя одной мысли: выстоять и победить, враг слишком коварен и беспощаден.

Момент перехода в иную жизнь он ощутил кожей, – лицо разгорелось, и он отдался свободе с наслаждением, шумно вздохнул, словно проверяя, в сознании ли он еще или по-прежнему бредит. Он был всего лишь человек, и проникнуть в неведомое – подлинное безумие, хотя за ним и стоял любящий, творящий мир, породивший и его самого.

Дверь бесшумно приоткрылась, и в палату протиснулась маленькая изящная женщина – даже грубая казенная одежда не могла скрыть совершенства линий ее тела. Она была в длинном, ниже колен, халате, из-под низко повязанной косынки восторженно сияли кажущиеся огромными зеленовато-прозрачные глаза. Меньшенин знал ее, здесь все почтительно величали ее Алиной Георгиевной, – она была знаменитой, вероятно, гениальной, актрисой, но наступил срок, и она так и не смогла возвратиться из страны грез, очередное перевоплощение оказалось необратимым. Теперь она каждому говорила: «Ах, какое прелестное утро!»

Осторожно прикрыв за собой дверь, призывая Меньшенина к молчанию, она приложила палец к губам и, наклонившись, прошептала:

– Тише, тише, координатор, ради всего святого – тише!

Все уже собрались, только вас не хватает. Все ждут, координатор, дежурные тоже наши, нам удалось наконец их вылететь. На них сошел свет истины, вставайте же, идемте, идемте!

– Глухая ночь, Алина Георгиевна...

– Ах, что вы, сейчас прелестное утро! Не заставляйте себя упрашивать, не капризничайте, координатор, – с нетерпеливой нежностью шептала она, и он подчинился. Они проскользнули затаившимися в полутьме, почему-то совершенно пустынными коридорами в довольно просторный зал с зашторенными окнами, со сдвинутыми к стенам библиотечными столиками и со смутно светлеющим на своем месте роялем. По дороге Меньшенин заметил еще несколько размытых теней, бредущих в том же направлении, что и они с Алиной Георгиевной, – он продолжал с некоторой настороженностью думать о женщине, неслышно скользившей рядом. От нее, беспомощной и очаровательной, сочилось чувство опасности, и если это так, то рядом с ним сейчас, в самом начале пути к далекой и призрачной цели, один из самых обольстительных врагов. Может ли это быть? Именно здесь? Или его давно уже вычислили и теперь будут передавать с рук на руки? Интересно, у нее зеленые, с рыжим золотом, глаза, почти без зрачков, и от этого кажутся бездонными, затягивающими. И всесильная в своей робости улыбка... Есть что-то и властное, чувствуется какое-то невидимое подводное течение, – стоит оступиться – и не успеешь вскрикнуть,

послать сигнал.

В мягком полумраке зала бесшумно и почти бесплотно, небольшими группами и поодиночке, двигались тени; проведя Меньшенина на середину зала, Алина Георгиевна оставила его, ободряюще и ласково улыбнувшись, коснувшись его груди своими трепетными пальцами, а затем, кажется, сразу и забыв о нем. Она несколько раз вкрадчиво хлопнула в ладоши, при этом как-то лукаво глядя, склонив голову вбок.

– Прошу всех занять свои места, – говорила она с милой настойчивостью. – Прошу! Прошу! Прошу! Темненькие – в эту сторону, светленькие – сюда! Сюда! Сюда! Ах, какие непонятливые!

Во всех углах задвигались расплывчатые тени, стали сдвигаться плотнее; Меньшенин посторонился с освещенного места в сумрак, к самой стене. Кто-то умело и ловко разыгрывал удивительное, какое-то потустороннее действо, и сама очаровательная Алина, окончательно вдохновляясь, словно и сама превращалась в невесомую, призрачную игру воображения. Она явилась с таким настойчивым предложением, разумеется, неспроста, думал Меньшенин, кто-то направлял ее. В этом скорбном заведении поддерживалась строжайшая дисциплина, он хорошо знал, что все малейшие передвижения допускались только с ведома администрации, а вернее, главного врача, знаменитого в своем мире академика Порываева – перед его гениальностью трепетали, каждое его слово ловили как пророчество, и все это происходило вполне

заслуженно. Академика Порываева знали далеко за пределами его пространной и снежной отчизны, он был непререкаемым участником международных симпозиумов в своей области науки и знания, в этой труднейшей и загадочнейшей стихии; его комбинированные методы лечения ряда глубочайших психических расстройств изучались и совершенствовались во многих клиниках мира, к нему негласно и тайно обращались с различными нуждами и многие видные люди государства, и он, как уверяли сведущие люди, очень часто помогал в самых безнадежных случаях, – его время было буквально расписано по секундам. И, однако, он разительно отличался от образа фанатичного гения, исступленно занятого только своей наукой, созданного молвой всеведущего обывателя. Прославленный академик был весьма широкой натурой, любившей и умевшей хорошо пожить, вкусно поесть и выпить, обожавшей посмеяться и пошутить, а поэтому с ним рядом было легко и свободно находиться и работать. В лечебнице, вернее, в институте, его почти обожествляли, хотя, разумеется, и вокруг знаменитого ученого существовала некая запретная черта, и ее никто не смел переступать, – так, с ним рядом всегда находились двое или трое особо доверенных лиц, совсем угрюмого склада характера, выполнявших при нем, как шептались недоброжелатели, охранные функции, но никто, кроме их самих и академика, не мог точно сказать, кто они, зачем и в чем заключаются в институте их обязанности.

Все это Меньшенин уже успел понять и осмыслить, и теперь пытался распутать и проследить хитроумную комбинацию с затеей Алины Георгиевны, – можно было предположить, что это прежде всего продолжение нескончаемого научного эксперимента маститого академика, доискивающегося до очередной истины во имя страждущего и скорбного главою человечества, – академик был весьма склонен к глобальному образу мыслей. «Все было бы очень хорошо, – говорил сам себе Меньшенин, иронизируя, – если бы ограничиться исцелением одной Алины, хотя, с глобальной точки зрения, очень мало понятного, совсем неубедительно...»

Тут же мелькнула мысль, что гению не обязательно следовать логике, выведет провидческий дар, интуиция и, однако, пройтись еще раз по известным фактам никогда не помешает, заведение академика Порываева примечательно во всех отношениях. Официально подчиняясь министерству здравоохранения, оно работало совершенно особняком, было сращено потаенными нитями с самыми неожиданными центрами и силами и у себя в стране, и далеко за ее пределами, – у института имелась даже специальная клиника, укрытая от посторонних глаз надежным забором из бетонных плит, с несколькими рядами колючей проволоки поверху; о происходящем в этом укромном местечке знал все только сам академик и самые ближайшие и доверенные его помощники. Шептались о сверхпрочных, стальных воротах, о подъезжавших к ним в глухие ночные часы закрытых маши-

нах – створки ворот беззвучно раздвигались, и машины ныряли в подземный приемник, где и оставляли свой груз, тщательно скрываемый от посторонних глаз. Говорили еще, что именно в этом таинственном и пугающем месте располагался зал, уставленный десятками различных приборов и аппаратов – они записывали и фиксировали деятельность мозга в различных его состояниях, от самых агрессивных до окончательного угасания, они могли якобы вскрыть глубоко заблокированную память, а то и закодировать сознание человека на любую опасную для жизни деятельность... Одним словом, много чего говорили – о самом немыслимом и невероятном, оглядываясь, опасливым шепотом. Косясь по сторонам, передавали друг другу совсем уж фантастические вещи – будто бы многоуважаемый, прославленный ученый присутствует в сем грешном мире не в одной, а, по крайней мере, в нескольких физических оболочках, он так умеет переменить личину и физиономию, что его и мать родная откажется засвидетельствовать своим единокровным чадом, и что он выполняет в этом мире сразу несколько функций и ролей, и вообще неуловим, легко перекидываясь из одного образа в другой. Говорили и всякое иное, еще более удивительное и непостижимое, тогда уже совсем понижая голос до беззвучия и непрестанно озираясь во все стороны, – вполне допустимо, говорили, черт знает что!

И здравомыслящие, трезвые люди ничему этому не верили и верить не могли, хотя по ночам им тоже иногда мере-

щились кошмары – так уж устроен мир. Правда, таких людей насчитывалось мало, и особенно их было мало в учреждениях, подобных знаменитому институту-клинике академика Порываева, – здесь, на мерцающей и шаткой границе тьмы и света, в опрокинутом мире добра и страдания, у каждого соприкасающегося с этим миром со временем невольно проступает на физиономии улыбка ребенка – это сам Господь Бог даровал еще одному возлюбленному чаду своему всепрощающий поцелуй. Говорили, что именно дьявольская жажда ощущения такого безумного и всеутоляющего поцелуя мучила и жгла знаменитого академика, и он всю жизнь стремился к этому и никак не мог сопричаститься таинству присутствия и в реальности, и в мираже. Потому и мучился, сутками торчал в лабораториях, у таинственных аппаратов и приборов, почти непрерывно выдававших шифры десятков и сотен удостоенных улыбки ребенка, – говорили, что академик люто завидовал им, оттого и терзал своих пациентов непрерывными исследованиями и процедурами.

Прокручивая в голове и анализируя все известное, Меньшенин зорко следил за разворачивающимися в зале библиотеки событиями. Без сомнения, за этим следил и сам академик из какого-нибудь тайного местечка – ночное действие организовано только с его ведома и разворачивалось по его сценарию. И Меньшенин не ошибался, в прекрасно оборудованной на самом современном уровне лаборатории, находившейся непосредственно рядом с библиотекой (ключи от

этого тайного помещения находились только в личном сейфе академика), был сейчас не только сам хозяин. С ним рядом у тайного смотрового окна, вернее, сильно увеличивающего зрачка хитроумной немецкой конструкции, расположился еще один человек, весьма похожий на академика и лицом, и телосложением, и даже голосом и манерой разговаривать. Такие же одинаково широкие одутловатые щеки и маленькие, запавшие под нависшим лбом глаза, еле-еле мерцавшие где-то в глубине черепа. И академик, и его гость даже как-то одинаково припадали на слегка укороченную левую ногу, вызывая тем самым странное, двоякое чувство легкой иронии, – случайная ли здесь игра природы или изощреннейшая метафора человеческого вырождения и коварства?

Одни, в подобной похожести, опять-таки, усматривали тайных братьев-близнецов, как известно, время от времени чувствующих неодолимое желание в общении друг с другом, другие же с завидной категоричностью веровали в сверхъестественную способность академика просто раздваиваться для одному ему ведомых целей, а то и находиться сразу в разных мирах.

В свете последних научных открытий вполне можно предположить и нечто подобное, но сейчас необходимо подчеркнуть, что ни первое, ни второе пока не удавалось ни подтвердить, ни опровергнуть; важно другое; в тайной лаборатории сейчас рядом с академиком находился сам Сусяков, человек, занимающий в тайной жизни государства совершен-

но исключительное положение, – у него в самой фамилии ощущалась некая закодированность и непонятность. И в самом деле, что такое – Сус-ля-ков? Конечно, объяснение всему найдется, и дело не в фамилии, а в той атмосфере таинственности, плотно окутывающей эту государственную, еще не старую портрет-фигуру, надежно и надолго утвердившуюся в самом средоточии власти и проявлявшую самый необозримый спектр своих интересов, – именно к нему совсем недавно неизвестные доставили профессора Коротченко, и сей уважаемый ученый муж испытал подлинно светлое потрясение. Но больше всего Сусякова, пожалуй, прославила и сделала всенародной грозой его поистине кристаллическая твердость в борьбе с частной собственностью, он везде, в каждом кусте, видел притаившегося русского кулака и мироеда с топором или с обрезом, в любой момент готового броситься на завоевания социализма. В своей аскетичности и строгости он доходил до абстрактных высот – то ли всерьез, то ли шутливо утверждал, что и в отношениях с женщиной не может быть никаких приоритетов, никакой частной собственности: один должен начинать, второй продолжать, а третий завершать, и среди самого близкого мужского окружения без тени улыбки добавлял, что скоро даст всему этому неопровержимое теоретическое обоснование, публикует для широкой всенародной дискуссии парадигму новейшей сексологии. До этого же он опубликовал, по общему признанию, гениальнейший труд против антиисторизма, где

опять же, в обоснование другой своей знаменитой парадигмы необходимости отказа от любой частной собственности, напрочь разгромил всех русофильствующих литераторов, не оставил камня на камне от прочих квасных патриотов, до сих пор бредящих птицами-тройками, зипунами, онучами и какой-то мифической, убудочной Русью, если когда-то и существовавшей, то давно уже приказавшей долго жить. Поднялась бурная дискуссия, выявляя всю червоточину в государстве, заявили о себе самые разнообразные силы, высветились и тайные до сих пор националистические течения, – оказались они в самых неожиданных местах и уровнях, и даже в высших нервных центрах государства; всех их тотчас занесли в особые списки. Кстати, за несколько минут до того, как Алина Георгиевна увлекла Меньшенина в зал библиотеки, между приехавшим в темной, закрытой машине Сусяковым и академиком Порываевым произошел короткий разговор за чашкой крепкого кофе.

– Вы считаете необходимым мое присутствие сегодня? – спросил Сусяков.

– Обязательно, – с готовностью отозвался хозяин, и его всегда светящиеся зеленовато-золотистые глаза вспыхнули. – Мне удалось наконец смоделировать некое подобие прообраза необходимой нам в будущем России. Вполне возможно, вы предложите внести определенные коррективы, это весьма важно на начальном этапе. Как там, дорогой мой гость, в самых верхах?

– Маразм приближается к апогею, идет бешеная подготовка к очередному дележу...

– Хи, хи, хи, – неизвестно почему уронил короткий смешок хозяин. – Дура Россия – велика, весьма велика – достанет на всех...

– Гм, – сказал Сусяков, делая выражение своего лица еще более значительным. – У меня к вам просьба: необходимо одного из наших братьев проконсультировать, у него что-то непонятное с памятью. Очень ценный, незаменимый на своем месте человек, и в один момент его кто-то словно вырубил из борьбы.

– Вполне вероятно, – бодро отозвался академик. – Закодировали? Бывает, проверим. Разблокируем, – плохие люди еще встречаются. А теперь, уважаемый магистр, прошу в смотровую, – пора.

* * *

Довольно быстро и ловко Алина Георгиевна разделила собравшихся в зале больных и санитаров на две группы, символизирующие добро и зло, свет и тьму, и трагическим шепотом скомандовала приготовиться к последней битве. Скудное ночное освещение, опущенные шторы, копившиеся в углах смутные тени, вихревые потоки стихийной энергии, бушевавшие в сравнительно небольшом зале библиотеки, постепенно делали свое – возбуждение нарастало. У одного из

соседей Меньшенина справа, худого, жердистого человека, вот уже второй год живущего с навязчивой мыслью о своем пребывании в лондонском зоопарке в клетке для львов, к тому же еще будучи невидимым и потому не получающим никакой еды, стоявшего сейчас с потрясенным лицом в ожидании откровения, были заметны укрепленные на висках и в затылочной части головы датчики, – Меньшенин окончательно успокоился. Знаменитый и неугомонный академик всего лишь проводил очередной свой эксперимент, – первоначальные предположения не подтверждались и можно было спокойно ждать срока.

С некоторым интересом он вновь покосился на худого соседа, он здесь всех как-то тихо и страдающе любил, – в этой потусторонней среде ему предстояло на время укрыться, подготовить необходимый бросок, а затем и перешагнуть в иное качество, в иную высшую степень знания, именно здесь он должен был пройти окончательную шлифовку на прочность и приспособляемость, и поэтому, когда возбужденная Алина, терзая на себе одежду, пронеслась туда и обратно по залу и, рухнув на колени, умоляюще вскинула руки, а ее зовущий, тоскливый и в то же время ликующий голос смял пугливую тишину, и в сумеречных углах всколыхнулись и зашелестели смутные тени, Меньшенин заставил себя окончательно расслабиться, подчиниться общему настроению и состоянию. Не глядя на рвущуюся куда-то в экстазе своей страстной молитвы Алину, он, однако, видел ее, она

казалась облитой подвижным огнем, – ее хриловатый, молящий о милости голос заполнял теперь все пространство, начинал жечь и сжимать сердце – становилось нечем дышать. Отзываясь на призыв, на одиноко тоскующий голос, из полумрака молча и медленно вышел полуобнаженный юноша, с венком на голове и с тихим, покойным лицом. Он поднял большой картонный крест, простер его над коленопреклоненной женщиной и чистым звонким голосом изрек:

– Кто без греха, брось в нее камень!

В довольно просторном помещении стал прибывать свет – тени в дальних углах серели, лица прорезывались отчетливее. Меньшенин приказал себе не суетиться и даже не двигаться, и тем самым слиться с бессмысленной и безликой, несмотря на яркие порой всплески, горсткой людей, жавшихся друг к другу и в то же время пытавшихся во что бы то ни стало быть отдельно и только в своем призрачном и привычном мире снов и терзаемых постоянным страхом не успеть и потерять самих себя. Действие разворачивалось, порой непредсказуемо и для самих устроителей. Теперь в зале все, казалось, до мельчайшей пылинки было высвечено, словно выставлено напоказ. Многих из присутствующих Меньшенин уже довольно хорошо знал, его внимание привлек вытягивающий шею мужчина лет сорока, все время пытавшийся превратить все вокруг себя в воронье гнездо и проводивший ночи только сидя, изредка он начинал каркать и, пытаясь взлететь, взмахивал руками, – санитары и звали его,

впрочем, весьма добродушно, вороной. Сейчас у него в глазах таилось нечто осмысленное и страдающее, – с животной чуткостью ощутив на себе внимательный взгляд, он испуганно глянул на Меньшенина, зашипел и стал пятиться. Меньшенин тихонько рассмеялся. Отвлекая его внимание, в продолжавшую возносить к небу молитвы Алину густо полетели бумажные комья – часть присутствующих таким образом отреагировала на призыв первым бросить камень. Безгрешных оказалось довольно много, и Алина, с живостью вскочив, моляще изгибаясь и показывая высочайший класс, побалетному выбрасывая ножи и мелко семена ими, понеслась по кругу, полуобнаженный красавец-юноша с крестом бросился за нею и стал что-то неразборчиво кричать, – можно было расслышать часто повторяющиеся слова «камень» и «ангел». По всему залу словно проскочила длинная и жгучая электрическая искра. Тотчас одна часть присутствующих бросилась на другую, – никто по-мужицки основательно не дрался, все лишь беспорядочно металось по свободному пространству, сталкиваясь друг с другом, падали, вновь вскакивали и неслись дальше. Слышалось тяжелое дыхание и сопение, поднялся невообразимый шум, все кричали, все пытались говорить, раздавались взрывы азартного, звонкого и жизнерадостного хохота. Один из больных кинулся на бумажный крест и с торжествующим воплем разодрал его, полуобнаженный юноша вцепился в обидчика, тот грохнулся на пол, подгребая под себя уже смятый и растерзанный кар-

тон и вскрикивая, что это его честно заработанные деньги и он их никому не отдаст; кто-то требовал лестницу и, подпрыгивая, силился достать люстру под потолком; к Меньшенину подскочило фантастическое существо неизвестного пола, в полосатой пижаме, ростом с десятилетнего мальчика и со старушечьим лицом и телом, совершенно разноглазое.

– А я тебя видел, – радостно возвестило оно, уставившись снизу вверх своими завораживающими очами. – Ты – черт!

– О! – сказал на это Меньшенин. – Я тоже вас видел, тоже встречал, уважаемый коллега, вы сидели в медном тазу на базаре в Киеве, вас продавали по порциям.

И сразу бросился бежать вместе со всеми и кричать, пробиваясь к Алине, но она, мелькнув в самой гуще раз и другой, куда-то пропала, – появилось несколько санитаров, разрезая стонущий и мечущийся клубок, они стали разделять больных на две половины по какому-то, только им ведомому признаку, и тогда Меньшенин, зажатый в самом дальнем углу между витриной с портретом Никиты Сергеевича Хрущева и материалами о его славной и большой жизни и деятельности на благо народа, его подвиге миротворца и декоративной решеткой с вьющимися до самого потолка растениями, затаился, заставил себя предельно сосредоточиться, – крики и ругань, какой-то свист, шумное дыхание, треск ломавшейся мебели, привычно повелительные окрики санитаров – все отступило, растаяло, открылась далекая синева, и в ней, вначале еле заметно, затем все сильнее и ярче накаля-

ьясь, проступила яркая точка, она стремительно увеличивалась и приближалась, все по пути очищая и освежая. И вот ободряющая волна накрыла его и пронеслась мимо, – в следующее мгновение он услышал:

– Завтра сюда привезут профессора Коротченко на обследование, намерены разблокировать ему память. Решетка на окне вашей палаты сегодня не заперта, легко раздвигается. Велено передать – в путь...

Беззвучно повторив последние слова, Меньшенин почувствовал легкое головокружение и прикрыл глаза; ему мучительно захотелось увидеть того, кто скрывался за густой зеленью декоративной решетки. Служитель, санитар или подобный ему самому неведомый путник, оказавшийся здесь с далекой и тайной целью?

Он чуть шевельнул кистью руки, взглянул в приоткрывшийся просвет – в дверях, ведущих во внутреннее хранилище книг, мелькнула чья-то узкая спина. И тихий покой охватил все вокруг, хотя шум, грохот и крики продолжались. Теперь кто-то хрипло звал маму, а второй зычным голосом возвещал, что он и есть истинный Иисус Христос, пришедший принести не мир, но меч разящий. Воздух от разгоряченных тел тяжелел и становился вязким, санитары надрывались, на самых буйных ловко и привычно набрасывались по несколько человек сразу, валили наземь, ловко уклоняясь от укусов и царапанья, натягивали смирительные балахоны с длинными рукавами и, скрутив, быстро уносили. И тогда Меньше-

нин, спасая заветное в себе, незаметно оказался в самой толчее, – вновь ощущая невыносимую плотность и жажду жизни, он сказал себе, что это вокруг кипит и бьется в берега самая настоящая полнокровная жизнь, что сумасшедшие не эти несчастные в своей безграничной свободе от всего условного, а те, находящиеся сейчас за стенами и стеклами, – наблюдая, анализируя, фиксируя малейшую аномалию и делая определенные выводы, они строят далекие и преступные планы, – только истинно сумасшедшие могли решиться перевернуть ось бытия и поменять ценности мира полюсами.

19.

В ту же ночь под утро профессор Коротченко, спавший в своем кабинете, надо сказать, по взаимному с женой согласию и удовольствию из-за частого своего похрапывания, еще во сне почувствовал нечто мешающее и постороннее. Он открыл глаза и даже не удивился, увидев сидящего рядом в кресле Меньшенина, чисто выбритого, распространяющего запах дорогого одеколona. И только встретив пристальный, какой-то словно раздевающий взгляд, Климентий Яковлевич ощутил легкое беспокойство.

– Вот хорошо, Алексей Иванович, что вы здесь, – сказал он приветливо. – Я сам хотел искать встречи с вами для важного разговора. Мне кажется, именно вы можете разрешить мои сомнения...

Ранний гость – утро еще только разгоралось над Москвой, – молчал, и профессор, несколько конфузясь, предложил ему подождать в соседней комнате, пока он сам встанет и приведет себя в порядок.

– Не стоит, дорогой коллега, – спокойно отклонил предложение хозяина Меньшенин. – У меня нет времени, я всего на несколько минут. Что-то вы бледны, профессор, вам нездоровится? А ну-ка, ну-ка...

И тут незванный посетитель завладел, несмотря на слабое сопротивление хозяина, его рукой, стал щупать пульс силь-

ными, горячими пальцами и глубокомысленно качать головой.

– Позвольте, позвольте, что это вы такое позволяете? – теперь уже по-настоящему возмутился профессор, пытаясь отнять свою руку, и не успел, – все в нем переменялось, краски вокруг стали ярче и словно спала какая-то угнетающая его в последние дни и закрывающая Божий мир пелена. Он до мельчайшей подробности вспомнил свой путь жизни чуть ли не от самого рождения, лицо его исказилось страданием и ужасом, и он опять попытался освободить руку и не смог даже шевельнуть ею – она оставалась недвижимой и бессильной. И голову он не в состоянии был оторвать от подушки, и лицо его вновь передернулось – теперь от ненависти; голос Меньшенина заставлял его физически страдать, он проклинал себя за слепоту, а ведь какая предоставлялась возможность нанести опережающий удар... хотя и здесь был наложен строжайший запрет, трупы были не нужны, требовались только живые мозги, и попробовал бы он послушаться...

На глаза Климентия Яковлевича выдавило предательскую влагу; он окончательно затаился и затих, выжидая.

– У меня, профессор, к вам один вопрос, – послышался мучивший его голос, заставивший и самую глубину его существа содрогнуться, – раньше он никогда не слышал такого давящего, не оставляющего ни малейшей надежды, палаческого голоса. – Кто стоит у вас за спиной и кто вами движет, профессор? Скажите, и вам сразу станет легче, не мучайте

себя, исход предрешен.

– Кем? – запротестовал Климентий Яковлевич. – Кем предрешен? Уж не вами ли? – Он хотел засмеяться, не смог, некрасиво оскалился и стал задыхаться, испуганно округлив глаза. – Убийца... палач... вы...

– Я жду, профессор, – оборвал его Меньшенин. – За все ваши тайные черные дела и преступления вас приговорила сама русская земля, и приговор не подлежит обжалованию. – Ваша игра подошла к концу, наберитесь мужества и успокойтесь.

И тогда Климентий Яковлевич окончательно и бесповоротно понял, скорее даже почувствовал приблизившийся вплотную рубеж небытия, – о нем раньше он никогда не разрешал себе думать, а если об этом приходилось с кем-либо говорить, то он вспоминал нечто ординарное и безликое, вроде того, что все там будем, и тотчас, едва успев отвернуться, забывал о своих словах. И вот, еще полный сил, желаний и планов, он должен был смириться и уйти, и причиной тому вот этот сидевший рядом в кресле московский недоносок, каким-то роковым образом вставший у него на пути... И тотчас душа его запротестовала и застонала, так не должно быть, нет, нет, раздался в нем подспудный задавленный крик, нет, это несправедливо, над ним ведь простирается защита могущественных сил, давно уже управляющих миром, планирующих войны и революции, меняющих любые правительства и режимы в любой части света... он одно время усо-

мнился, и вот расплата... да нет, нет, просто какие-то галлюцинации, сон, бред, пожалуй, он еще не проснулся... Как здесь мог оказаться Меньшенин? Кто его впустил?

Попытавшись сесть и позвать жену, он сам не услышал своего голоса, и опять липкий холодный пот покрыл тело – от этого он передернулся.

– Я жду, – вновь услышал он отвратительно бесстрастный голос рядом и скосил глаза, пытаясь поймать взгляд своего палача.

– Послушайте, Меньшенин, – сказал он, собрав всю свою волю. – Я понимаю, вы очень много знаете, за вами, очевидно, большая и преступная стихия... Только напрасно стараетесь, эта страна приговорена высшими тайными силами, она погибнет, исчезнет, никто и ничто не сможет этому помешать... Идите к нам, вы умный и талантливый человек, получите в жизни мыслимое и неммыслимое, познаете высшее наслаждение – неограниченную власть, возможность участвовать в конструировании модели нового миропорядка, вы даже сможете предложить миру своего Бога – все будет разрушено здесь, все выродится и вымрет – так решили высшие силы... Они никогда не отступят от своих планов, еще не было такого случая и никогда не будет... ну...

– Вы напрасно расточаете свое красноречие, профессор, – услышал Климентий Яковлевич пугающе ровный голос, только теперь в нем пробивалась насмешливая нотка. – Бабушка еще надвое сказала, здесь мы еще посмотрим. Я и

сам мастер напустить в глаза туману... Я жду, профессор, вы не забыли?

– Мне что-то тяжело, – пожаловался Климентий Яковлевич.. – Освободите меня, никто ничего не узнает, клянусь вам. Ведь вас все равно вычислят и найдут, расплата будет ужасной. Подумайте о своем сыне, о жене – у вас такая прекрасная жизнь впереди, вы так молоды...

– Чепуха! – тяжело уронил Меньшенин. – Молодость пройдет, честь останется. Итак...

– Можно задать единственный вопрос? – заторопился профессор. – И потом...

– Хорошо. Слушаю вас...

– Сколько времени у меня осталось? – быстро спросил Климентий Яковлевич, с решительностью и вызовом в глазах. – Только правду, больше ничего не надо...

– Ровно столько, сколько осталось до моего ухода. Едва лишь за мной закроется дверь... Впрочем, коллега, все интересующее нас мы давно знаем. Ваше дело – можете молчать, мое же время истекло, к сожалению, я должен...

Климентий Яковлевич поверил сразу и безоговорочно.

– Вы меня застрелите, зарежете или придушите? – продолжал он выпытывать с болезненным любопытством, и у Меньшенина по лицу пробежала тень легкой улыбки.

– Ну, профессор! – сказал он. – Вас никто пальцем не тронет.

– А как же?

– Очень просто. У вас остановится сердце, оно достаточно потрудилось и изработалось. Вот так, коллега, запустить обратно его никто уже не сможет.

– И кем же это решено? – Голос хозяина от такой вести дрогнул и окончательно сел.

– Вот этого не знает никто... и не должен знать, – ответил гость и встал. Здесь профессор заметил, что его рука, ранее находившаяся во власти Меньшенина, свободна.

– Подождите, – попросил он. – Я скажу... ваш шурин, Вадим Анатольевич Одинцов – вот кто стоит у меня за спиной...

– Зачем вы лжете, профессор, никакая жизнь не стоит такой дорогой цены... Лгать, как мелкому карманнику, – укоризненно заметил Меньшенин. – Прощайте...

– Подождите! – взмолился Климентий Яковлевич. – Я скажу... обещайте не уходить еще пять минут... обещайте!

Бросив взгляд на часы, Меньшенин кивнул и вновь опустился в кресло.

– Сусяков Николай Александрович, – понижая голос до шепота, выдавил из себя хозяин, – хотя это вам ничего не даст, он – на недостижимой высоте. И штаб по ликвидации этой страны уже сформирован – недра Академии наук... Знаете, вы мне все время нравились... мы бы с вами успешно и дружно работали, ведь вы все равно проиграли... Я знаю эту беспощадную, сокрушающую силу... Зачем вам бесполезный подвиг? Вы же взрослый человек...

– Я тоже кое-что хорошо знаю, профессор. – Беглая улыбка тронула губы Меньшенина, лишь глаза оставались далекими и по-прежнему пугали. – Слышите, прошел первый трамвай... Рассвет близко, мне пора...

– Как... уже?

– Все будет хорошо, – сказал Меньшенин и, не оглядываясь, быстро вышел, и дверь, сделанная по специальному заказу, тяжелая, высокая, с медным узорочьем, бесшумно затворилась за ним. И с Климентия Яковлевича словно тотчас сполз душивший его покров, плотно облежавший тело, – он даже ощутил особую бодрость и ясность. «Провел на бобах, подлец, – ахнул многоопытный профессор. – Идиот, осел, как же я так? Ну, погоди, мерзавец, шарлатан!»

Ловко и привычно сбросив ноги с дивана, уже заранее нацеливаясь на телефон, смутно белевший на большом, заваленном рукописями и книгами столе, профессор рывком вскочил, кипя от негодования и ненависти. И в тот же момент его швырнуло назад – пытаясь удержаться на ногах, он зашатался, хватая воздух широко открытым ртом, в горле застрял плотный ком, а в груди провис горячий, беспорядочно пульсирующий, набухавший камень, все тяжелее распирая ребра. В висках тоненько, пронзительно зазвенело и лопнуло, – надломившись, Климентий Яковлевич рухнул обратно на диван, увидев в самое последнее мгновение открывшийся перед ним, уходящий куда-то в бесконечность ослепительно белый, просторный коридор и неясные призрачные фигуры

людей впереди.

И он встал и двинулся вслед за ними.

* * *

Дня через два к Одинцову на работу наведалься невысокий приветливый гражданин, – докладывая о посетителе, пожилая и никогда не произносившая лишнего слова секретарша, неопределенно кивая в сторону двери, обронила:

– Оттуда, Вадим Анатольевич... Полковник, товарищ Востриков Эдуард Феликсович...

Подняв брови, Одинцов помолчал и бесстрастно сказал:

– Просите, Галина Петровна. Пожалуйста, чаю покрепче...

Потом Одинцов сидел с полковником Востриковым в уютных креслах, – около часа они мирно беседовали о положении дел в институте, затрагивали и более широкие перспективы исторической науки, хотя свелось все к неожиданной, трагической кончине профессора Коротченко от паралича сердца, и только под конец полковник, как бы невзначай, упомянул о Меньшенине, о его весьма загадочном исчезновении, и хозяин кабинета вполне искренне и сокрушенно развел руками.

– Опять прискорбный случай, – подтвердил и полковник. – Мы слишком поздно узнали о приключившемся с ним несчастье. Попросило поинтересоваться этим делом весьма

высокопоставленное лицо. Словно в воду канул... как-то даже несерьезно. Впрочем, чего в жизни не бывает? У вас никаких предположений, Вадим Анатольевич, возможно, вы что-либо посоветуете?

Академик ответил не сразу, ушел в себя и сидел насупившись, созерцая что-то видимое ему одному где-то за спиной у своего гостя и чувствуя странное вдохновение, – он безошибочно ощущал прибытие вестника из другого, враждебного пространства, знающего очень много и сейчас ведущего умную и терпеливую игру, и думал, что этот аккуратный подстриженный и прилизанный вестник, само собой, может оказаться и совершенно пустым, просто формально выполняющим свое служебное дело. Но об этом он никогда не скажет, одним из краеугольных основ власти всегда были доскональные знания человеческих слабостей и пороков, здесь ничего не переменилось и никогда не переменится, – несомненно; они перелопатили, просеяли, и не раз, родословную Меньшенина, только вряд ли к ним попал хоть какой-нибудь кончик, не тот уровень...

С разрешения хозяина, полковник курил и ждал, он не торопился и, казалось, расположился в уютном кресле прочно и надолго.

– Я часто думаю о минувшей войне, – буднично и устало признался заслуженный ученый. – Она еще долго будет калечить и убивать в экстремальных стрессовых ситуациях, слишком велика усталость, накопившаяся в самом народном

организме. Человеческое сознание подчас не выдерживает, оказывается весьма уязвимым. Что можно предположить? У него жена, маленький сынишка – мой племянник. Очень люблю мальчугана... Как их-то сохранить для нормальной жизни?

– Понятно, – не раздумывая, согласился полковник, и большие напольные часы стали звонить конец рабочего дня – мелодичные серебряные звуки заполнили пространство большого обжитого кабинета, давно вобравшего в свой облик черты, характер и привычки самого хозяина. – Разрешите раскланяться. Вполне вероятно, нам еще придется побеспокоить вас, так что заранее приношу...

– Ну что вы, что вы! – остановил его Одинцов и, проводив гостя до двери, вернулся к столу. В окна рвалась и стучала поздняя московская осень, и все только начиналось. Москва жила будничной и напряженной жизнью, и, проследив взглядом за какой-то стремительной птицей, перечеркнувшей наискось пространство неба за окном, Одинцов вспомнил, что и на его подмосковной даче теперь можно часто услышать счастливый и бездумный смех ребенка и увидеть его пытливые и ясные глаза, распахнутые навстречу неведомой жизни.